

A $\frac{221}{89}$

A $\frac{221}{89}$

ЖАРКОЕ
КОРАЛЛОВЫЕ
ЧЕТКИ

КУПРИНЪ, А.
СОЛОГУБЪ, О.
БАЛЬМОНТЪ, К.
ВЕРБИЦКАЯ, А.
АМФИТЕАТРОВЪ, А.
НЕМИРОВИЧЪ —
ДАНЧЕНКО, В.

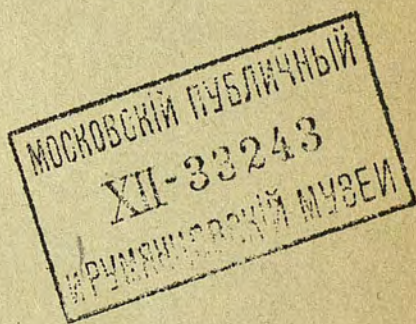
Л. КУШНИР.

ЛИТЕРАТУРНИ АЛМАНАХЪ

89
КОРАЛЛОВЫЯ
ЧЕТКИ. ════════════

══ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХЪ.

КУПРИНЪ, А. ════════════
═══════════ СОЛОГУБЪ, Ѳ.
БАЛЬМОНТЪ, К. ════════════
═══════════ ВЕРБИЦКАЯ, А.
АМФИТЕАТРОВЪ, А. ════════
НЕМИРОВИЧЪ-ДАНЧЕНКО, В.
И ДРУГ. ════════════



С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ════════════ 1913.
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ПЕНАТЫ“.



КОРАЛЛОВЫЯ ЧЕТКИ.

Купринъ, А.

78370-0



2007339496

КАПРИЗЪ.

Огромный, двухсвѣтный, актовый залъ университета, казалось, утопалъ въ цѣломъ морѣ огня, который яркими потоками бросали три газовыя люстры, увѣшанныя сверкающими хрустальными призмочками, и десятки четырехлапыхъ бра, горѣвшихъ въ простѣнкахъ между окнами и дверями. Въ одномъ концѣ зала возвышалась просторная эстрада, красиво замаскированная флагами и густой стѣной живыхъ растений... На эстрадѣ блестяль свѣжимъ лакомъ концертный рояль съ поднятой вверхъ крышкой...

Повидимому, не оставалось болѣе ни одного свободнаго мѣста, но все новыя и новыя волны зрителей непрерывно врывались изъ входныхъ дверей. Глядя на тѣхъ, которые уже сидѣли, чувствовалось, что взгляды теряется въ этомъ волнуемомъ морѣ головъ, лысинъ, причесокъ, черныхъ фраковъ, мундировъ, свѣтлыхъ дамскихъ платьевъ, медленно движущихся вѣровъ, тонкихъ рукъ въ бѣлыхъ, длинныхъ перчаткахъ, плавныхъ жестовъ и кокетливыхъ, праздничныхъ женскихъ улыбокъ.

На эстраду взобрался и увѣренно, почти гордо, подошелъ къ ея краю красивый пѣвецъ. Онъ былъ во фракѣ съ широкимъ вырѣзомъ и красной гарденіей въ петличкѣ. Слѣдомъ за нимъ, тѣню, незамѣтно, очутился на своемъ мѣстѣ аккомпаниаторъ, у котораго длинные, прямые и жидкіе волосы падали на оба плеча.

Залъ затихъ.

Нѣсколько особенно франтоватыхъ студентовъ, которыхъ можно было бы по бантикамъ на груди, признать за распорядителей вечера, нетерпѣливо толпились въ холодной швейцарской между вѣшалками, загроможденными верхней одеждой,—они ожидали приѣзда Генріэтты Дюкруа, примадонны Парижской Оперы, гастролировавшей въ городѣ весь зимній сезонъ. Хотя знаменитая пѣвица и приняла съ очаровательной любезностью депутацію отъ молодежи, и увѣряла, что сочтетъ за большую честь для себя пропѣть на сту-

денческомъ вечерѣ, однако, начиналось уже третье отдѣленіе, въ которомъ именно и должна была участвовать дива, а она до сихъ поръ еще не пріѣзжала.

«Неужели надула?» мелькала тревожная, но невысказываемая мысль въ умахъ озябшихъ распорядителей, и они то и дѣло одинъ за другимъ, подбѣгали къ окнамъ и, прижимаясь лицами къ стеклу, напряженно вглядывались въ темноту зимней ночи. Дюкруа, назначавшая въ дни своихъ представленій безумныя цѣны на мѣста, была, безъ сомнѣнія, гвоздемъ вечера, главной приманкой для большинства пріѣхавшей публики...

На улицѣ послышался грохотъ подъѣзжающаго экипажа, и мимо оконъ въ одно мгновенье мелькнули два большихъ, яркихъ фонаря. Распорядители быстро кинулись къ дверямъ, волнуясь и отъсняя другъ друга.

Дѣйствительно, это была Дюкруа. Она въпорхнула въ швейцарскую, улыбаясь студентамъ и указывая рукой на свое горло, укутанное въ тысячные соболя. Этотъ жестъ означалъ, что она охотно объяснила бы уважительную причину своей неаккуратности, но боится говорить въ нетопленной комнатѣ.

Такъ какъ Дюкруа давно пропустила свой номеръ и разочарованная публика уже перестала ее ожидать, то внезапное появленіе ея на эстрадѣ вышло великолѣпнымъ сюрпризомъ. Нѣсколько сотенъ молодыхъ глотовъ и вдвое большее количество здоровыхъ ладоней устроили ей такую долгую и оглушительную встрѣчу, что даже и она, привыкшая быть повсюду кумиромъ публики, почувствовала въ душѣ пріятное щекотаніе лести... Она стояла у края эстрады, слегка наклонившись всѣмъ тѣломъ впередъ и обводя ряды зрителей своими большими, черными, смѣющимися глазами. На ней было шелковое глянцовитое платье, корсажъ котораго держался на плечахъ при помощи узенькихъ ленточекъ. Прекрасныя обнаженные руки, низко открытая высокая грудь и длинная, круглая, гордая шея казались выточенными изъ какого-то теплаго, бархатнаго мрамора.

Нѣсколько разъ буря аплодисментовъ утихала, но едва только Дюкруа подходила къ роялю, какъ новый взрывъ восторга заставлялъ ее возвращаться къ краю эстрады. Наконецъ, она со своей очаровательной улыбкой сдѣлала руками просительный жестъ, указывая на рояль. Крики постепенно стихли, но весь залъ продолжалъ глядѣть на нее влюбленными глазами. И среди полнѣйшей, но живой, внимательной тишины, она запѣла одинъ изъ романсовъ Сень-Санса.

Алексѣй Сумиловъ, студентъ медикъ II курса, стоялъ присло-

нившись къ боковой колоннѣ и слушалъ съ закрытыми глазами пѣніе, нѣжно и властно раздававшееся съ эстрады. Онъ любилъ музыку какой-то удивительной, болѣзненно-страстной любовью, ощущая ее не только ушами, но всѣмъ тѣломъ, всѣми нервами, всей своею душой... И теперь каждый звукъ чуднаго голоса проникалъ въ самую глубь его существа и отзывался тамъ такой сладкой дрожью, что Алексѣю мгновеніями казалось, будто эти звуки раздаются въ его собственной груди.

Когда восторженный ревъ толпы подымался послѣ каждаго оконченнаго романса, Алексѣй испытывалъ чувство почти физической боли, и глаза его смотрѣли на кричащую публику съ выраженіемъ испуга, мольбы и страданія. Но Дюкруа начинала новую арію, и Алексѣй опять опускалъ вѣки, весь отдаваясь, точно теплымъ морскимъ волнамъ, чарующей музыкѣ. Въ это время онъ страстно желалъ, чтобы вѣчно не смолкало это божественное пѣніе, и чтобы онъ самъ вѣчно стоялъ у своей колонны, жадно наслаждаясь каждой нотой...

Дюкруа должна была биссировать около десяти разъ. Ее отпустили только тогда, когда она все съ той же очаровательной улыбкой показала рукой на горло и сдѣлала головой и плечами жестъ отказа и сожалѣнія. Слѣдомъ за ней на эстраду выскочила какая-то бритая и кудлатая личность въ потертомъ фракѣ стараго фасона и закричала: «Около воздушнаго шара. Сцена изъ народнаго быта, Ивана Ѳедоровича Горбунова».

Сумиловъ глубоко и прерывисто вздохнулъ, какъ будто только что очнувшись отъ долгаго сладостнаго сновидѣнія.

Онъ сходилъ съ лѣстницы, запруженной кричащимъ, суевающимся народомъ, и старался не наступать на дамскія платья. Кто-то хлопнулъ его сзади по плечу. Сумиловъ обернулся и увидѣлъ юриста Бибера, своего товарища по гимназіи, сына извѣстнаго миллионера. ✓

Биберъ былъ чѣмъ-то радостно взволнованъ. Онъ обнялъ Сумилова за талію, и, крѣпко прижимая его къ себѣ, быстро зашепталъ ему на ухо:

— Согласилась!.. Сейчасъ тройки пріѣдутъ... Я послалъ...

— Кто согласился?—спросилъ Сумиловъ.

— Она... Дюкруа... Мы въ «Европейской» ужинъ заказали. Сначала, было, ни за что не соглашалась, а потомъ ничего... смилостивилась. Тамъ всѣ наши будутъ... Ты поѣдешь, конечно?

— Я? Нѣтъ, не поѣду.

Сумиловъ никогда не принадлежалъ къ компаніи Бибера, состоявшей изъ золотой молодежи университета: сыновей крупныхъ помѣщиковъ, банкировъ и коммерсантовъ. Биберь самъ это отлично понималъ, но онъ находился въ томъ припадкѣ безпорядочнаго восторга, когда хочется каждому сдѣлать что-нибудь пріятное. Поэтому онъ запротестовалъ:

— Брось глупости. Ты долженъ... Почему ты не хочешь?

Сумиловъ разсмѣялся.

— Потому что... Ну, просто... Потому что, вѣдь, ты знаешь мои...

— Ну, ладно, ладно... Подробности письмомъ,—воскликнулъ Биберь, увлекая Сумилова. — Ёдемъ, ёдемъ, ёдемъ....

У крыльца стояли тройки. Лошади въ темнотѣ фыркали и мотали головами, отчего бубенчики на ихъ шеяхъ весело звенѣли. Студенты суетливо разсаживались, и въ мерзломъ воздухѣ ихъ голоса раздавались рѣзко и возбужденно.

Сумиловъ сидѣлъ рядомъ съ Биберомъ. Алексѣй до сихъ поръ находился подъ впечатлѣніемъ музыки. Странная иллюзія овладѣла имъ въ то время, когда тройки неслись вперегонку по пустыннымъ улицамъ. Свистъ вѣтра въ ушахъ, визгъ подмерзшаго снѣга подъ полозьями, крики студентовъ и непрерывный звонъ бубенчиковъ сливались для него въ какую-то удивительную, переливчатую мелодію... Въ то же время минутами онъ не постигалъ, или, вѣрнѣе, забывалъ, что съ нимъ дѣлается или куда онъ ѣдетъ.

Ужинъ, на которомъ сначала всѣ, кромѣ Дюкруа, стѣснялись, подъ конецъ принялъ характеръ «оргіи мальчишекъ изступленныхъ». Студенты непрерывно цѣловали у пѣвицы руки и говорили ей на плохомъ французскомъ языкѣ самые дерзкіе комплименты. Близость красивой, сильно декольтированной женщины, опьяняла ихъ всѣхъ гораздо больше, чѣмъ шампанское; въ ихъ глазахъ свѣтилось нескрываемое желаніе. Дюкруа отвѣчала сразу пятерымъ, громко хотала, откидываясь головой на спинку малиноваго бархатнаго дивана, и била своихъ собесѣдниковъ вѣромъ по рукамъ и губамъ...

Сумиловъ не привыкъ къ вину, и теперь два бокала, выпитые имъ, пріятно кинулись ему въ голову. Онъ сидѣлъ въ углу и, заслоняясь ладонью отъ свѣта канделябра, неотступно глядѣлъ на Дюкруа восхищенными глазами. Внутренно онъ удивлялся смѣлости своихъ товарищей, такъ развязно болтавшихъ съ знаменитой пѣвицей... Эта смѣлость одновременно возбуждала въ немъ и зависть и какое-то ревнивое чувство.

Сумиловъ былъ очень скромный, даже болѣе — застѣнчивъ, по своей нѣжной натурѣ и по воспитанію, которое онъ получилъ въ хорошей, патриархальной семьѣ. Близкіе товарищи называли его ба-рышней. И дѣйствительно, въ немъ было много дѣвственной, наивной, свѣжей непосредственности мысли и чувства.

— Кто этотъ господинъ, что сидитъ въ углу, точно мышь? — спросила вдругъ Дюкруа, указывая на Алексѣя.

Биберъ тотчасъ-же отвѣтилъ:

— Это одинъ изъ нашихъ студентовъ. Его фамилія — Сумиловъ.

— Онъ, должно быть, поэтъ, этотъ господинъ? Послушайте, господинъ поэтъ, подойдите сюда! — крикнула пѣвица.

Сумиловъ подошелъ и неловко остановился противъ нея, чувствуя, что горячая краска заливаетъ его лицо.

— Ахъ, Боже мой! Да вашъ поэтъ прехорошенькій, — засмѣялась Дюкруа. — У него видъ свѣженькой пансіонерки... Глядите, глядите, онъ даже краснѣетъ. Ахъ, какъ это мило!

Она, дѣйствительно, съ удовольствіемъ глядѣла на Сумилова, на его стройную, юношески-гибкую и худошавую фигуру, на его раз-румянившееся, нѣжное и красивое лицо, все покрытое легкимъ пуш-комъ, на бѣлокурые мягкіе волосы, падающіе непослушными пря-дями на лобъ. И вдругъ, схвативъ быстрымъ, граціознымъ движе-ніемъ руку Сумилова, Дюкруа заставила его сѣсть рядомъ съ собою на диванъ.

— Отчего это вы не хотѣли подойти ко мнѣ? Вы слишкомъ горды, молодой человекъ. Неужели женщина должна дѣлать къ вамъ первый шагъ!

Алексѣй молчалъ. Кто-то изъ студентовъ, никогда не видѣвшій Сумилова въ своей компаніи, вставилъ съ наглой усмѣшкой:

— Madame, нашъ коллега не понимаетъ по французски ни слова.

Это замѣчаніе подѣйствовало на Алексѣя, какъ ударъ хлыста. Онъ рѣзко повернулся къ говорящему и, глядя на него въ упоръ, отчеканилъ также по-французски, но съ тою изысканностью языка, которая нѣкогда составляла преимущество русской знати и которая еще уцѣлѣла кое-гдѣ въ хорошихъ фамиліяхъ:

— Вы совершенно напрасно, милостивый государь, берете на себя трудъ объясняться за меня, тѣмъ болѣе, что даже не имѣю чести быть съ вами знакомымъ.

Когда онъ это говорилъ, его брови гнѣвно сдвинулись и боль-шіе, голубые глаза съ длинными стрѣлами рѣсницъ потемнѣли.

— Bravo, bravo, молодой поэтъ! — засмѣялась Дюкруа, не вы-пуская изъ своихъ рукъ руки Алексѣя... — Какъ васъ зовутъ, мой поэтъ?

Сумиловъ, вспышка котораго уже улеглась, опять сконфузился и опять покраснѣлъ:

— Алексѣй.

— Какъ? Какъ? Але?..

Сумиловъ повторилъ.

— Ахъ, это все равно, что Алексисъ! Ну такъ вотъ, m-eur Алексисъ, въ наказаніе за то, что вы не хотѣли ко мнѣ подойти, вы должны меня будете проводить до дома. Я хочу пройтись немного пѣшкомъ, а то боюсь завтра встать съ головою болью.

Карета остановилась у подъѣзда первоклассной гостиницы. Сумиловъ помогъ пѣвицѣ выйти изъ экипажа и сталъ прощаться.

Она взглянула на него исподлобья лукавымъ и нѣжнымъ взоромъ и спросила:

— Развѣ вы не зайдете посмотрѣть мою берлогу?

— Madame... я очень счастливъ...—залепеталъ смущенно Алексѣй,—но я боюсь... такъ поздно...

— Идемъ! скомандовала Дюкруа.—Я васъ хочу окончательно наказать...

Пока она переодѣвалась въ будуарѣ, Сумиловъ осматривался кругомъ. Онъ замѣтилъ, что пѣвица сумѣла придать шаблонно-пышной обстановки дорогого номера то кокетливое изящество, на которое способна только парижанка. Всюду были ковры, цвѣты, вѣера, дорогія бездѣлушки, мебель, болѣе удобная для лежанія, чѣмъ для сидѣнія... Воздухъ благоухалъ тонкими духами, пудрой и запахомъ красивой женщины. Этотъ запахъ Сумиловъ слышалъ еще въ то время, когда сидѣлъ въ каретѣ, прикасаясь плечомъ къ плечу пѣвицы.

Дюкруа вышла въ просторномъ бѣломъ, затканномъ золотомъ, пеньюарѣ. Замѣтивъ горничную, неслышно и ловко приготавливающую на мраморномъ столикѣ чай, она сказала:

— Идите спать, я больше не имѣю надобности въ васъ.

Горничная—некрасивая, подвижная, какъ обезьяна, парижанка—вышла, скользнувъ по Сумилову пронизательно-насмѣшливымъ взглядомъ. Дюкруа усѣлась съ ногами на низкій и широкий турецкій диванъ, расправляя около ногъ складки своего бѣлаго платья, и повелительнымъ жестомъ указала Алексѣю на мѣсто рядомъ съ собою.

Сумиловъ повиновался.

— Ближе, ближе!—приказала Дюкруа.—Еще ближе!.. Вотъ такъ... Ну, теперь давайте разговаривать m-eur Алексисъ. Во-первыхъ, гдѣ вы научились такъ хорошо владѣть французскимъ языкомъ? Вы выражаетесь, точно маркизъ.

Сумиловъ разсказалъ ей, что у него съ самаго ранняго дѣтства были гувернантки французенки, и что этотъ языкъ принять почти исключительно въ его семьѣ.

— О, значить вы изъ богатаго семейства?!—воскликнула Дюкруа.

— Нѣтъ, мы лѣтъ пять тому назадъ разорились.

— Ахъ, бѣдненькій! Значить, вы живете своими трудами? Вамъ должно быть это очень тяжело? У васъ есть друзья? Вы, вѣроятно, рѣдко бываете въ обществѣ?

И она засыпала его цѣлой кучей вопросовъ, на которые онъ едва успѣвалъ отвѣчать. Потомъ вдругъ, совершенно неожиданно, она спросила низкимъ и протяжнымъ голосомъ:

— Скажите, вы любили когда-нибудь женщину?

Онъ посмотрѣлъ на нее полусмѣясь, полуудивленно.

— Да, любилъ... Когда мнѣ было четырнадцать лѣтъ, я былъ влюбленъ въ свою кузину...

— И только?

— Да.

— Честное слово?

— Честное слово.

— И вы никогда не любили женщину совсѣмъ?

Онъ понялъ и, нервно теребя бахромку скатерти, прошепталъ:

— Нѣтъ... Никогда.

— А я?—тѣмъ же замирающимъ шопотомъ спросила Дюкруа, наклоняясь къ нему такъ близко, что онъ почувствовалъ теплоту ея лица.—А я нравлюсь вамъ? Нравлюсь? Да глядите же въ глаза, когда васъ спрашиваютъ!

Она схватила его голову руками и повернула къ себѣ... |Ея горячіе и жуткіе глаза сначала испугали Сумилова, потомъ смутили, а потомъ вдругъ и въ его глазахъ зажгли такой же огонь.

Она опустила рѣсницы и со вздохомъ притянула голову Сумилова еще ближе къ себѣ. Губы ея пылали и были влажны.

— Дома г-жа Дюкруа?..

— Нѣту дома.

— Можетъ быть, вы не замѣтили? Можетъ быть, она уже вернулась?

Толстый ливрейный швейцаръ съ красной, опухшей и заспанной мордой почесалъ спину о косякъ двери.

— Какъ же это я, напримѣръ, не видалъ, ежели я къ тому обязанъ, чтобы смотрѣть? Да что вы хлопчете? Вотъ уже, почитай,

вторую недѣлю, каждый день бѣгаете... Коли сказано нѣтъ, такъ, стало быть, и нѣтъ... Чего же тутъ еще? Не хотить васъ видѣть, и дѣло съ концомъ...

Сумиловъ торопливо вытащилъ изъ кармана кошелекъ. При видѣ рублевой бумажки швейцаръ пересталъ чесать спину и произнесъ снисходительно:

— Попробуйте... подымитесь наверхъ. Можетъ быть, и есть...

Сумиловъ быстро взбѣжалъ по лѣстницѣ, шагая черезъ двѣ ступеньки и схватился инстинктивно за то мѣсто груди, гдѣ такъ судорожно и мучительно колотилось сердце. При этомъ, его рука ощутила прикосновеніе лежащаго въ боковомъ карманѣ небольшого револьвера.

Сумиловъ постучался.—«Entrez», послышалось изъ-за двери. Закрывъ на секунду глаза отъ смутнаго предчувствія какого-то ужаса, Алексѣй толкнулъ ручку.

Сегодняшній день онъ считалъ рѣшительнымъ, потому что терпѣть дольше эти мученія неудовлетворенной любви и ревности становилось невозможнымъ.

Когда на утро послѣ перваго вечера Алексѣй пришелъ къ Дюкруа, весь еще полный счастья, она встрѣтила его съ холоднымъ удивленіемъ. На другой день ея не было дома, на третій то же самое... Камеристка съ наглымъ видомъ захлопывала дверь передъ самымъ его носомъ. Онъ сталъ писать письма, но на первое не получилъ отвѣта, а прочія возвращались ему нераспечатанными.

Алексѣй страдалъ невыносимо. Онъ исхудалъ, осунулся и пожелтѣлъ. И днемъ, и ночью его преслѣдовалъ образъ прекрасной парижанки; вездѣ ему рисовалась ея бархатная кожа, ея поцѣлуи.

Дюкруа была не одна. Рядомъ съ ней на диванѣ, такъ хорошо знакомомъ Алексѣю, сидѣлъ какой-то толстый господинъ, судя по лицу, грекъ или армянинъ, съ масляными черными глазами, горбатымъ носомъ и густыми черными усами.

Увидѣвъ вошедшаго Сумилова, Генриетта быстро поднялась и съ гнѣвнымъ видомъ сдѣлала нѣсколько шаговъ ему навстрѣчу, не протягивая руки.

— Что васъ заставляетъ преслѣдовать меня всюду, милостивый государь?—спросила она, вызывающе шуря глаза.

Кровь кинулась въ голову Алексѣю. Все потемнѣло передъ его глазами. Онъ рѣзко схватилъ Дюкруа за руку выше кисти и прошепталъ съ искривленными губами:

— Мнѣ надо говорить съ вами... наединѣ... два слова.

Въ его голосѣ и въ выраженіи лица чувствовалась такая страшная настойчивость, что Генриетта невольно повиновалась.

— Хорошо, идите за мной,—сказала она, направляясь въ свой будуаръ.—Но, помните, что это послѣднее объясненіе.

Въ полутемномъ будуарѣ онъ опять схватилъ ее за руки, но она быстро вырвалась отъ него.

— Я васъ безумно люблю!—воскликнулъ Алексѣй.—Пощадите меня!

— Это все, что вы хотѣли мнѣ сказать?

— Да... впрочемъ, нѣтъ... не все... Я самъ не знаю, что говорю. Я не сплю по ночамъ... Зачѣмъ, зачѣмъ вы все это сдѣлали?

Она расхохоталась наглымъ, искусственнымъ смѣхомъ опытной актрисы.

— Вотъ какъ! Вы пришли упрекать меня...

Изъ гостиной послышался сдержанный кашель.

— Кто это?—спросилъ грубо Алексѣй.

— Развѣ я вамъ должна давать отчетъ въ моихъ знакомствахъ?—отвѣтила Дюкруа, пожимая презрительно плечами.

Сумиловъ вдругъ почувствовалъ въ душѣ приливъ бѣшенства.

— Отвѣчайте мнѣ: кто этотъ господинъ? Это вашъ любовникъ?

Говорите сейчасъ...

— А! Вы непременно хотите знать?—Генриетта приблизила къ нему свое лицо, искаженное злобой, и трясущимися блѣдными губами произнесла:

— Да, это мой любовникъ...

Послышался выстрѣлъ, потомъ отчаянный женскій крикъ, потомъ другой выстрѣлъ, потомъ испуганный вопль изъ сосѣдней комнаты... Отовсюду изъ номеровъ сбѣжались люди... Генриетта еще была жива и, лежа на полу въ лужѣ крови, протяжно и тихо стонала. Сумиловъ лежалъ рядомъ съ ней, ничкомъ, касаясь окровавленной головой ея платья. Правая рука его была подвернута подъ тѣло, а плечо лѣвой судорожно вздрагивало, какъ крыло подстрѣленной птицы...

Сологубъ, Ѳ.

КРАСНОГУБАЯ ГОСТЬЯ.

I.

Хочу нынѣ рассказать о томъ, какъ спасенъ былъ въ наши дни нѣкто, хотя и мало достойный, но все-таки братъ нашъ, спасенъ отъ злыхъ чаръ ночного волхвованія словами непорочнаго Отрока. Темной вражьей силѣ дана бываетъ власть на дни и часы,—но побѣждаетъ всегда Тотъ, Кто родился, чтобы оправдать жизнь и развѣнчать смерть.

II.

Эта зима была для Николая Аркадьевича Варгольскаго тяжелая и томная.

Онъ все больше и больше отдалялся отъ всѣхъ своихъ друзей, родственниковъ и знакомыхъ. Все охотнѣе просиживалъ онъ короткіе темные дни и длинные черные вечера въ уныломъ великолѣпіи своего стараго особняка, и ограничивался только недолгими прогулками по всегда тщательно выметеннымъ аллеямъ тѣнистаго небольшого сада при его домѣ.

Николай Аркадьевичъ даже не принималъ почти никого, кромѣ своей недавней знакомой Лидіи Ротштейнъ, блѣднолицей, прекрасной молодой дѣвушки съ жутко-громадными глазами и чрезмѣрно-яркими губами.

Прежде Николай Аркадьевичъ любилъ всѣ прелести веселой, разсѣянной жизни. Онъ любилъ свѣтское общество, зрѣлище, музыку, спортъ. Бывалъ вездѣ, гдѣ бываютъ обыкновенно всѣ. Живо интересовался всѣмъ тѣмъ, чѣмъ всѣ въ его кругу интересуются, чѣмъ принято интересоваться. Былъ онъ молодъ, независимъ, богатъ, въ мѣру окруженъ, и въ мѣру одинокъ и свободенъ, веселъ, счастливъ и здоровъ.

А теперь вдругъ все это странно и нелѣпо измѣнилось. Многокрасочная прелесть жизни потеряла свою надъ нимъ власть. Забылась пестрота впечатлѣній и ощущеній разнообразной, веселой жизни. Ни къ чему не тянуло. Ничего не хотѣлось.

Все, что прежде передъ его глазами стояло ярко и живо, теперь заслонилося блѣднымъ, жутко-прекраснымъ лицомъ его красной губой гостя.

И только хотѣлось ему смотрѣть въ бездонную глубину этихъ странныхъ, точно неживыхъ, точно навѣки замороженныхъ тишиною и тайною, зеленоватыхъ глазъ. И только хотѣлось ему видѣть эту безумно-алую на блѣдномъ лицѣ улыбку, видѣть этотъ большой, прямо разрѣзанный ротъ съ такими яркими губами, точно сейчасъ только разрѣзанъ этотъ ротъ, и еще словно свѣжею дымится онъ кровью. И только хотѣлось ему все слушать да слушать тихія, злые слова, неторопливо падающія съ этихъ странныхъ и очаровательныхъ устъ.

Такое все стало скучное, что внѣ этихъ стѣнъ! Такою докучною, ненужною казалась ему вся эта жизнь, внѣшняя, шумная, которою онъ жилъ до сихъ поръ.

Вялая лѣнность разливалась въ его тѣлѣ, прежде такомъ бодромъ и радостномъ. Голова стала часто болѣть и томно кружиться, полная глухихъ, безумныхъ шумовъ и звоновъ. Лицо его блѣднѣло, точно яркія губы Лидіи Ротштейнъ выпивали всю его жизнь.

III.

Съ чего это началось? Теперь это какъ-то смутно и неохотно припоминалось ему.

Познакомились гдѣ-то, въ сумеречномъ, холодномъ свѣтѣ осенняго вечера. Кажется, говорили что-то незначительное—Николай Аркадьевичъ былъ чѣмъ-то въ тотъ день занятъ и увлеченъ. Она была блѣдна, малоразговорчива и неинтересна. Поговорили съ минутой, не больше. Разошлись,—и Николай Аркадьевичъ забылъ о ней, какъ забываютъ всегда о случайныхъ, ненужныхъ встрѣчахъ.

IV.

Прошло нѣсколько дней. Николай Аркадьевичъ кончалъ свой завтракъ. Ему сказали, что его желаетъ видѣть госпожа Лидія Ротштейнъ.

Николай Аркадьевичъ слегка удивился. Это имя не сказало ему ничего. Забылъ совсѣмъ. Досадливо поморщился. Спросилъ лакея: — Кто такая? Просительница? Такъ дома нѣтъ.

Молодой, красивый лакей Викторъ, тщательно подражавшій своему барину въ манерахъ и модахъ, усмѣхнулся такою же лѣнивою и самоувѣренною, какъ и у Николая Аркадьевича, улыбкою бритыхъ, холеныхъ губъ, и сказалъ съ такою же, какъ и у барина, растяжечкою:

— Не похожи на просительницу. Скорѣе будутъ изъ стилизованныхъ барышень. Гдѣ-нибудь на пляжѣ вы изволили съ ними познакомиться.

Уже весело улыбаясь, спросилъ Николай Аркадьевичъ:

— Ну, почему же непременно на пляжѣ?

Викторъ отвѣчаетъ:

— Да такъ-съ мнѣ по всему сдается. По общему впечатлѣнію. Первое впечатлѣніе почти никогда не обманываетъ. Притомъ же изъ городскихъ словно бы такой не припомню.

Николай Аркадьевичъ спросилъ, продолжая соображать, кто-бы такая могла быть эта стилизованная барышня, Ротштейнъ:

— А какая она изъ себя?

Викторъ принялся рассказывать:

— Туалетъ черный, парижскій, въ стилѣ танагръ, очень изящный и дорогой. Духи необыкновенные. Лицо чрезвычайно блѣдное. Волосы черные, причесаны, какъ у Клео де Меродъ. Губы до невозможности алаго цвѣта, такъ что даже удивительно смотрѣть. Притомъ же невозможно предположить, чтобы употреблена была губная помада.

— А, вотъ это кто!

Николай Аркадьевичъ вспомнилъ. Оживился очень. Сказалъ почти радостно:

— Хорошо. Сейчасъ я къ ней выйду. Проводите ее въ зеленую гостиную, и попросите подождать минутку.

Онъ наскоро кончилъ свой завтракъ. Прошелъ въ ту комнату, гдѣ ожидала его гостя.

V.

Лидія Ротштейнъ стояла у окна. Смотрѣла на великолѣпные переливы осенней, багряно-желтой, словно опаленной листвы. Стройная, длинная, вся въ изысканно черномъ, она стояла такъ тихо и спокойно, какъ неживая. Казалось, что грудь ея не дышитъ, что ни одна складка ея строгаго платья не шевельнется.

Очеркъ ея лица сбоку былъ строгъ и тонокъ. Лицо было такъ же спокойно, безжизненно, какъ и ея застывшее въ неподвижности тѣло. Только на блѣдномъ лицѣ чрезмѣрная алость губъ была живою.

Съ жестокою нѣжностью чему-то улыбались эти губы, и трепетно радовались чему-то.

Заслышавъ отчетливый звукъ легкихъ шаговъ Николая Аркадьевича по холодному паркету этой строго-красивой гостиной, въ которой преобладаетъ зеленоватый камень малахитъ, Лидія Ротштейнъ повернулась лицомъ въ Варгольскому.

Съ нѣжною жестокостью чему-то улыбались ея чрезмѣрно-алыя губы, ея губы прекраснаго вампира, и трепетно радовались чему-то. Радость ихъ была злая и побѣдительная.

Взоромъ неотразимо берущимъ душу въ нерасторжимый плѣнъ, она смотрѣла прямо въ глубину глазъ Николая Аркадьевича. И было въ немъ странное смущеніе и непривычная ему неувѣренность, когда онъ услышалъ ея первыя слова, сказанныя золотозвеныицемъ голосомъ.

VI.

Она говорила:

— Я къ вамъ пришла, потому, что это необходимо. Для меня и для васъ необходимо. Вѣрнѣе, неизбѣжно. Пути наши встрѣтились. Мы должны покорно принять то, что неотвратимо должно случиться съ нами.

Николай Аркадьевичъ съ привычною, почти машинальною любовью пригласилъ ее сѣсть.

Привычный скептицизмъ человѣка свѣтскаго и очень городского, подсказывалъ ему, что его красноустая гостыя—просто экзальтированная особа, и что слова ея высокопарны и нелѣпы. Но въ душѣ своей онъ чувствовалъ неодолимое обаяніе, наводимое на него холоднымъ мерцаніемъ ея слишкомъ спокойныхъ, зеленоватыхъ глазъ. И не было въ душѣ его того спокойствія, которое до того времени было ея постояннымъ и естественнымъ состояніемъ во всякихъ обстоятельствахъ его жизни, хотя бы самыхъ экстравагантныхъ.

Лидія Ротштейнъ сѣла въ подставленное ей Николаемъ Аркадьевичемъ кресло. Медленно снимая перчатки, она медленнымъ взоромъ обводила комнату,—ея стѣны съ малахитовыми колоннами,—ея потолокъ, расписанный какимъ-то лукаво-мудрымъ художникомъ конца позапрошлаго столѣтія,—ея старинную мебель, всѣ эти очаро-

вательныя вещи, соединившія въ себѣ прелесть умной старины и слегка развращеннаго, изысканнаго вкуса той далекой эпохи напудренныхъ париковъ, жеманной любезности и холодной жестокости, эпохи, созданиемъ которой былъ старый домъ Варгольскихъ.

VII.

Тихо говорила Лидія Ротштейнъ:

— Какъ очаровательно все это, что васъ здѣсь окружаетъ! Этотъ домъ имѣетъ, конечно, свои легенды. По ночамъ, быть можетъ, здѣсь иногда ходятъ призраки вашихъ предковъ.

Николай Аркадьевичъ отвѣчалъ:

— Да, въ дѣтствѣ я слышалъ кое-что объ этомъ. Но мнѣ самому не доводилось видѣть здѣсь призраковъ. Люди нашего вѣка скептически настроены. Призраки боятся показываться намъ, слишкомъ живымъ и слишкомъ насмѣшливымъ.

Лидія спросила:

— Чего же имъ бояться?

Николай Аркадьевичъ отвѣчалъ, стараясь придерживаться тона легкой шутки:

— Электрическій свѣтъ вреденъ для нихъ, а наша улыбка для нихъ смертельна.

Тихо повтрила Лидія:

— Электрическій свѣтъ! Самые страшные для людей призраки—это тѣ, которые приходятъ днемъ. Днемъ, какъ я пришла. Не кажется ли вамъ и въ самомъ дѣлѣ, что я похожа на такой призракъ, приходящій днемъ? Я такъ блѣдна.

Николай Аркадьевичъ сказалъ:

— Это къ вамъ идетъ. Вы очаровательны.

Ему хотѣлось быть слегка насмѣшливымъ. Но его слова, противъ его воли звучали нѣжно, какъ слова любви.

Лидія говорила:

— Можетъ быть, и я пройду передъ вами, какъ одинъ изъ призраковъ вашего стараго дома, и исчезну, изгнанная вашею скептической улыбкою, какъ тѣ призраки, которыхъ вы уже изгнали отсюда. Если изгнали. Впрочемъ, Богъ съ ними, съ этими призраками. Я хочу пробыть съ вами сегодня только недолгое время, а мнѣ надо многое сказать вамъ. Или, можетъ быть, вы не захотите меня выслушать?

— Пожалуйста, я весь къ вашимъ услугамъ,—сказалъ Николай Аркадьевичъ.

VIII.

Лидія помолчала немного, и продолжала:

— Меня зовутъ Лидією, но мнѣ больше нравится когда меня называютъ Лилить. Такъ назвалъ меня мечтательный юноша, одинъ изъ тѣхъ, кого я любила. Онъ умеръ. Умеръ, какъ всѣ, кого я любила. Любовь моя смертельна,—и мнѣ хорошо, потому—что любовь моя и смерть моя, радостиѣ жизни и слаще яда.

Николай Аркадьевичъ замѣтилъ:

— Если ядъ сладокъ.

Онъ старался легко и шутливо улыбаться, но чувствовалъ, что улыбка его блѣдна и безсильна.

Съ холодною, почти безжизненною настойчивостью повторила Лидія.

— Слаще яда. Во мнѣ душа Лилить, лунная, холодная душа первой земской дѣвы, первой жены Адама. Земное, дневное, грубое солнце мнѣ, блѣдной Лилить, ненавистно. Не люблю я дневной жизни и безобразныхъ ея достижений. Къ холоднымъ успокоеніямъ зову я тѣхъ, кого полюбила. Къ восторгамъ безмѣрной и невозможной любви зову я ихъ. Пеленою мечтаній, которыя слаще ароматнѣйшихъ изъ земныхъ благоуханныхъ отравъ, я застилаю безобразный, дикій міръ дневного бытія. Многоцвѣтною, яркою пеленою застилаю я этотъ тусклый міръ передъ глазами возлюбленныхъ моихъ. Крѣпки объятія мои, и сладостны мои лобзанія. И у того, кого я люблю, я прошу въ награду за безмѣрность и невозможность моихъ утѣшеній только малаго дара, скуднаго дара. Только каплю его жаркой крови для моихъ холодѣющихъ венъ, только каплю крови прошу я у того, кого полюбила.

Очарованіемъ великой печали и тоски безмѣрной звучали золотые звоны ея отравленныхъ страннымъ и страшнымъ желаніемъ, рѣчей. Въ холодной глубинѣ ея глазъ разгоралось холодное, зеленое пламя,—и мерцаніе этого пламени чаровало и обезволивало Николая Аркадьевича. Онъ сидѣлъ, и молчалъ, и слушалъ тихія, золотомъ звенящія слова своей зеленоокой, красногубой гостыи.

IX.

И она говорила:

— Только одну каплю крови. Моими устами приникну я къ тѣлу возлюбленнаго моего. Моими жаждущими вѣчно устами я, какъ вставшій изъ могилы вампиръ, вопьюсь въ это милое, горячее мѣсто

между горломъ и плечомъ, между горломъ, гдѣ трепещеть дыханіе жизни, и бѣлымъ склономъ плеча, гдѣ напряженная дремлетъ сила жизни. Вопьюсь, вопьюсь въ сладостную плоть возлюбленнаго моего, и вылью каплю его жаркой крови. Одну каплю,—ну, можетъ быть, двѣ, три или даже четыре. Ахъ, возлюбленный мой не считаетъ! Возлюбленному моему и всей своей крови не жалко,—только бы оживить меня, холодную, жаркимъ трепетомъ своей жизни,—только бы я не ушла отъ него, не исчезла, подобная блѣдному, безжизненному призраку, исчезающему при раннемъ крикѣ пѣтуха.

Стараясь улыбнуться, Николай Аркадьевичъ сказалъ:

— Все это, что вы говорите, конечно, очень интересно и оригинально,—но я не понимаю, какое отношеніе я имѣю ко всему этому.

Но онъ сейчасъ же почувствовалъ всю ненужность и неправду своего жалкаго отвѣта. И потому, по мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ, голосъ его становился глуше и слабѣе, и послѣднія слова онъ сказалъ совсѣмъ тихо, почти прошепталъ.

Х.

Лилить встала. Подошла къ нему. Въ движеніяхъ ея не было той порывистой страстности, съ какою земныя женщины произносятъ свои признанія.

Стоя передъ Варгольскимъ, и глядя прямо въ его глаза холоднымъ взоромъ жуткихъ глазъ, въ которыхъ разгорался зеленый, мертвый огонь, она сказала:

— Я люблю тебя. Тебя избрала я, возлюбленный мой.

Подчиняясь золотымъ звонамъ ея голоса, онъ всталъ со своего мѣста. И стояли они другъ противъ друга,—она, блѣдноликая, зеленоокая, съ чрезмѣрно яркими, какъ у вампира, устами, и вся холодная, какъ неживая, лунная Лилить,—и онъ, зачарованный и словно всю свою утратившій волю.

Лилить сказала:

— Люби меня, возлюбленный мой. Больше и сильнѣе, чѣмъ любилъ ты дневную свою жизнь, люби меня, лунную, холодную твою Лилить.

Упала минута молчанія. Казалось тогда, что не было сказано ни одного слова.

И вотъ спросила его Лилить:

— Возлюбленный мой, любишь ли ты меня? Любишь ли?

Варгольскій тихо отвѣтилъ ей:

— Люблю.

И чувствовалъ, какъ душа его тонетъ въ зеленой прозрачности ея тихихъ глазъ.

И опять спросила его Лилить:

— Возлюбленный мой, любишь ли ты меня сильнѣе, чѣмъ всѣ очарованія и прелести дневной жизни, меня, твою лунную, твою холодную Лилить?

Отвѣчалъ ей Варгольскій,—и холодъ великаго успокоенія былъ въ звукъ его тихихъ словъ:

— Моя лунная, моя холодная Лилить, я люблю тебя сильнѣе, чѣмъ всѣ очарованія дневной жизни. И уже отрекаюсь отъ нихъ, и отвергаю ихъ всѣ за одинъ твой холодный поцѣлуй.

Радостно улыбнулась Лилить, но радостно-холодная улыбка ея была коварная и злая. И спросила Лилить:

— Отдашь ли ты мнѣ каплю твоей многоцѣнной крови?

Чувствуя, какъ въ душѣ его возникаютъ и сплетаются въ дивномъ бореніи ужасъ и восторгъ, Варгольскій сказалъ, простирая къ ней руки:

— Отдамъ тебѣ, моя Лилить, всю мою кровь, потому что люблю тебя безмѣрно и навсегда.

И она прильнула къ его устами поцѣлуемъ долгимъ и томнымъ. Темное и томное самозабвеніе осѣнило Варгольскаго, и того, что было съ нимъ потомъ, онъ никогда не могъ отчетливо вспомнить.

XI.

Съ того дня Лидія Ротштейнъ приходила къ Николаю Аркадьевичу въ неопредѣленные сроки, то чаще, то рѣже, почти всегда неожиданно, въ разное время, то днемъ, то вечеромъ, то поздною ночью. Она какъ-то ухитрилась всегда заставать его дома. А потомъ это стало и нетрудно, когда онъ почти совсѣмъ прекратилъ сношенія съ людьми.

Всегда эти свиданія съ Лилить были окутаны въ сознаниі Варгольскаго густою пеленою страннаго, почти досаднаго ему забвенія. Одно зналъ онъ несомнѣнно,—какъ ни крѣпки были объятія Лилить, какъ ни безумно дики были ея поцѣлуи, все же ихъ связь оставалась чуждою грубыхъ земныхъ достижений, и ни разу не отдалась ему эта странная красноустая гостья съ неживыми глазами и съ апокрифическимъ именемъ.

Когда она приникала къ его плечу, легкая острая боль пронизывала все тѣло Варгольскаго,—и тогда становилось ему сладко и

томно. Въ тѣлѣ чередовались жуткія ощущенія зноя и холода, точно била его лихорадка.

Знойныя, жадныя губы Лилить, только однѣ живыя въ холодѣ ея тѣла, впивались въ его кожу. Поцѣлуй ихъ былъ подобенъ холодному бѣшенству укуса. И казалось ему тогда, что кровь его течется капля за каплею.

XII.

Лилить исчезала незамѣтно.

Долго послѣ ея ухода Варгольскій лежалъ, погруженный въ томное безсиліе, ни о чемъ не думая, ничего не вспоминая, не мечтая ни о чемъ. Даже о Лилить не мечталъ и не вспоминалъ онъ тогда. Самыя черты ея лица припоминались ему неясно и неопредѣленно.

Иногда онъ думалъ о ней, потому, когда проходило то оцѣпенѣніе, въ которое погружали его ея ласки. Онъ думалъ иногда, что она не человѣкъ, а вампиръ, сосущій его кровь, что она его погубить, что надо ему оградиться отъ нея. Но эти короткія, вялыя мысли не зажигали его обезсилѣвшей воли. Ему было все равно.

Иногда онъ спрашивалъ себя, любить ли онъ Лилить. Но, прислушиваясь внимательно къ темнымъ голосамъ своей души, онъ не находилъ въ нихъ отвѣта на этотъ вопросъ. И было въ немъ равнодушіе, холодное и спокойное. Любить, не любить,—не все-ли равно!

XIII.

Лакей Николая Аркадьевича, Викторъ, былъ женатъ. Однажды, незадолго до святокъ, онъ пришелъ къ Николаю Аркадьевичу не въ урочное время, и сказалъ ему:

— Жена моя, Наталья Ивановна, разрѣшившись на-дняхъ отъ бремени, просить васъ, Николай Аркадьевичъ, сдѣлать намъ большую честь, и удостоить быть воспріемникомъ отъ купели нашего перваго сына, новорожденнаго младенца Николая.

Викторъ старался держаться своего всегдашняго спокойнаго, солиднаго тона, но при послѣднихъ словахъ, вспомнивъ со всею острою новизны, что онъ уже отецъ, покраснѣлъ отъ радости и гордости, и засмѣялся съ неожиданнымъ, почти деревенскимъ простосердечіемъ. Но, впрочемъ, тотчасъ же сдержался, и опять сталъ вести себя чинно и степенно. Сказалъ со всегдашнимъ своимъ достоинствомъ:

— И я со своей стороны осмѣливаюсь присоединиться къ просьбѣ моей жены. Сочтемъ за великую для себя честь, и будемъ чрезвычайно рады.

Николай Аркадьевичъ поздравилъ счастливаго отца. Согласился немедленно,—не потому, что хотѣлъ согласиться, а просто потому, что вялое равнодушіе давно уже угнѣздилося въ немъ.

И странное дѣло,—это обстоятельство, такое, повидимому, незначительное въ его жизни, съ какою-то неожиданною силою внесло рѣзкую перемѣну въ его отношенія къ Лилиѣ.

Первый же разъ, когда онъ увидѣлъ младенца Николая, котораго ему надо было назвать своимъ крестникомъ, онъ почувствовалъ нѣжное умиленіе къ этому слабо попискивающему, красному, сморщенному комочку мяса, завернутому въ мягкія, нарядныя пеленки. Глаза малютки еще не умѣли останавливаться на здѣшнихъ предметахъ,—но земная, вновь сотворенная изъ темнаго земнаго томленія душа, радостно мерца въ нихъ, трепетала жаждою новой жизни.

Николаю Аркадьевичу вспомнились зеленые, жуткіе пламеники неживыхъ глазъ его бѣлолицей гостии съ чрезмѣрно красными губами. Сердце его вдругъ сжалось ужасомъ и страстною тоскою по шумной, радостной, многоцвѣтной, многообразной жизни.

XIV.

Когда послѣ веселаго обряда крестинъ, въ которомъ онъ принялъ недолгое участіе, онъ вернулся къ себѣ въ мерцающую тишину высокихъ покоевъ, онъ опять почувствовалъ себя слабымъ и равнодушнымъ ко всему.

Тамъ, у Виктора, ему напомнили, что сегодня сочельникъ.

Гдѣ же онъ встрѣтитъ праздникъ? Какъ его проведетъ? Уже давно, больше мѣсяца, онъ упрямо не принималъ никого, и самъ ни у кого не былъ.

Надъ холоднымъ его равнодушіемъ возникали то тихо поблескивающіе глазенки его крестника, то слабый его пискъ. И напоминали ему младенца въ ясляхъ, и звѣзду надъ дивнымъ вертепомъ, и волхвовъ, принесшихъ дары. Все, что было забыто, что было отвѣяно холоднымъ дыханіемъ разсѣянной, свѣтской жизни, припомнилось опять, и опять томило душу сладкимъ предчувствіемъ восторга.

Варгольскій взялъ книгу, которую не открывалъ уже много лѣтъ. Прочиталъ трогательные, простые и мудрые рассказы о рожде-

нии и дѣтствѣ Того, Кто пришелъ къ намъ, чтобы нашу блѣдную, земную, дневную жизнь оправдать и обрадовать, Кто родился для того, чтобы развѣнчать и побѣдить смерть.

Трепетна была душа, и слезы подступали къ глазамъ.

Злыя обольщенія его коварной гостии вдругъ вспомнились Варгольскому. Какъ могъ онъ поддаться ихъ лживому обаянію! Когда цвѣтутъ на землѣ милыя, невинныя улыбки, когда смѣются и радуются милые, невинные дѣтскіе глаза!

Но вѣдь она, лунная, неживая, лживая Лилить, опять придетъ. И опять зачаруетъ обаяніемъ смертной тишины!

Кто же поможетъ? Кто спасетъ?

Книга безсильно выпала изъ рукъ Николая Аркадьевича. Молитва не рождалась въ его обезсилѣвшей душѣ.

И какъ бы онъ сталъ молиться? Кому и о чемъ?

Какъ молиться, если она, лунная, холодная Лилить, уже здѣсь, за дверью?

XV.

Вотъ чувствуетъ онъ, что она стоитъ тамъ, за дверью, въ странной нерѣшительности, и медлитъ, колеблясь на страшномъ ему и ей порогѣ.

Лицо ея блѣдно, какъ всегда. Въ глазахъ ея холодное пламя. Губы ея цвѣтутъ страшною яркостью, какъ яростныя губы упившагося жаркою кровью выходца изъ темной могилы, губы вампира.

Но вотъ Лелить преодолѣла страхъ, въ первый разъ остановившій ее у этого порога. Быстрымъ, какъ никогда раньше, движеніемъ она распахнула высокую дверь и вошла. Отъ ея чернаго платья повѣяло страшнымъ ароматомъ туберозы, вѣяніемъ благоуханнаго, холоднаго тлѣнія.

Лилить сказала:

—Возлюбленный мой, вотъ я опять съ тобою. Встрѣчай меня, люби меня, цѣлуй меня,—подари мнѣ еще одну каплю твоей многоцѣнной крови.

Николай Аркадьевичъ протянулъ къ ней руки угрожающимъ и запрещающимъ движеніемъ. Онъ сдѣлалъ надъ собою страшное усиліе, чтобы сказать:

— Уйди, Лилить, уйди. Я не люблю тебя, Лилить. Уйди навсегда.

Лилить смѣялась. Былъ страшень и жалокъ трепеть ея чрезмѣрно-алыхъ губъ, обреченныхъ томиться вѣчною жаждою. И говорила она:

— Милый мой, возлюбленный мой, ты боленъ. Кто говорить твоими устами? Ты говоришь то, чего не думаешь, чего не хочешь сказать. Но я возьму тебя въ мои объятія, я, твоя лунная Лилить. Я опять прижму тебя къ моей груди, которая такъ успокоенно дышитъ. Я опять прильну къ твоему плечу моими алыми, моими жажущими устами, я, твоя лунная, твоя холодная Лилить.

Медленно приближалась къ нему Лилить. Было неотразимо очарованіе ея смѣющихся алыхъ губъ. И былъ слышенъ золотой звонъ ея словъ:

— Цѣлованіемъ послѣднимъ прильну я къ тебѣ сегодня. Я навѣки уведу тебя отъ лживыхъ очарованій жизни. Въ моихъ объятіяхъ ты найдешь нынѣ блаженный покой вѣчнаго самозабвенія.

И приближалась медленно, неотразимо. Какъ судьба. Какъ смерть.

XVI.

Уже когда ея протянутыя руки почти касались его плечъ, вотъ, между ними дивный затеплился тихо свѣтъ. Отрокъ въ бѣломъ хитонѣ сталъ между ними. Отъ его головы струился дивный свѣтъ, какъ бы излучаемый его кудрявыми волосами. Очи его были благодостны и строги, и ликъ его прекрасенъ.

Отрокъ поднялъ руку, повелительно отстранилъ Лилить, и сказалъ ей:

— Бѣдная, заклятая душа, вѣчно жаждущая, холодная, лунная Лилить, уйди. Еще не настали времена, не исполнились сроки,— уйди, Лилить, уйди. Еще нѣтъ міра между тобою и дѣтьми Евы,— уйди, Лилить, уйди. Исчезни, Лилить, уйди отсюда навсегда.

Легкій стонъ былъ слышенъ, и свирѣльно-тихий плачь. Бѣдная въ сумракъ полусвѣщеннаго покоя, медленно тая, тихо исчезла Лилить.

Краткія прошли минуты,—и уже не было здѣсь дивнаго Отрока, и все было, какъ всегда, обыкновенно, просто, на мѣстѣ. Какъ-будто бы только легкою грезею въ полуснѣ было злое явленіе Лилить, и какъ-будто и не приходилъ дивный Отрокъ.

Только ликующая радость звенѣла и пѣла въ душѣ измученнаго, усталого человѣка. Она говорила ему, что никогда не вернется къ нему блѣдноликая, холодная, лунная Лилить, злая чаровница съ чрезмѣрною алостью безумно жаждущихъ губъ. Никогда!

Бальмонтъ, К.

НАВОЖДЕНІЕ.

Владимірское преданіе. =====

Жилъ старикъ со старухой, и былъ у нихъ сынъ,
Но мать прокляла его въ чревѣ.
Дьяволъ часто бываетъ надъ нашею волей сполна властелинъ,
А женщина, сына проклявшая,
Силу слова не знавшая,
Часто бывала въ слѣпящемъ сознаніе гнѣвъ.
Если Дьяволъ попуталъ, лишь Богъ тутъ поможетъ одинъ.
Сынъ все же у этой безумной родился,
Выросъ большой, и женился.
Но онъ не былъ какъ всѣ, въ дни когда онъ былъ малъ.
Правда, шутилъ онъ, игралъ, веселился,
Но минутами слишкомъ задумчивъ бывалъ.
Онъ не былъ какъ всѣ, въ день когда онъ женился.
Правда, весь свѣтлый онъ былъ подъ вѣнцомъ,
Но что-то въ немъ есть нелюдское—мать говорила съ отцомъ.
И точно, жену онъ любилъ, съ ней онъ спалъ,
Ласково съ ней говорилъ,
Да, любилъ,
И любился,
Только по свадьбѣ-то вскорости вдругъ онъ безъ вѣсти
пропалъ.

Искали его, и молебны служили,
Нѣтъ его, словно онъ въ воду упалъ.
Дни миновали, и мѣсяцы смѣну времянь сторожили,
Мѣняли одежду лѣсовъ и долинъ.
Гдѣ онъ? Нечистой то вѣдомо силъ.
И если Дьяволъ попуталъ, тутъ Богъ лишь поможетъ одинъ.
Въ дремучемъ лѣсу стояла сторожка.
Зашелъ ночевать туда нищій старикъ,
Чтобъ въ лачугѣ пустой отдохнуть хоть немножко,

Хоть на часъ, хоть на мигъ.

Легъ онъ на печку. Вдругъ конскій послышался топоть.

Ближе. Вотъ кто-то слѣзаетъ съ коня.

Въ сторожку вошелъ. Помолился. И слышится жалостный шопоть:

«Богъ суди мою матушку—прокляла до рожденья меня!»

Удаляется.

Утромъ нищій въ деревню пришелъ, къ старику со старухой на дворъ.

«Ужъ не вашъ-ли сынокъ», говорить, «объявляется?»

И старикъ собрался на дозоръ,

На развѣдку онъ въ лѣсъ отправляется.

За печкой, въ сторожкѣ, онъ спрятался, ждать.

Снова невѣдомый кто-то въ сторожку идетъ.

Молится. Сѣтуетъ. Молится. Шепчетъ. Дрожитъ, какъ видѣнье.

«Богъ суди мою мать, что меня прокляла до рожденья!»

Сына старикъ узнаетъ.

Выскочилъ онъ. «Ужъ теперь отъ тебя не отстану!

Насилу тебя я нашелъ. Мой сынокъ! Ахъ, сынокъ!» говорить.

Станный у сына безмолвнаго видъ.

Молча глядитъ на отца. Ждетъ. «Ну, пойдемъ». И выходятъ навстрѣчу туману,

Теплому, зимнему, первому въ зимней ночи предъ весной.

Сынъ говоритъ: «Ты пришелъ? Такъ за мной!»

Сѣлъ на коня, и поѣхалъ куда-то.

И тѣмъ же отецъ послѣдуетъ путемъ.

Прорубь предъ ними, онъ въ прорубь съ конемъ,

Такъ и пропалъ, безъ возврата.

Тамъ, гдѣ-то тамъ, въ глубинѣ.

Старикъ постояль-постояль возлѣ проруби, тускло мерцавшей при мартовской желтой лунѣ.

Домой воротился.

Говоритъ помертвѣвшей женѣ:

«Сына сыскалъ я, да выручить трудно, нашъ сынъ подо льдомъ очутился.

Живетъ онъ въ водѣ, между льдинъ.

Что намъ подѣлать? Разъ Дьяволь попуталъ, тутъ Богъ лишь поможетъ одинъ».

Ночь наступила другая.

Въ полночь, въ лѣсную сторожку старуха, вздыхая, пошла.

Вьюга свистѣла въ лѣсу, не смолкая,

Вьюга была и сердита и зла,
 Плакалась, точно у ней—и у ней—есть на сердцѣ кручина.
 Спряталась мать, поджидаетъ,—увидитъ ли сына.
 Снова и снова. Сошелъ онъ съ коня.
 Снова и снова молился съ тоскою.
 «Мать, почему жъ прокляла ты меня?»
 Снова копыто, подковой звеня,
 Мѣрно стучитъ надъ замерзшей рѣкою.
 Искрятся блески на льду.
 «Такъ. Ты пришла. Такъ иди же за мною».
 «Сынъ мой, иду!»
 Прорубь страшна. Конь со всадникомъ скрылся.
 Мартовскій мѣсяцъ въ высотахъ свѣтился.
 Мать содрогнулась надъ прорубью. Стынетъ. Горитъ, какъ
 въ бреду.

«Сынъ мой, иду!» Но какою-то силой
 Словно отброшена, вьюжной дорогою къ дому идетъ.
 Мѣсяцъ зловѣщій надъ влажной разъятой могилой
 Золотомъ матовымъ красить студености водъ.
 Призракъ! Какую-то душу когда-то съ любовью ты назвалъ
 здѣсь милой!

Третья приблизилась полночь. Кто третій къ сторожкѣ идетъ?
 Мать ли опять? Или, можетъ, какая старуха святая?
 Старый ли снова отецъ?
 Нѣтъ, наконецъ,
 Это жена молодая.
 Раньше пошла бы—не смѣла, ждала
 Старшихъ, чередъ соблюдая.
 Ночь молчала, свѣтла,
 Съ мѣсяцемъ порваннымъ, словно глядящимъ,
 Внизъ, къ этимъ снѣжно-бѣлѣющимъ чашамъ.
 Топотъ. О, топотъ! Весь міръ пробужденъ.
 Этой звенящей подковой!
 Онъ! Неужели же онъ!
 «Милый! Желанный! Мой прежній! Мой новый!»
 — «Милая, ты?»—«Я, желанный!»—«За мной!»
 — «Всюду!»—«Такъ въ прорубь».—«Конечно, родной!»
 Въ рай или адъ, но съ тобою.
 О, не съ чужими людьми!»
 — «Падай же въ воду, а крестъ свойними».
 Мѣсяцъ былъ весь золотой надъ пустыней небесъ голубою,

Въ безднѣ глубокой, въ подводномъ дворцѣ, очутились и
мужъ и жена.
Прорубь высоко-высоко сіяетъ, какъ будто вѣнецъ. И душѣ
поневолю

Жутко и сладко. На лдяномъ престолѣ
Свѣтлый предъ ними сидитъ Сатана.
Призраки разные свѣтятся зыбкой и блѣдной толпою.
«Кто здѣсь съ тобою?»

— «Любовь. Мой законъ».

— «Если законъ, такъ изыди съ нимъ вонъ.

Намъ нарушать невозможно закона».

Въ это мгновенье, въ музыкѣ звона,

Въ гулъ весеннихъ ликующихъ силъ,

Льды разломились.

Мартовскій мѣсяцъ побѣдно свѣтилъ.

Милый и милая вмѣстѣ вверху очутились.

Звѣзды отдѣльныя въ небѣ надъ ними свѣтились,

Словно мерцанья церковныхъ кадилъ.

Вѣяло теплою весною.

Звоны и всплески неслись отъ расторгнутыхъ льдинъ.

«О, наконецъ, я съ тобой!»—«Наконецъ, ты со мною!»

Если попутаетъ Дьяволъ, такъ Богъ лишь поможетъ одинъ.

Вербицкая, А.

ВЪ КОНТОРЪ.

Осенняя картинка.

Съ утра въ конторѣ г-жи Петровой, рекомендующей гувернантокъ, боннь и прислугу, перебивало уже до двадцати человекъ. Въ передней, на деревянныхъ скамьяхъ, сидѣли кухарки, горничныя и дворники безъ мѣста.

Были здѣсь совсѣмъ молодыя дѣвушки изъ провинціи, съ испугомъ и недовѣріемъ озиравшіяся кругомъ; были и «бывалыя» горничныя, «столовыя» и «за барыней», безъ стирки, и «дѣвушки со стиркой», и среднія кухарки, и «одной прислугой»... У этихъ были развязныя манеры, у нѣкоторыхъ типичныя лица алкоголичекъ, дрожавшія руки, возбужденные жесты... Межъ тѣмъ какъ дворники и лакеи безъ мѣста угрюмо молчали или сплевывали въ уголь, тяжело вздыхая, кухарки экспансивно бесѣдовали полупотомъ, дѣлясь планами, неудачами, обидами.

Въ первой комнатѣ, въ углу, сидѣла бѣлая кухарка, толстая и важная, въ новой шубѣ. По ея надменному, красному лицу было видно, что она не желаетъ смѣшиваться съ простой публикой. Она съ привычной терпѣливостью ждала, когда ее замѣтитъ маленькая, желчная брюнетка, что-то считавшая за конторкой. Многія сидѣли здѣсь уже больше часа и теряли терпѣніе.

— Что же это, батюшки? Да можетъ онѣ и не знаютъ, что мы ждемъ?—валновалась дѣвушка «со стиркой» изъ провинціи. Она внесла въ эту контору полтинникъ за прописку и больше недѣли уже тщетно ждала мѣста, проживая послѣднія деньги въ углу.

— Какъ не знать?... Да нешто у нихъ, кромѣ насъ, дѣловъ нѣту?—насмѣшливо оборвала ее одна изъ «бывалыхъ», съ сизобагровымъ носомъ и пестрыми скулами.—Сама, гляди, не вставала еще. А барышнямъ вдвоемъ не разорваться. Да ты что? горничной хочешь быть? Ну, милая... находишься сюда. Мѣстовъ такихъ немного... для деревенской-то....

— Безъ кухарокъ только не обойдешься,—самодовольно подхватила другая,—всѣмъ нужны...

А за конторкой раздавались тревожные возгласы. Миловидная барышня съ подвязанной щекой спрашивала желчную брюнетку о какомъ-то адресѣ, который забыли вписать; о какихъ-то деньгахъ, которыхъ не досчитывались въ кассѣ.

— Да можетъ-быть она сама взяла?

— Кабы взяла, не спрашивала.

— Вотъ грѣхи-то! На кого теперь думать?

— Да вамъ зачѣмъ теперь-то, Варенька, понадобились? Развѣ прѣхаль?

— Да какже? И опять денегъ требуетъ. Всю выручку вчерашнюю она ему отдала. А вотъ трехъ рублей не хватаетъ...

Брюнетка только рукой махнула.

— Вотъ дура-то баба! И чего онъ ей стоитъ, этотъ молодчикъ!... Вамъ чего? — непривѣтливо обратилась она къ вошедшей барышнѣ, молодой и миловидной, но съ совсѣмъ бѣлыми губами.

— Я насчетъ переписки, конторскихъ занятій, мѣс...

— Потрудитесь записаться...

— Я уже записана...

— А! — разочарованно воскликнула блондинка съ подвязанной щекой. — Нѣту ничего. Никакихъ требованій... Придите на той недѣлѣ.

Въ глазахъ барышни мелькнула тоска.

— Не можете ли вы справиться?

— Да чего-жъ тутъ справляться? — рѣзко возразила служащая, лихорадочно отворяя ящики и выбрасывая изъ нихъ на конторку всѣ бумажонки. — Нѣтъ спроса... Навѣдайтесь на той недѣлѣ...

— Боже мой! Вѣдь я вся прожила... Вы меня обнадежили...

— Сударыня! Какъ мы можемъ знать? Мы не боги, — обиженно вмѣшалась брюнетка. — Теперь сезонъ глухой. Были требованія, васъ не было...

— Да вѣдь на это всего труднѣе рассчитывать, — смятченнымъ звукомъ добавила блондинка съ подвязанной щекой. На мгновение оторвавшись отъ поисковъ адреса, она глянула въ измученное лицо дѣвушки, вспомнила, какъ сама голодала безъ мѣста, какъ дрожить за него теперь, боясь каприза с а м о й, ея ревности... Мало ли она смѣнила служащихъ?... Боясь краха конторы...

— Почему вы... въ бонны не поступите?

— Въ бонны?

— Да... На это еще есть спросъ... Хотя вы гимназію кончили... Но уроковъ уже нѣтъ. Если и были въ началѣ сезона...

Теперь нѣтъ. Требуютъ только съ англійскимъ... Вы англійскаго не знаете?

— Нѣтъ.. не знаю...

— Вотъ еще фельдшерица нужна въ отъѣздъ...

— Позвольте мнѣ сѣсть... Я ужасно устала, — сорвалось у приходшей измученнымъ звукомъ.

— Ахъ, пожалуйста! — смягчилась и брюнетка.

Дверь позади конторки отворилась, и въ нее выглянула причесанная по модѣ голова еще красивой сохранившейся женщины, сильно нарумяненной. Одѣта она была неряшливо, но пестро, въ розовую бархатную кофту, отдѣланную почернѣвшимъ золотымъ аграмантомъ, и старую юбку изъ чернаго атласа, всю ошмыганную у подола. Во рту у нея была папироса.

— Сколько?—лаконично спросила она, оглянувъ комнату. Потомъ вошла и протянула руку къ вырубкѣ.

— Пять рублей шестьдесятъ копеекъ... Кажется все...—щурясь близорукими глазами на мелочь, сообщила брюнетка.

— Давайте!

Она скрылась. Барышни переглянулись и вздохнули съ облегченіемъ.

За дверью слышался французскій быстрый говоръ и раздраженный мужской голосъ.

— Мало дала!.. Недоволенъ! — шепнула блондинка, улыбаясь уголкемъ губъ и лукаво подмигивая.

— Вотъ подождите! Что будетъ? Сердце-то вѣдь на насъ съ вами сорвутъ,—мрачно замѣтила брюнетка.—Пойдетъ теперь дымъ коромысломъ...

Бѣлая кухарка солидно поднялась и подошла къ конторкѣ. Пробило уже два часа. Изъ передней стали выглядывать измученные кліенты.

Парадная дверь визжала, впуская морозный паръ въ эту непривѣтливую грязноватую комнату, всю пропитанную, какимъ-то особымъ кислымъ и сквернымъ запахомъ толпы, живущей въ углахъ и подвалахъ, не знающей опрятности... Это специфическій запахъ бѣдности, которымъ были отравлены всѣ стѣны, всѣ вещи въ этой конторѣ.

Посѣтители прибывали. Звенѣла мелочь на конторкѣ, лихо-радочно записывались адреса... Новички уходили, благоговѣнно снявъ картузы, осторожно скрипя обувью, полныя надеждъ и благодарности; не подозрѣвая, что этими несбывшимися надеждами и

завѣтными полтинниками держится вся эта контора съ размалеванной барышней и этими двумя измученными конторщицами.

Прислуга, добившись очереди, понемногу рѣдѣла. Нѣкоторые уносили адреса новыхъ мѣстъ, большинство—отказы... Теперь прибывала публика почище. Были и работодатели, впрочемъ, въ ограниченномъ количествѣ, требовавшіе рекомендаціи... Съ нихъ брали по рублю. И обѣ конторщицы говорили публикѣ привычную ложь, ручаясь за тѣхъ, кого рекомендовали.

Но большинство посѣтителей все-таки были барышни всѣхъ возрастовъ и пожилыя особы, одѣтыя съ претензіей, которая только подчеркивала убожество ихъ костюма. Просили больше всего мѣстъ экономокъ, по хозяйству. Молодыя—мѣстъ приказчицъ и конторскихъ занятій. Всѣхъ отпускали съ обѣщаніями, заученно ободряющимъ тономъ, прося зайти черезъ недѣлю.

Но были и такія посѣдительницы, которыя дрожавшими губами выкрикивали оскорбительныя фразы насчетъ того, что ихъ водятъ обѣщаніями; что честнѣе сказать правду... вѣдь мѣсть все равно нѣтъ... Зачѣмъ же грабили ихъ трудовыя деньги? Вѣдь и это обманъ... Контора печатаетъ, что рекомендуетъ бесплатно...

— Не для васъ бесплатно.. А для тѣхъ, кто васъ нанимаетъ... Поймите... Для работодателей бесплатно...

— Неправда!—уличали другія.—И съ нихъ берутъ... Мы сами видѣли. И съ тѣхъ и съ другихъ... Съ богатой барышни взяли...

— А вамъ жаль ея денегъ?—перебила Софья Сергѣевна.—Ну, уйдетъ она отъ насъ въ другую контору, если вы насъ срамить начнете... Кому-жъ отъ этого будетъ легче?—А въ ея мрачныхъ глазахъ мелькалъ тоскливая мысль:—«У меня у самой двое дѣтишекъ дома безъ призора сидятъ. И все сердце за нихъ изболѣло. А кормлю я ихъ только моимъ тридцатирублевымъ жалованьемъ, что мнѣ платитъ эта прабительская контора, которую я должна предъ вами защищать»...

А когда являлась дама, просившая бонну или горнучную, вынималась другая книга. И, прежде чѣмъ дама открывала ротъ, ей говорили: «Потрудитесь записаться»...

— Па-азвольте... Въ газетахъ сказано: бесплатно рекомендуетъ...

— Бесплатно для прислуги и боннъ... Съ нихъ мы ничего не беремъ,—рѣзко объясняла Софья Сергѣевна.—А если еще съ васъ не брать, чѣмъ же контора будетъ существовать? Это не благотворительное учрежденіе...

— Значить, у васъ, какъ и въ другихъ конторахъ, берутъ за записку?—спрашивали гонныя дамы.

— Конечно...

Эти сцены повторялись ежедневно.

Через контору изъ внутреннихъ комнатъ быстро прошелъ красивый, прекрасно одѣтый молодой человекъ, въ цилиндръ, съ помятымъ, истощеннымъ лицомъ. Онъ бѣгло поклонился конторщицамъ, и его наглый взглядъ воровски пробѣжалъ по миловидному лицу блондинки съ подвязанной щечкой. Та покраснѣла и низко наклонила голову надъ книгой.

Дверь хлопнула. Въ воздухъ осталась только струя тонкихъ духовъ, какъ бы говорившая всей этой трудовой сѣрой, убогой толпѣ о какой-то иной, невѣдомой жизни.

— Parti?—раздался за спиной конторщицъ тревожный голосъ, и на порогъ двери показалась дама въ розовой кофтѣ, съ папиросой въ зубахъ. Подозрительнымъ взглядомъ она окинула сгорбившуюся фигуру блондинки.

Прислуга, узнавшая ее, поднялась со скамеекъ и стульевъ. Дама бѣгло кивнула головой и скрылась.

Брюнетка покосилась на подругу.

— Охъ, Варенька!.. Держите ухо востро... Онъ—негодяй за первый сортъ... А вѣдь она не пощадить.

— Что вы? Что вы, Софья Сергѣевна?.. Да развѣ у меня что-нибудь на умѣ было? Ужъ и такъ трясусь за мѣсто день и ночь... Вы знаете сами, у меня мама больная. Мало мы наголодались съ ней, чтобы... Что вамъ угодно?—оборвала она себя внезапно, увидавъ передъ конторкой красивое и гнѣвное молодое лицо.

— Гдѣ ваша хозяйка? Мнѣ надо видѣть вашу хозяйку!

— Извините... Ея, кажется, дома нѣтъ,—осторожно отвѣтила Варенька, пристально вглядываясь въ лицо посѣтительницы и стараясь предотвратить скандалъ, который угадывала.

— Что же это за безобразіе?—съ истерическими нотками въ голосъ прокричала посѣтительница.—Чѣмъ у васъ тутъ въ конторѣ занимаются?

Она швырнула адресъ, который Варенька схватила обѣими руками. Софья Сергѣевна такъ и замерла, уронивъ перо на тетрадь.

Публика всколыхнулась и стала съ любопытствомъ прислушиваться. Сзади, изъ комнаты хозяйки, тихонько скрипнула дверь.

— Вотъ! Получайте вашъ мерзкій адресъ! Я просила переписки, честнаго заработка... А меня послали къ негодяю... Которому не секретарь нуженъ, а... Мерзость какая! Если у васъ нѣтъ мѣстъ, говорите прямо... Ноги моей больше не будетъ въ этой конторѣ!.. Это притонъ какой-то... Я это... въ газетахъ опишу... И чему вы вѣрите?—Крикнула она вдругъ, обращаясь къ моло-

денькимъ дѣвушкамъ—кліенткамъ, лица которыхъ бросились ей въ глаза.—Здѣсь не мѣста даютъ, здѣсь занимаются сводничествомъ...

Кто-то ахнулъ. Многіе улыбались...

— Сударыня,—начала было поблѣднѣвшая до самыхъ губъ Софья Сергѣевна.

— Гадость! Гадость! — истерически закричала посѣтительница.—И не смѣйте ничего говорить!.. Вы, конечно, готовы заступаться... Это вашъ хлѣбъ... Всѣ вы тутъ хороши... Ахъ, если-бъ васъ на свѣжую воду...

Она вышла, громко хлопнувъ дверью. Настала пауза.

— Ловко отчехвостила!—донесся: явственно изъ передней голосъ лакея безъ мѣста. Послышался сдержанный хохоть.

— *Garbe! Venez-ici!*... — прозвучалъ изъ-за двери властный окрикъ.

Варенька, пунцовая, почти со слезами на глазахъ, кинулась изъ конторы.

— Вамъ что угодно?—тихо, но сурово обратилась Софья Сергѣевна къ пожилой, убого-одѣтой типичной гувернанткѣ. И облегченно вздохнула, когда перо ея закричало по бумагѣ, а публика начала въ полголоса дѣлиться впечатлѣніями, очевидно, исчерпавъ этотъ инцидентъ.

Въ контору вошла новая кліентка.

Наметавшійся глазъ Софьи Сергѣевны сразу призналъ въ ней барышню «изъ общества»... Превосходно сшитая мѣховая кофточка; скромная, но дорогая котиковая шапочка и такая же муфта; черная суконная юбка; манеры, походка—все носило то неуловимое *sachet*, которое дается только годами воспитанія и несомнѣнной обезпеченностью.

Вошла она робко, неувѣренно, какъ-то смущенно озираясь, и, подойдя къ конторкѣ, приподняла вуалетку надъ тонкимъ, обычно блѣднымъ дѣвичьимъ лицамъ, въ эту минуту покрывшимся нѣжнымъ румянцемъ.

— Что вамъ угодно? — любезно обратилась къ ней Софья Сергѣевна.

— Мнѣ... мнѣ хотѣлось бы... уроки...

Голосъ вошедшей звучалъ слабо, какъ у ребенка.

— Садитесь пожалуйста... Стулъ за вами... Потрудитесь записаться! Запись стоитъ рубль.

Барышня растерялась еще больше, полѣзла въ карманъ, пошарила въ муфточкѣ. И, наконецъ, поднявъ виноватые глаза, умоляюще прошептала:

— Извините... Я забыла дома кошелекъ...

— Это все равно... Не беспокойтесь... Запишетесь потомъ. Только вашъ адресъ позвольте и имя...

— Моя фамилія... Волгина, — чуть слышно уронила барышня.

— Какъ?

— Волгина... Екатерина Петровна... Я живу на Никиткомъ бульварѣ...

— Ни-кит-скій бульваръ... Чей домъ?

— Нашъ... Нашъ собственный домъ...

Варенька вышла изъ комнаты хозяйки. Все лицо ея, видное изъ-подъ платка, пылало. Опять она зарылась въ ящикахъ, ища потерянный адресъ.

Парадная дверь завизжала, впуская двухъ дѣвушекъ.

Къ какому сословію онѣ принадлежали, трудно было судить по ихъ костюму. Но бѣдность ихъ бросалась въ глаза всякому. На дворѣ былъ порядочный морозъ. Онѣ же были одѣты въ драповыя пальто и старыя фетровыя порыжѣлыя шляпы... Вязаные платки не защищали ихъ отъ холода. Совершенно стершіяся барашковые муфты не грѣли, очевидно, ихъ красныхъ, потрескавшихся рукъ. Онѣ обѣ такъ застыли, что ихъ посинѣвшія губы двигались съ трудомъ. Одна изъ нихъ, войдя, тотчасъ глухо и судорожно закашляла.

Увидавъ ихъ, Варенька сдѣлала жестъ досады, и почти испугъ мелькнулъ въ ея голубыхъ глазахъ.

— Мы подождемъ... Мы не торопимся, — сказала старшая изъ дѣвушекъ, и обѣ онѣ опустили на лавку.

У Софьи Сергѣевны защемило сердце, когда она увидѣла эти двѣ знакомыя, примелькавшіяся фигуры. Нахмурившись, она бѣгло кивнула головой на ихъ робкій поклонъ и опять обратилась къ «госпожѣ» Волгиной.

— Вамъ гувернантку нужно, или приходящую учительницу?... Варенька, займитесь съ Малышевыми, — зашептала она вдругъ съ нервнымъ подергиваніемъ губъ. — Скажите имъ, что годы, годы надо ждать... Случая, счастья... Онѣ мнѣ душу всю надорвали.

— Пусть погрѣются!.. Онѣ рады теплу, — также осторожнымъ шопотомъ отвѣтила Варенька. — Вы сами имъ скажите... Вы думаете, мнѣ-то легко?

Софья Сергѣевна любезно обернулась опять къ Волгиной.

— Извините, пожалуйста... Такъ много народу... Такъ вамъ учительницу?

Густая краска залила лицо Волгиной.

— Вы меня не поняли... Мнѣ... Я... я сама хотѣла бы давать уроки...

Софья Сергѣевна перестала писать. Много вопросовъ тѣснилось на ея губахъ. Они горѣли въ ея зрачкахъ, устремленныхъ на эту изящную барышню являющуюся конкуренткой Мальшевымъ и другимъ...

— Ваши условія? — сухо спросила она, снова беерясь за перо.

— Ахъ! Мнѣ все равно... Я... видите-ли... Мнѣ хотѣлось бы имѣть свои деньги... Понимаете? Хотя немного.

— Ну, сколько же? Двадцать... пятнадцать рублей? За сколько часовъ? Вы, конечно, языки знаете? И англійскій.

— Англійскій—нѣтъ... Но оба другіе — хорошо... Я кончила институтъ съ золотой медалью... А сколько часовъ? Право, не знаю... У меня такъ много свободнаго времени... Если дадутъ десять рублей, я возьмусь... Вѣдь я... на всѣмъ готовомъ живу...

— Позвольте... Я справлюсь въ книгахъ,—официальнымъ тономъ перебила Софья Сергѣевна и уставилась близорукими глазами въ просаленную толстую тетрадь, которую сняла съ полки.

Сестры Малышевы подошли къ Варенькѣ. Обѣ онѣ были молоды, но истощены до послѣдней степени. Покраснѣвшіе глаза и носы еще больше подчеркивали землистый цвѣтъ ихъ щекъ, говорившій о долгомъ и хроническомъ недоѣданіи.

— Я догадываюсь, что ничего нѣтъ,—монотонно, безучастно какъ-то заговорила старшая.

Варенька сдѣлала безпомощный жестъ.

— Боже мой! До чего мы измучены... До чего мы устали! — сорвалось у второй. И опять она закашляла глухо, точно изъ бочки. бочки.

— Идите въ бонны... Есть еще одно мѣсто въ отѣздѣ, послѣднее, — участливо замѣтила Софья Сергѣевна, и грубоватый голосъ ея смягчился.—А пропустите это, и совсѣмъ больше не будетъ до лѣта спроса...

— Въ бонны? Нѣтъ... Въ отѣздѣ мы не можемъ. У насъ здѣсь мама больная. На кого мы ее бросимъ? Не будь ея у насъ, конечно, мы развѣ задумались бы? Но... это невозможно!

— Да развѣ у васъ есть выборъ? —горячо перебила Софья Сергѣевна. Сами говорите, что закладываете вещи и проживаете послѣднее... Ну, пусть одна хоть поступить! Будетъ, живя на всѣмъ готовомъ, высылать десять рублей той, кто съ матерью останется. Иначе... иначе... дальше-то что же?

Ужасъ мелькнулъ въ зрачкѣ младшей. Она протянула руку съ растрескавшимися огрубѣлыми пальцами.

— Позвольте адресъ... Я подумаю...

— Ну, вотъ и отлично!—Софья Сергѣевна стала рваться въ

книгѣ и схватила бумажку со стола...—Я вамъ перепису сейчасъ... Вышній-Волочекъ.

Сестры угрюмо молчали, не глядя другъ на друга.

Когда Софья Сергѣевна отдала адресъ младшей, обѣ сестры кивнули головой ей и Варенькѣ, тоскливо глядѣвшей на нихъ, и, беззвучныя, какъ тѣни, двинулись въ своихъ рваныхъ лѣтнихъ калошахъ къ выходу.

— Господи! — облегченно воскликнула Варенька, когда онѣ исчезли.

Раскрывъ широко темныя глаза, Катя Волгина глядѣла вслѣдъ этимъ печальнымъ фигурамъ.

— Кто это?—сорвался у нея невольнo вопросъ.

И, точно Софья Сергѣевна ждала его, она быстро обернулась къ барышнѣ и заговорила взволнованно и рѣзко:

— Вотъ вамъ образчики того, съ чѣмъ тутъ ежедневно сталкиваться приходится! Кажется, нѣтъ подлѣе нашей должности! Пока то здѣсь зачерствѣешь, всѣ нервы вымотаютъ такія вотъ... несчастныя... Два года безъ работы въ Москвѣ околачиваются. Изъ провинціи пріѣхали. Подумайте, два года!... Прожили буквально все. Въ уголь перебрались... Дворяне, помѣщики бывшіе. А у нихъ мать, въ ревматизмахъ старуха. И отпустить ихъ отъ себя не рѣшалась до сихъ поръ... Одна дочь тоже болѣзненная. Порокъ сердца у нея... Ну, вотъ и бились... По всѣмъ конторамъ... въ газетахъ печатались...

— Еще бы! Гимназію обѣ кончили... Не хуже васъ, навѣрно, учились!

— Тогда почему же?

Софья Сергѣевна схватила книгу записей, и глаза ея сверкнули.

— А потому,—что этимъ уже нельзя жить, сударыня! Нельзя!—горячо крикнула она, перелистывая нервно книгу.—Глядите... Вотъ это записи на уроки и репетиторство... Глядите! Здѣсь до шестисотъ записей... А знаете, какой спросъ? Двадцать... двадцать—пять мѣстъ... только! Нѣтъ, до чего достигла конокуренція!... Дипломъ домашней учительницы уже не кормить... Даже на гувернантокъ спросъ сталъ меньше. Все въ отъѣздъ нужны. А въ столицѣ и безъ нихъ обходятся. Бѣднѣтъ, что ли, стали всѣ? Либо сами матери занялись воспитаніемъ, ужъ не знаю... Но фактъ на лицо... И вы думаете, что это у насъ только такое безобразіе? Деньги беремъ съ людей, а мѣстъ не даемъ? Нѣтъ-съ... Вы попросите обратись въ настоящія бесплатныя бюро... Есть такія благотворительныя учрежденія, которыя безкорыстно содѣйствуютъ жен-

скому труду... Такъ тамъ-то что дѣлается? Прежде чѣмъ толкнуться къ намъ, всѣ, конечно, туда бѣгутъ. И что же? За одинъ сентябрь мѣсяць, т. е. самое бойкое время сезона, тамъ въ этомъ году было около семисотъ записей въ двухъ бюро... Я сама справлялась... Это предложенія всякаго рода труда, больше всего уроковъ и конторскихъ занятій... А спросъ выразился въ такихъ цифрахъ... четырнадцать и девять... Чего-жъ вамъ послѣ этого нужно?

Она передохнула, переложивъ на конторкѣ тетради и съ краской, выступившей на смугломъ, желчномъ лицѣ, продолжала:

— Я на собственной шкурѣ испытала, что значитъ мѣста искать, когда у меня мужъ въ психиатрической клиникѣ очутился... А у меня на рукахъ двое ребятъ осталось... Всѣ почему-то въ столицу бѣгутъ... Думаютъ, здѣсь хлѣбъ дешевъ... Здѣсь безъ ремесла умрешь! Портниха, какая ни-на-есть, все-таки прокормиться можетъ, а наша образованная женщина, если у нея нѣтъ поддержки въ мужѣ или семьѣ,—гибнетъ... Да... прямо-таки гибнетъ. Потому что податься некуда уже дѣвушкамъ теперь!.. Некуда!..

Варенька, занимавшая кліентовъ, разсѣянно дѣлала свои записи и безпрестанно переспрашивала, прислушиваясь невольно ко всему, что говорила подруга... Такъ хотѣлось вставить и свое слово! Въдь тоже не мало было выстрадано въ погонѣ за хлѣбомъ насущнымъ!... Наконецъ, у нея выдалась минута перерыва. Контора опустѣла.

— А помните, Софья Сергѣевна, Золотилу? Гимназистка съ золотой медалью кончила... Тоже билась что-то больше года и поступила въ бонны. Продала медаль и жила на нее... А какъ плакала-то! Ей на курсы хотѣлось. Думала заработать... А Столыпина?

— Да... вотъ эта еще... Не лучше этихъ Малышевыхъ... Кончила тѣмъ, что въ общину сестрой милосердія поступила. Это съ дипломомъ-то домашней учительницы! Господи!... Тутъ послужишь, того насмотришься... А эту спросите (она указала на Вареньку), какъ она хлѣба искала... На горе еще у нея личико смазливое... Богъ ее наказаль...

— Будетъ вамъ!—крикнула Варенька, вспыхивая.

— Ей еще труднѣе. Всякій лодырь норовить опозорить. А жениховъ, все равно, нѣтъ... Многія ли удержатся?.. Устанешь голодать-то! Такое иной разъ возьметъ отчаяніе... Какой нравственный закалъ нуженъ, чтобы вынырнуть?

— Слава Богу! Уцѣлѣла!..—перебила Варенька.—Грѣшно Бога гнѣвить. Я теперь счастлива...

— Дѣйствительно, счастье!.. Обезпечили себя! — подхватила Софья Сергѣевна.—Тридцать рублей на всемъ своемъ. Даже завтракъ

съ собой приносимъ. Любая бонна получаетъ больше, коли все сосчитать... Одно хорошо, конечно: свобода... Да и куда дѣнешься съ дѣтьми-то, либо съ больной матерью? Ни въ одинъ домъ не возьмутъ. И на этомъ, конечно, спасибо... Уроками когда жила, помню, мнѣ все одинъ только сонъ снился... будто мнѣ отказали... либо пришла осень, а мѣсть нѣтъ. Каждую ночь, бывало, просыпаешься въ холодномъ поту... Даже и сейчасъ... Какъ это болѣзни сердца не нажила себѣ, удивляюсь!

— Вотъ еще нынче, либо завтра прибѣжить Коротнева,—заговорила Варенька.—Эта ищетъ руководѣлія, либо по хозяйству. Тоже несчастная... Развѣ можно въ Москвѣ жить руководѣлемъ? Развѣ много тутъ мѣсть экономокъ? Вѣдь это только богатые дома берутъ экономокъ... Или мѣста сидѣлокъ?.. Всѣ въ общины обращаются. Для компаньонкѣ какой туалетъ требуется! А ужъ про конторскія занятія, либо мѣста продавщицъ и говорить нечего! За шесть лѣтъ одно случается... А посмотрите на нихъ... Всѣ бѣгутъ, записываются, ждуть, надѣются... Пороги обиваютъ... Господи, Боже мой! Какъ имъ сказать, что запись наша—вранье?... (Она боязливо оглянулась на оклеенную дверь, за ея спиной). Какъ имъ объяснить, что всѣ бюро, всѣ правленія, всѣ желѣзныя дороги, управа, конторы частныя—переполнены служащими? И кандидатокъ сотни записаны... И надѣяться не на что... Въ одной только управѣ на мѣста городскихъ учительницъ полтора ста кандидатокъ прошенія подали... И я пять лѣтъ мѣста отъ управы ждала напрасно. Все на себѣ испытала, всѣ пороги обила... Ну какъ же намъ-то теперь не держаться за наши мѣста здѣсь обѣими руками? Времъ... обманываемъ публику... беремъ съ нихъ трудовые гроши... Мы должны поддерживать эту проклятую контору, которая насъ кормить...

Она замолчала, взволнованная, глотая слюну.

Софья Сергѣевна угрюмо подхватила:

— Вотъ передъ вами была барыня... Хозяйка ее послала къ нѣмцу, который, какъ она говорить... уроки русскаго языка желалъ брать... Вотъ она сейчасъ сюда приходила, кричала на всю контору... намъ въ лицо... что мы... мерзости дѣлаемъ... Ну, и проглотили... И не она одна... Всего наслушаешься... Мы-то, конечно, тутъ не причемъ... Мы свой хлѣбъ зарабатываемъ... И не знаемъ ни тѣхъ, кто приходитъ; ни тѣхъ, кто требуетъ женскаго труда... Это ужъ на нашей совѣсти не лежитъ... Ну, а все-таки, знаете? Нелегко намъ...

Запертая справа дверь отворилась. Это была, очевидно, гостиная. Виденъ былъ уголь ковра, красная шелковая мебель, бронза. На порогѣ стояла хозяйка въ черномъ шелковомъ дорогомъ платьѣ, художественно причесанная, съ размалеваннымъ лицомъ хорошо со-

хранившейся и дорогой кокоетки, съ наглымъ и умнымъ взглядомъ большихъ черныхъ глазъ. Она курила ароматную папироску и вызывающе щурилась на Катю Волгину. Это былъ особый взглядъ оцѣнщика, присущій извѣстному типу женщинъ-аферистокъ, которыя изъ всего спѣшатъ извлечь свою выгоду.

Обѣ конторщицы мгновенно смолкли и, низко наклонивъ головы, закрипѣли перьями по бумагѣ.

Катя Волгина встала и, отдавъ короткій полупоклонъ хозяйкѣ конторы, опустила вуалетку на лицо. Ей казалось, что ее били долго и жестоко: такъ ныли всѣ ея нервы.

— Какъ же прикажете васъ записать?—официально подхватила Софья Сергѣевна, подымая нахмуренное, полудиспуганное, полусмущенное лицо.

— Благодарю васъ... Не надо... Я... Я... передумала.

Софья Сергѣевна поблѣднѣла. Засвистѣли шелковые юбки, и хозяйка уже стояла у конторки.

— *Que desire mademoiselle...*—Она грассировала какъ парижанка.

Прежде чѣмъ Катя раскрыла ротъ, Софья Сергѣевна доложила хозяйкѣ, въ чемъ дѣло.

— *Ah! Quant à cela... Mademoiselle... Ayez la bonté de me suivre... Je suis toute à vous...*

Катя Волгина очутилась въ красной гостиной.

— Выдастъ?—шепнула испуганно Софья Сергѣевна, глядя на Вареньку. Та молча и неопредѣленно покачала головой.

А въ гостиной m-me Петрова, дотрагиваясь бѣглыми и фамильярными жестами до руки Кати, рассыпалась въ привычныхъ любезностяхъ и привычной лжи, по старой памяти ища обворожить хотя бы безцѣльно и, если возможно, выжать всѣ соки изъ этого закомства. Она какъ-то удивительно кстати сумѣла рассказать о своемъ аристократическомъ происхожденіи, о мезальянсѣ... (Бракъ по страсти... ошибки молодости... теперь вдовѣю пятый годъ...) О блестящемъ положеніи конторы, которая пользуется (и недаромъ) довѣріемъ интеллигенціи... О своемъ огромномъ, незаложенномъ имѣніи гдѣ-то подъ Симбирскомъ, о своихъ связяхъ въ бомондѣ... Безъ связей нельзя вести такое большое, отвѣтственное и культурное дѣло... Да, культурное... Она идетъ навстрѣчу трудящейся женщинѣ... Сколько изъ нихъ она дала заработокъ!... Когда-нибудь это оцѣнять...

Мастерски она выспросила у растерявшейся Кати объ ея общественномъ и семейномъ положеніи... Пришла въ восторгъ, вспомнивъ, что ея дядя-сенаторъ такой-то—былъ помолвленъ съ одной изъ Волгиныхъ. Бракъ не состоялся. Но это все равно!... У нихъ старинныя связи. И, кажется, Волгины приходятся двоюродными

князьямъ Гагаринымъ?.. Вѣдь ея мать урожденная Гагарина... Не родня, нѣтъ?... Но это все равно!... Она видѣла m-me Волгину въ ея юности... когда сама была ребенкомъ... «Мнѣ уже тридцать пять лѣтъ!.. Увы!» вздохнула она.

Въ конторѣ служащіе переглянулись, и Варенька прыснула со смѣху. Софья Сергѣевна погрозила ей, и опять обѣ стали прислушиваться.

— И къ чему ей эта барышня понадобилась?—шепнула Варенька.—Вотъ актриса!

— По привычкѣ... Вся жизнь ея реклама... Оттого и процвѣтаетъ.

А m-me Петрова обѣщала въ эту минуту растерявшейся Катѣ Волгиной самые выгодные уроки...—«Въ аристократическій домъ («Je vous dirai l'adresse après»...) требуется учительница. Два часа въ день, ежедневно... Vingt roubles, французскій, нѣмецкій, англійскій... théorie et pratique.... Вы, конечно, англійскій знаете?

— Нѣтъ...

— Ah! C'est dommage!... Mais tout de même... Поѣзжайте... справьтесь... Barbel!... Donnez-moi l'adresse... de... madame... madame... chose... Ah! Point de mémoire... (Варенька, дайте адресъ госпожи... госпожи... какъ ее?.. Ахъ! забыла...)

Конторщицы опять переглянулись съ усмѣшкой... Имъ было прямо-таки весело отъ этой комедіи.

Въ конторѣ было уже совсѣмъ темно. Пробыло четыре часа Со вздохомъ облегченія служащіе собирали тетрадки и запирали ихъ въ ящики.

Пробѣжалъ лакей въ ситцевомъ фартукѣ и спѣшно зажегъ лампы. Madame ждала кого-то по «своимъ» дѣламъ, волновалась и безпрестанно взглядывала на часы.

— Ключъ, Ольга Николаевна,—робко сказала Софья Сергѣевна, входя въ гостиную съ полупоклонами по адресу хозяйки и посѣтительницы, и подала ключъ отъ выручки.

— Et l'adresse de madame!... madame... chose? Ma chérie, vous viendrez encore?... (Адресъ госпожи... госпожи... какъ ее? Милочка вы зайдете еще?) Мы тогда найдемъ адресъ. Ахъ! Вы уже уходите?... Я сама... Хотите, я сама заѣду, сообщу вамъ адресъ?... Софья Сергѣевна, вы записали mademoiselle?..

Лицо Кати нервно передернулось.

— Oh, madame... Прошу васъ... Не трудитесь заѣзжать!... Я... мнѣ... я... ничего не говорила дома... Мои родные... противъ того, чтобы я... давала уроки,—съ страдальческимъ выраженіемъ dokonчила Катя.

Madame, высоко поднявъ брови, глядѣла съ мгновеніе на барышню, соображая, какую выгоду она можетъ извлечь изъ даннаго случая?

— Но... вы понимаете?... Мнѣ трудно обязываться роднымъ... Я—уже... не маленькая... Мнѣ скоро тридцать лѣтъ... И только потому я рѣшилась... я хотѣла,—говорила Катя прерывисто, обращаясь къ Софѣ Сергѣевнѣ, которая почтительно замерла у порога, не смѣя двинуться въ ожиданіи какихъ-либо приказаній,—словно желая оправдаться въ глазахъ именно этой бѣдной труженицы.

— О, да! Дитя мое!... Конечно... самостоятельность... Святыя грезы юности!.. До свиданья! Загляните... Во мнѣ вы всегда встрѣтите самую горячую піонерку женскаго вопроса... Eh bien, Barbe?—другимъ уже тономъ крикнула она на замѣшкавшуюся дѣвушку, которая звенѣла ключами у конторки.

По разсѣянному тону, противорѣчившему возвышенному смыслу рѣчей madame, видно было, что она чѣмъ-то крайне озабочена, и что посторонніе ей мѣшаютъ.

— Мы выйдемъ вмѣстѣ,—шепнула Катя Софѣ Сергѣевнѣ.

Подъ окнами мелькнулъ свѣтъ. Глухо прогрехотала карета, и тотчасъ раздался звонокъ.

— Алексѣй!—не своимъ голосомъ закричала madame.—Алексѣй! Звонятъ...

— Сею минутою... фракъ одѣваю,—донесся отчаянный голосъ. И по коридору промчался лакей, на бѣгу одергивая фалды.

Испуганныя дѣвушки обѣ, какъ овцы, вмѣстѣ съ Софьей Сергѣевной, ринулись на подъѣздъ, опережая лакея. На крыльцѣ онѣ столкнулись съ сѣдымъ полнымъ бариномъ, котораго подъ локоть поддерживалъ выѣздной въ ливреѣ.

Неожиданно увидавъ молодыя дѣвичьи лица, баринъ замеръ на ступенькѣ, крякнулъ. И плотоядная улыбка раздвинула его губы...

Амфитеатровъ, А.

ДРУЖОКЪ ПРИМАДОННЫ.

(На чужую тему).

Когда она появлялась въ театрѣ, въ сопровожденіи своего маленькаго пріятели, ея товарищи по сценѣ весело кричали:

— А вотъ и Кармень со своимъ рыцаремъ!

Мальчикъ улыбался всѣмъ своимъ розовымъ личикомъ изъ-подъ шапки бѣлокурыхъ волосъ. Улыбался и радостно глядѣлъ на свою большую даму, довольный, что ихъ привѣтствуютъ и надъ ними шутятъ. Она, отвѣтно, взглянувъ на него, ерошила ему кудри своей маленькой ручкой и покровительственно прижимала его къ себѣ. И ласково звучалъ нѣжный голосъ:

— Это первый и единственный мужчина, который мнѣ вѣренъ. Вѣренъ, потому что безкорыстенъ.

— А что, онъ никогда не объяснялся вамъ въ любви?—спрашивалъ баритонъ, высокій малый съ квадратными плечами и необыкновенно круглой головою.

— О, нѣтъ, онъ слишкомъ уменъ для такихъ глупостей!—отрѣзывала Кармень: внѣ сцены этотъ парень совсѣмъ не былъ для нея Эскамильо.

Каждый вечеръ, неотступно, едва она входила въ театръ, на встрѣчу ей выбѣгалъ импрессарио, бѣлокуренькій, подслѣповатый человекъ, въ золотыхъ очкахъ. Онъ взялся за оперную антрепризу гораздо болѣе изъ любви къ артисткамъ, чѣмъ къ искусству, и тратилъ понапрасну свое время и деньги то въ Моденѣ, то въ Брешии, то въ Ливорно, то на «Кармень», то на «Манонъ», то на «Аиду». Зрѣніе у него было скверное, но нюхъ удивительный: онъ бралъ чутьемъ, издали угадывая женскую красоту. Аккуратно каждый сезонъ влюблялся онъ въ свою примадонну, а, въ случаѣ отпора, переводилъ ее, коварную, на вторыя партіи: на! страдай! не хотѣла быть Кармень, покричишь и Фраскитой! Но, покуда шли репетиціи, въ періодъ, такъ сказать, пробный, примадонна могла извлечь изъ его ухаживанья всевозможныя выгоды. Въ сущности, и не такъ ужъ

это было неприятно. Онъ былъ еще ничего себѣ, а полезныхъ любезностей могъ оказать много: лишняя лампочка въ уборной; въ дни спектаклей—портниха предоставляется въ полное твое распоряженіе; если арія высока, не по голосу, позволить транспонировать на полтона; нужна лишняя репетиція—назначить; не нравится *mis en scène*,—заставить режиссера передѣлать и т. д.

Итакъ, какъ только появлялась за кулисами г-жа Занто,—ея настоящее имя было Брузароско, но это звучало бы слишкомъ мѣщански по афишѣ,—немедленно и импрессарио выскакивалъ изъ своей камерины, улыбающійся, привѣтливый, съ протянутыми руками.

— Вотъ и наша душка—примадонна! Ну, какъ живете-можете, голубка? Мы ожидаемъ васъ уже минутъ двадцать, но это сушіе пустяки. Если вамъ, драгоценная, неудобно, то одно ваше слово, — я и совсѣмъ отмѣню репетицію. Но какой очаровательный туалетъ, милуша! Какъ дивно онъ обрисовываетъ фигуру и... шикъ, право, радость моя! Этакое, знаете, мамочка, округленіе...

— Ради Бога!—умоляетъ примадонна.—Пошелъ уже вратъ...

— Такая досада ей Богу, что для этой проклятой «Карменъ» нельзя одѣться прилично. Ну, будемъ надѣяться, роднуша, что, за то, костюмъ будетъ съ прорѣхами, съ большущими прорѣхами, голуба такъ чтобы все, знаете, просвѣчивало и видно было живое тѣльце...

Ну, да, дожидайтесь, чтобы схватить насморкъ?

— Боже сохрани! Вы насъ зарѣжете, милуша!—воскликнул импрессарио и быстро шепталъ:—Сухо дерево! завтра пятница!... А затѣмъ обращался къ маленькому рыцарю.—А, кавалеръ! Знаете, очаровательница, я перестану пускать его за кулисы. Онъ начинаетъ васъ компрометировать, да и намъ, небесная, завидно смотрѣть на этого карапуза, съ которымъ вы, предель наша, цѣлый день не разстаетесь.

— Слышишь, Лючано, они меня къ тебѣ ревнуютъ!

Лючано слушалъ, улыбаясь. Разъ какъ-то импрессарио положилъ ему на голову руку, подъ видомъ ласки, но на самомъ дѣлѣ,—Лючано отлично это почувствовалъ,—его рука искала узкую ручку примадонны. Лючано рѣзко отодвинулся, оскорбленный, и строго посмотрѣлъ на импрессарио. Затѣмъ онъ перевелъ грустные глаза на нее, какъ бы спрашивая, зачѣмъ это. Онъ былъ такъ очарователенъ въ эту минуту, что Чечилія наклонилась и поцѣловала его въ губы. Мальчика такъ неожиданно охватило ароматною волною ея духовъ, прикосновенія ея волосъ и поцѣлуя, что онъ, очарованный и испуганный, отстранилъ ее руками, глядя на нее широко раскрытыми, изумленными глазами.

— Проклятыя женщины,—проворчалъ импрессаріо,—вѣчно онѣ доставляютъ удовольствіе тѣмъ, кто въ этомъ дѣлѣ не смыслить ни уха, ни рыла, и нужно имъ это, какъ собакѣ пятая нога!

И приказалъ начинать репетицію.

Лючано сейчасъ же отправился въ ложу, откуда онъ обыкновенно слушалъ репетиціи. Туда же приходила, въ промежуткахъ своей партіи, примадонна. Ему безконечно нравилось слѣдить за спектаклемъ изъ темной ложи, сквозь сумракъ театра. Сцена освѣщалась лишь софитомъ и была едва намѣчена, для *mise en scéne*, скамейками, лѣстничками. Подъ нею, во мракѣ, виднѣлось множество, покрытыхъ колпачками, лампочекъ, разливавшихъ сосредоточенный свѣтъ свой только на ноты, и лишь случайно освѣщая то брюхо контробаса, то гибкую шею волторны, то живой смычекъ, то трепещущіе пальцы скрипачей. Казалось, будто всѣ музыканты безъ головъ. Посреди ихъ чернѣла на возвышеніи тѣнью въ сумеркахъ, смутная фигура дирижера, съ бѣлымъ платкомъ вокругъ шеи, съ распростертыми руками, движущимися то быстро, то медленно.

— *Piano, piano!* Англійскій рожокъ, чего зѣваете? Возьмите глаза въ зубы! Вниманіе! Р-разъ! Сильно!... Флейта! Врете!... *Diminuendo!*... Виолончели! не зѣвать!... Синьоръ Педротти, у васъ въ рукахъ смычекъ, а не кнутъ,—не забывайте же этого, сдѣлайте мнѣ милость!... Тра-ра-ра-ра-ри-ра-бумъ-бумъ-бумъ-бумъ... Такъ! теперь Фіорини принялъ свой контробасъ за чемоданъ, а себя за факкино... Гдѣ ваши уши? Діэзъ! діэзъ! Соль діэзъ!... Молодцы, нечего сказать! да гдѣ мы—въ Абиссиніи или въ приличномъ театрѣ? Эдакое свинство! Сначала!... Простите меня, синьоры, но это ни къ чорту не годится! Я слишкомъ уважаю васъ и не въ моихъ правилахъ ругаться, какъ язычнику, но, если бы на моемъ мѣстѣ былъ человѣкъ менѣе благовоспитанный, онъ сказалъ бы, что вы, синьоры, играете, какъ сардинскіе ослы!

Иногда Чечилія выглядывала со сцены фигурку своего маленькаго пріятели и улыбалась ему, а онъ кивалъ ей головою. Онъ всякій вечеръ сопровождалъ ее въ театръ, слушалъ репетицію и возвращался съ нею домой на извозчикѣ. Папа и мама позволяли ему это, чтобы угодить примадоннѣ. Она не желала ѣздить одна, такъ какъ въ Италіи вечерній выходъ одинокой дамы, вообще, неприличенъ и, въ большихъ городахъ, мужчины принимаютъ его за вызовъ къ приключенію,—ни, того менѣе, въ сопровожденіи какого-либо товарища по сценѣ, потому что съ этими-то праздными ребятами ужъ навѣрное пошли бы приключенія. Мальчикъ былъ въ восторгѣ. Молодая женщина сразу произвела на него огромное впечатлѣніе, едва только появилась въ домѣ, когда искала квартиру и

сняла у его родителей комнату. Родители Лючано не дѣлали промысла изъ сдачи комнатъ, но разъ имѣлась лишняя, почему было не сдавать ее порядочнымъ людямъ. Г-жа Занто сразу же показала себя порядочной особой и была принята въ семью. Она заполнила весь коридоръ сундуками и ящиками, а туалетъ флаконами, щеточками, ящичками. Когда Лючано вошелъ къ ней впервые, по ея зову, его обдало ароматною волною, и онъ вдохнулъ глубоко, съ наслажденіемъ. Примадонна полулежала на складномъ стулѣ противъ окна, полного фіолетовымъ отсвѣтомъ умирающаго апрѣльского дня. На ней былъ легкій шелковый халатикъ съ темными отворотами, отгнѣявшими розовую шейку. Изъ-подъ широкихъ и короткихъ рукавовъ виднѣлись нѣжныя прекрасныя руки. Маленькія ножки шаловливо сбрасывали и снова подхватывали крошечныя туфельки.

— Малышъ, хочешь побыть со мной?

— Ну, еще бы!

Онъ взялъ себѣ стулъ и сѣлъ подлѣ нея, слегка смущенный. Она уставилась на него своими черными глазами, казалось, горѣвшими на нѣжномъ, бѣломъ личикѣ, подъ короною черныхъ, какъ смоль, волосъ. Ей нравился этотъ розовый, бѣлокурый, еще по-дѣтски причесанный мальчуганъ.

— Какъ тебя зовутъ?

— Лючано.

— А сколько тебѣ лѣтъ?

— Двѣнадцать.

— Ты еще совсѣмъ маленькій.

— Ничего, подросту.

— А въ какомъ ты классѣ?

— Въ третьемъ.

— О, такъ ты, стало быть, и латынь знаешь?

— Очень неважно.

— Это не хорошо, что неважно.

— Ничего, зато учитель ее хорошо знаетъ.

— Такъ что же?

— Да двое ученыхъ въ одной школѣ,—уже это, знаете, роскошь.

— Лючано, ты, кажется, собираешься острить,—для двѣнадцати лѣтъ это просто неприлично.

— Да, папа всегда находитъ, что я говорю глупости. Но вѣдь съ папы что взять? Капитанъ изъ комиссаріата!

Наивный и комическій задоръ малыша понравился Чечилии. Она засыпала его вопросами, любопытствуя разъяснить себѣ складъ этой, едва формирующейся, души. Лючано отвѣчалъ весело и откровенно, обнаруживая глубокое отвращеніе къ скучной гимназической наукѣ,

но огромное желаніе узнать ту прекрасную, таинственную сложность, о которой онъ подозрѣвалъ или читалъ украдкой въ газетахъ, и которая называется жизнью: театръ, репетиціи, быть большихъ городовъ, такъ не похожій на старомодный и спокойный бытъ ихъ маленькаго городка съ второстепеннымъ университетомъ.

Съ того дня, Лючано зачастилъ сидѣть съ Чечиліей, сопровождалъ ее на прогулку, на репетиціи. Онъ сіялъ блаженствомъ. Утромъ, передъ гимназіей, онъ подсовывалъ ей подъ дверь—тихо-тихо, чтобы не разбудить—записочку. «Здравствуйте!», «Хорошо-ли почивали?», «Привѣтъ отъ вашего Лючано». Однажды онъ принесъ ей, угадавъ, что доставитъ этимъ удовольствіе, пучокъ темныхъ-темныхъ фіалокъ. Она радостно схватила ихъ обѣими руками и погрузила въ нихъ лицо съ закрытыми глазами, жадно впивая чудный ароматъ. Затѣмъ распахнула двери балкона, чтобы впустить весну, и стояла, широко дыша, полная жаждою весенней ласки. Повернувшись, увидѣла Лючано, стоявшаго молча посреди комнаты и смотрѣвшаго на нее. Она сѣла, подозвала его, усадила къ себѣ на колѣни и, сжимая его голову холодными ручками, говорила безсвязныя слова, обволакивая ихъ ласкою нѣжнаго своего голоса, сладко содрогаясь отъ свѣжаго апрѣльского вѣтерка.

— Какія чудныя фіалки, какой ароматъ... Какой радостный апрѣль! Тебѣ хорошо, мой мальчикъ? Посмотри, какое голубое небо тамъ, на вышинѣ! Совсѣмъ, какъ твои глаза, твои прекрасные глаза... Скажи, ты меня любишь? Любишь свою старую подружку? А я тебя люблю, очень люблю, малышь мой. Мнѣ хочется поцѣловать твои губки... Ну, поди себѣ!

Неожиданно встала и отослала его прочь.

* * *

На слѣдующій день состоялась генеральная репетиція—съ приглашенными. Нѣсколько дамъ тамъ и сямъ въ ложахъ и креслахъ, да человѣкъ пятьдесятъ мужчинъ; счастливецъ, вотъ уже съ мѣсяць клянчившихъ позволенія присутствовать на репетиціи, чтобы потомъ, въ кафе, среди предобѣденной болтовни и сигарнаго дыма, небрежно бросить пріятелямъ: «Да, а вотъ меня вчера затащили, знаете, на генеральную репетицію. Представьте: ничего себѣ, очень прилично».

Кончился первый актъ. Лючано помчался въ уборную примадонны, оставивъ въ ложѣ папу и маму. Постучался, услышалъ мелодичный голосъ: «Кто тамъ?» и вмѣсто отвѣта, вошелъ. Вошелъ и остановился. Чечилія укрѣпляла въ волосахъ гвоздику, отражаясь въ зеркалѣ своимъ прелестнымъ личикомъ, обнаженными руками и

грудью, а подлѣ нея сидѣлъ, улыбаясь и болтая, молодой человѣкъ. Увидѣвъ мальчугана, она его радостно привѣтствовала, а затѣмъ, съ комической серьезностью, представила «мужчинъ» другъ другу.

— Мой рыцарь, Лючано Даллери, Докторъ Санджорджи.

Мальчикъ съ достоинствомъ протянулъ руку, докторъ почти-тельно раскланялся и замѣтилъ:

— Ай-ай! даже и младенцевъ не щадите,—это ужъ Богъ знаетъ что!

Затѣмъ продолжалъ прерванный разговоръ:

— Ну-съ, такъ съ очаровательнымъ импрессарио мы покончили. Сокровище номеръ второй: теноръ. Имѣетъ два недостатка, но пріятнѣйшіе: детонируетъ и всѣ «а» произноситъ, какъ «э». Помните? «О, мэтъ! О, мэтъ!»

— Вы послушайте,—смѣялась примадонна,— что будетъ въ четвертомъ актѣ: «Кэрмень, я тебѣ эбэжю»... Въ первый разъ мною овладѣлъ безумный хохотъ, я поскорѣй отвернулась. «Ужэснэя» вещь, увѣряю васъ.

— Прелестъ—номеръ третій: текстъ. Переводъ изумительный: бездна вкуса, смысла и изящества. Можно подумать, что поютъ на средневѣковой латыни или на румынскомъ языкѣ. Номеръ четвертый: дирижеръ. Вы замѣтили, что онъ головой такъ отбиваетъ и все время поетъ про себя, разѣвая ротъ, какъ акула? Однажды этому пьмонсткому медвѣдю случилось сдѣлать замѣчаніе синьору Карузо, а тотъ либо не дослышалъ, либо былъ въ тотъ день настолько въ кроткомъ духѣ, что не пустилъ въ него стуломъ. Съ тѣхъ поръ — кончено! Пропалъ нашъ маэстро. Вообразилъ себя гениемъ, котораго слушается самъ Карузо, и презираетъ насъ, обыкновенныхъ смертныхъ, какъ земляныхъ червей. Если онъ скажетъ музыканту слово безъ ругательства, то считаетъ себя униженнымъ въ своемъ достоинствѣ. Когда здѣсь пѣла «Джіоконду» Эдженія Бурціо, они были восхитительны—примадонна и маэстро—потому что сказали другъ другу рѣшительно всѣ сильныя слова, какія можно слышать на рынкахъ Турина и Флоренціи.

Примадонна хохотала. Лючано оставался невозмутимъ и серьезенъ, недружелюбно поглядывая на непрошеннаго гостя. Этотъ докторъ его злилъ, онъ его... И что ему тутъ надо? Докторъ? Очень пріятно, да вѣдь никто не боленъ. И когда это она съ нимъ познакомилась? Вѣдь она цѣлыми днями сидѣла дома, и если выходила, то всегда въ сопровожденіи его, своего маленькаго кавалера? И зачѣмъ это она его принимаетъ въ уборной? И ничего въ немъ нѣтъ хорошаго. Правда, некрасивымъ его назвать нельзя, но и симпатичнымъ тоже. Вотъ, именно, онъ крайне несимпатиченъ. Ну, чего

гочетъ? И обо всѣхъ такъ скверно говорить. А ей нравится,— смѣется. Очевидно, не понимаетъ, что онъ злой. Если бы я говорилъ такія злыя слова, меня наказали бы. У Лючано явилась идея: уйти, чтобы она его вернула. И точно, какъ только онъ откланялся, Чечилія обернулась:

— Такъ скоро? О, гадкій какой!

— Я съ мамой—отвѣтилъ Лючано серьезно и ушелъ. Назадъ его не позвали.

Возвращаясь домой на извозчикѣ, Чечилія была очень нѣжна со своимъ маленькимъ пріелемъ. На завтра, на первомъ представленіи, она имѣла огромный успѣхъ: носъ импрессаріо вспотѣлъ отъ восторга и блисталъ, какъ золото его очковъ. Всѣ были довольны, и даже Лючано: зайдя въ уборную, онъ не нашелъ тамъ больше доктора,—это доставило ему безотчетное удовольствіе. Но черезъ день Чечилія сказала матери Лючано:

— Меня просто мучаетъ совѣсть, что я держу малыша въ театрѣ до полуночи? И я боюсь, кромѣ того, что это отразится на его ученіи. Я попрошу разсыльнаго провожать меня. Да и потомъ, на извозчикѣ, такъ близко...

Лючано подчинился этому очень неохотно. Но онъ вознаградила себя тѣмъ, что больше разговаривалъ съ Чечиліей днемъ. Онъ еще не разъ приносилъ ей фіалки. Но теперь, время отъ времени, Чечилія исчезала изъ дому одна.

— Нѣтъ, милый, ты соскучишься: я иду на почту, а потомъ буду выбирать шляпу.

Но, странно, новыхъ шляпъ въ домѣ не появлялось, а вотъ старая шляпа на ней, когда она возвращалась, что то не совсѣмъ прямо сидѣла на смятой и спутанной прическѣ. Однажды Чечилія была особенно въ духѣ. Стояла чудная погода, солнце сіяло, воздухъ былъ чистъ и прозраченъ. Чечилія распахнула двери балкона и пѣла, пѣла безъ конца. Когда вошелъ Лючано, она подбѣжала къ столику, захватила изъ большой коробки полныя пригоршни конфектъ и высыпала ему въ ладони.

— Спасибо, спасибо! Зачѣмъ?

— Не выдумывай! у меня ихъ масса. И столько же будетъ всякій вечеръ. У меня въ театрѣ завелась добрая фея.

Лючано пробылъ съ нею недолго. Когда онъ ушелъ, Чечилія увидѣла, что онъ позабылъ взять конфекты. Она позвала его, но онъ исчезъ.

Короткій театральнй сезонъ быстро приближался къ концу. Съ нѣкоторыхъ поръ Лючано снова сопровождалъ примадонну въ театръ и обратно. Докторъ не показывался, не видно было и кон-

фектъ, мальчуганъ былъ совершенно счастливъ. Во время спектакля онъ теперь болтался за кулисами, среди табачницъ, контрабандистовъ, торреадоровъ и пожарныхъ. Всѣ его знали и называли не иначе, какъ «дружокъ примадонны», и Микаэла улыбалась ему, а донъ-Хозе, шутя, щипалъ его за ухо и кричалъ: «Эхъ, ты, мѣленькій сэперникъ!...»

Однажды во время сцены Кармень и дон-Хозе Люгано нечаянно услышалъ разговоръ импрессаріо съ нѣкимъ сѣдымъ господиномъ, изъ театраловъ, замѣчательнымъ тѣмъ, что у него вѣчно торчала изо рта зубочистка.

— Ну, какъ же ваши дѣла съ госпожей Кармень?

— А, подите вы,—отвѣчалъ импрессаріо, шуря свои близорукіе глаза.—Санджорджи у меня ее свистнулъ!

— Но онъ же никогда не бываетъ въ театрѣ?

— Потому что видится въ другомъ мѣстѣ.

Лючано убѣждалъ и весь вечеръ едва отвѣчалъ на вопросы Чечилии. На слѣдующій день, едва поздоровавшись, спросилъ:

— Какъ звали этого высокаго, чернаго господина, котораго я видѣлъ у васъ въ уборной на генеральной?

— А...—изумилась Чечилия,—докторъ Санджорджи, а въ чемъ дѣло?

— Докторъ? Это неправда, онъ вовсе не докторъ. Онъ долженъ былъ кончить въ прошломъ году, но его фукнули, вотъ что!

— Да, это правда, онъ провалился. Откуда ты знаешь?

— Знакомый медикъ сказалъ.

Чечилия посмотрѣла на него съ любопытствомъ, точно желая спросить о чемъ то, но потомъ только разсмѣялась.

— Ну, и чудачекъ же ты! Но я тебя люблю за это. Ты меня проводишь завтра на вокзалъ?

— Кто знаетъ, какіе тамъ у васъ провожатые будутъ, — осмѣлился Лючано.

— Да, вотъ—ты первый, если удостоишь.

На завтра утромъ, въ часъ отъѣзда, Лючано въ домѣ не оказалось, между тѣмъ школы въ этотъ день не было. Служанка сказала, что онъ ушелъ очень рано, потомъ вернулся, потомъ опять ушелъ, неизвѣстно куда.

— Что такое?—думала Чечилия,—хотѣлъ вѣдь провожать?

Но, когда она появилась на станціи, мальчуганъ оказался уже тутъ, и какъ будто искалъ кого-то, озираясь по сторонамъ. Но около примадонны не было никого, кромѣ носильщика съ чемоданомъ и картонками: ужъ не знаменитыя-ли шляпы?

— Вотъ ты гдѣ,—воскликнула она радостно.—Куда же ты

исчезъ? И не поздоровался со мной? Развѣ ты меня больше не любишь?

Я? Люблю.

— Ну, такъ въ чемъ же дѣло? Будешь мнѣ писать?

— А вы этого хотите?

— Очень.

— А вы мнѣ напишете?

— Да, и пришлю тебѣ конфектъ.

— Спасибо, конфектъ не надо.

Шумно подкатилъ поѣздъ. Чечилія озиралась вокругъ съ безпокойствомъ смущеннаго ожиданія, но надо было садиться.

— Ну, давай поцѣлуемся. Прощай, малышъ, не забывай меня..

Растерянный, онъ поцѣловаль ее и остался стоять передъ окошкомъ вагона, изъ котораго она ему кивала. Ему хотѣлось плакать. И Чечилія была тоже грустна, озабочена и смотрѣла на него такими жалкими глазами, что онъ принужденъ былъ стиснуть зубы, чтобы не разрыдаться.

— А, маленькій мой Лючано, если-бы ты зналъ, какъ мнѣ не хочется уѣзжать!

Лючано встрепенулся. Такъ, значить, и ей тяжело расставаться съ нимъ, и она страдаетъ такъ же, какъ и онъ? Вдругъ она, какъ бы вспомнивъ, что то, опустила руку въ сумочку и, доставъ оттуда письмо, протянула его Лючано.

Совсѣмъ забыла! Можешь мнѣ оказать услугу? Опуститъ, пожалуйста, въ ящикъ! Прощай, спасибо, пиши! Вспоминай меня и не забывай, что я тебя люблю!

Поѣздъ двинулся, она все кивала ему изъ окна.. Когда поѣздъ скрылся въ тоннелъ, мальчикъ, сквозь катившія слезы, взглянулъ на письмо. Оно было адресовано доктору Санджорджи.

Немировичъ-Данченко, В.

СОБАКА — НЕ ЧЕЛОВѢКЪ.

— Хочешь непременно знать? Такъ я тебѣ скажу: мнѣ съ тобою душно. Понимаешь, дышать нечѣмъ. Точно мнѣ ротъ подушкой накрыли, и сбросить ее не могу... Мнѣ въ тобѣ все, все противно... Только не думай, я ни въ чемъ тебя не виню. Ты переродиться не можешь. По-своему, разумѣется, ты правъ. Ты все, все дѣлаешь, что нужно... А вѣдь душа чаще всего живетъ тѣмъ, «что не нужно»... Я не умѣю объяснить, какъ это. Что,—я понимаю, чувствую,—да, а рассказать не могу... Ты чуть не съ улицы подобралъ дѣвченку.. Какъ это говорятъ: одѣлъ-обулъ. Квартиру мнѣ нанялъ. Ишь, мебель какая,—отродясь не видала такой. Мать-то учительница была,—на сорокъ рублей въ мѣсяцъ ничего такого не заведешь... Я тебѣ покаюсь: въ первые дни я и садилась-то на краешки дивановъ. Боялась: испорчу. И картины. До сихъ поръ я понятіе-то о живописи имѣла по рисункамъ изъ «Нивы»... Мнѣ тебя не въ чемъ упрекнуть. Одно мое платье больше стоитъ, чѣмъ полугодовой заработокъ маминъ. Нашилъ ты мнѣ, опуталъ со всѣмхъ сторонъ шолкомъ, кружевами... Я какъ въ паутинѣ бьюсь въ нихъ. Цѣлый день рви, и еще останется. Ты и свѣтъ мнѣ заслонилъ. Ишь, бархаты какіе висятъ на окнахъ. Золотые шнуры... А меня удавиться на нихъ тянетъ... Спать хорошо, тутъ все мягко, тепло, нѣжно... А жить?.. Другая, можетъ быть, вотъ какъ счастлива была бы. Чего еще: только подушаешь о чемъ, а оно гдѣ-нибудь въ уголкѣ лежитъ. Тутъ и желанія всѣ окутаны. Некуда имъ вырваться... Лѣнь мечтать даже.. Ты знаешь, я, бывало, цѣлыми днями о горячихъ сосискахъ въ колбасной—по пятаку пара думаю... Да и во снѣ ихъ видѣла. А сейчасъ и ѣсть не хочется. Чего только не перепробовала съ тобою.. Прежде мнѣ кухмистерская недосыгаемымъ раемъ казалась. А сейчасъ какихъ у «Яра» разносоловъ намъ ни подавай,—только ность морщишь, да вилкой ихъ ковыряешь... Душно мнѣ, душно... Помнишь, ты на меня посмотрѣлъ, какъ на сумасшедшую, когда я въ зоологическомъ саду: «здравствуй, сестра!»—пантерѣ крикнула? Неужели ты и до сихъ поръ не понялъ? Вѣдь, я, какъ и она, по клѣткѣ

мечусь. Вскинешься въ одну сторону,—рѣшетка, бросишься въ другую,—о тѣ же желѣзныя прутья голову себѣ расшибешь... Зубами ихъ—зубы обломашь. И ей тоже все противно. Черезъ наши головы на что-то ей неясное смотреть, жмурится и тяжело дышитъ. А около этакій кусище мяса сырого. Паръ отъ него идетъ. На волѣ бы она его такъ схамкала,—только бы съ морды потомъ, урча, кровь слизывала... А въ клѣткѣ ей постыло все, тошно... Только звѣря развратить нельзя. Отодвинь ему дверцу, только бы его и видѣли... Стрѣлой вынесся бы на просторъ... А меня клѣтка держать... Даже не клѣтка, а паутина. Она податливая, куда ни кинешься, уступить,—какъ будто вмѣстѣ съ тобой движется, а выхода нѣтъ...

— Ты бы ужъ и меня съ паукомъ сравнила.

— Нѣтъ, нѣтъ... Ради Бога...

Она страстно схватила его руки. По ея пальцамъ онъ чувствовалъ, какъ она дрожить вся. Вдругъ опустила голову и поцѣловала ему ладонь, оставивъ на ней влажный слѣдъ своихъ слезъ.

— Нѣтъ, нѣтъ... Не думай. Я знаю, что ты все, все для меня готовъ. Если бы понадобилось,—далъ бы кровь свою выпить... Нѣтъ, не ты паукъ... А я, я, дрянная, скверная... Сама себѣ не даю отчета,—почему, а только не стою я, не стою. Неблагодарная. Другая бы слѣдъ твой цѣловала... А я вчера, когда ты отвернулся, хотѣла ударить тебя, едва сдержалась. Хорошо бы вышло. Воображаю твоихъ—глаза вытарацили бы. Въ самомъ дѣлѣ,—привезъ ей брильянтовую нитку на шею, а именинница побѣлѣла, и глаза у нея злымъ огонькомъ загорѣлись. Вѣдь это замѣтили. Дуракъ Слободчиковъ даже рѣшилъ: не угодилъ Иванъ Ѳедоровичъ,—Анна Степановна на цѣлое кольцо рассчитывала... Что-же, по его выходить,—дѣло покупное, дешевле я себя не цѣню. А у меня знаешь? Почему я этой нитки вечеромъ не надѣла? Поди, посмотри,—въ туалетѣ, я ее швырнула въ уголъ. Валяется... Когда ты раскрылъ ее, мнѣ и ударило въ голову: вѣдь одного изъ этихъ камней было довольно, чтобы спасти мать, когда у нея начиналась чахотка... Тогда всѣ говорили мнѣ, оборвашкѣ, о парѣ сосисокъ мечтавшей: если бы вы могли вашу маму на югъ, она бы тамъ поправилась... Одно-одного камешка... Понимаешь... Одного... И она тосковала. Какъ мнѣ точно въ живое сердце врѣзались и до сихъ поръ болятъ въ немъ ея слова: «Ахъ, Аня, Аня, не про насъ съ тобою теплое море... Синее... И солнце... Намъ не отогрѣться»... И когда я подумаю, что сейчасъ вотъ захожу я,—ты меня не въ какой-нибудь тамъ Сухумъ или Гагры повезешь, а хоть въ Египетъ... Только всего два дня попросишь отсрочки,—заграничный паспортъ получить... И хоть обожгись этимъ солнцемъ... Когда мама въ сырой ямѣ гниетъ... Помнишь, когда ты

(думаль сдѣлать мнѣ пріятное!) мраморную плиту на ея могилу за-казаль, я, по твоимъ словамъ, каменная какая-то была... Именно потому, именно. Думала: зачѣмъ все это теперь?.. Ей не нужно... И обидно... Потому, что все это поздно... поздно ничего не спасеть... Ничего. Ахъ, нѣтъ, душно мнѣ... Душно... Главное—ничего этого не надо, не надо, не надо... И вотъ, что еще: если я сбѣгу, ты понимаешь...

— Куда?

— Я не говорю, что непременно... Такъ ты ужъ не ищи... Сама, захочу, вернусь... Значить, надо мнѣ отдышаться... Не говори, не говори... Я впередъ знаю все, что ты мнѣ скажешь... Ахъ, ей-Богу. Вѣдь, дѣло не въ правдѣ... Твоя правда во всемъ... А въ душѣ... А душа съ правдой-то часто расходятся, да такъ, что и рукъ одна другой подать не смогутъ. По правдѣ судить,—твоя она; а по душѣ,—я чувствую, что не въ силахъ... Собаченку я разъ нашла у помойки. Изъ ямы она какіе-то куски противные таскала и грызла... Мы ее съ мамой къ себѣ взяли. Жалко было,—совсѣмъ такая, какъ ты меня нашель, паршивая. Голодная. Ну, я, знаешь, у себя отни-мала,—кормила ее. Только она, какъ не доглядишь, убѣжить, бы-вало, а часа черезъ два въ дверь царапается, верещить... Прослѣдила я за ней,—вѣдь, сытая, дура, а куда бѣгала, какъ тебѣ кажется? На помойку! Смотрю: даже такъ, что съ остервененіемъ грызетъ ка-кую-то мерзость. И меня увидѣла,—лапой прижала это сокровище, подняла морду и зубы оскалила. И хвостъ трубой: подступись-де, попробуй. Вотъ я, теперь часто себя спрашиваю: что ей нужнѣе: кости изъ ямы или наша вареная говядина? И вѣдь что еще? Знаешь, этотъ песикъ, въ концѣ-концовъ, ушелъ-таки. Мѣсяца два минуло. Схожу съ лѣстницы. Слышу: что-то визжить... Господи! Наша брѣ-дяга! Не смѣетъ подняться вверхъ. Внизу—жалкая, жалкая. Поль-уха оборвано, шерсть клочьями, облѣзла. Дрожить,—подойти совѣсть, видимо, не позволяетъ,—а время то такъ ее пристегнуло, прямо око-лѣвать ей приходилось. Некуда податься.

— Ты, разумѣется, ее взяла?

— А то нѣтъ?

— Грязную?

— Чего хуже нельзя. Совсѣмъ гадость. Только я ее подняла, къ груди прижала, а она тихо-тихо стонетъ и глаза закрыла, только шею мнѣ лижетъ. Принесла домой,—на кровати она у меня издохла... Жила на волѣ, а помирать въ клѣтку вернулась. Такъ вотъ что, Иванъ Ѳедоровичъ. Пожалуйста, оставь меня. Не цѣлуй... А то, вѣдь, я никогда не окончу. Ласка, вѣдь, та-же паутина,—не уйдешь отъ

нея. Говорю тебѣ: пусти. Я хочу договорить все. Сядь и слушай. Вотъ такъ, и не подходи.

— Что еще надумала?

— Сейчасъ... Дай съ силами собраться. Вѣдь, и тотъ облѣзлый песикъ ласку любилъ, а только никакъ свободы своей за нее продать не соглашался. Такъ вотъ, если я сбѣгу отъ тебя,—все можетъ быть!.. На помойку меня потянетъ. Я, вѣдь, ничего отсюда не возьму. Все въ цѣлости найдешь. Ну, отъ воли-то я отвыкла. Избаловалась въ теплѣ и холѣ. Захлещетъ меня дождемъ, пройметъ морозомъ, голодомъ изморить. Такая же паршивая, какъ та собаченка, постучусь я къ тебѣ,—не выгони, не выкинь, какъ падаль на задній дворъ. Такъ и знай: умирать я къ тебѣ пришла. Всего на два, на три послѣднихъ дня...

Она въ волненіи прошлась по комнатѣ и вдругъ обернулась.

— Что ты?

Иванъ Ѳедоровичъ рыдалъ, пряча залитое слезами лицо.

Анна Степановна поблѣднѣла, остановилась... Схватила себя за голову.

— Господи, какая подлая, подлая. Ваня, голубчикъ, неужели ты, въ самомъ дѣлѣ, такъ любишь меня?.. Прибей ты меня, возьми палку. Никуда мнѣ не уйти,—не вѣрь этому. Такъ, во мнѣ бродяжья кровь бунтуетъ.

Она сѣла къ нему на ручку кресла, охватила его шею и прижалась щекою къ щекѣ. А сама съ тоскою смотритъ вдаль.

И чудится ей тамъ длинная улица... Вольная, голодная, гдѣ ни паутины, ни ласки... Одна свобода—умирать на просторѣ.

— Дай хоть поговорить. И на томъ сердце отходить. Куда мнѣ до собаки? Собака—не человѣкъ: ея ничѣмъ не купишь!..

Трахтенбергъ, Вас.

ГОРШКОВЪ и ФРУМКИНА.

„Вчера приведенъ въ исполненіе смерт-
ный приговоръ надъ Фрумою Фрумкиной
покушавшейся на жизнь начальника мо-
сковской пересыльной тюрьмы Багрецова“.
(Изъ газетъ).

— Горшковъ!—крикнулъ, пропуская меня на площадку узкой каменной лѣстницы полицейскаго дома, дежурный при конторѣ смотрителя служитель.

— Что нужно?—донесся откуда то сверху шамкающей, старческой голосъ.

— Вотъ барина прими... Алексѣй Ивановичъ приказалъ, чтобы почище гдѣ... Слѣдственный!.. Идите кверху,—кивнулъ онъ мнѣ.— На доскѣ помѣтить не забудь, чортъ старый,—бросилъ онъ еще разъ кверху и вышелъ на дворъ, повернувъ за собою въ замкѣ два раза ключъ.

— Куда жъ бы это посадить васъ,—встрѣтилъ меня на верхней площадкѣ Горшковъ—низенькій, приземистый старикашка съ голубыми глазами на маленькомъ, сморщенномъ лицѣ и серебряною серьгою въ правомъ ухѣ. —Почти не знаю, — звякнулъ онъ ключами. — Вездѣ полно, вездѣ народъ... Словно въ гостинницѣ самой первой,—добродушно улыбнулся онъ, показавъ рядъ черныхъ, гнилыхъ, торчащихъ изъ блѣдныхъ десенъ, корешковъ.—Къ городovýmъ развѣ? Штрахованные которые... Ихъ трое сидятъ... Опречь этого некуда...

Отъ двери камеры «штрахованныхъ» тянулись и пропадали въ сѣромъ сумракѣ угасающаго дня сплошныя, нѣсколько покатыя отъ стѣны нары. Двѣ фигуры людей, сидѣвшихъ, повидимому, на подоконникѣ, неясно вырисовывались на тускломъ просвѣтѣ забраннаго желѣзною рѣшоткою окна. При входѣ моемъ, обѣ онѣ повернули ко мнѣ свои головы, но лицъ ихъ не было видно.

— Барина вамъ... Тѣсно тамъ очень,—прошамкалъ Горшковъ, останавливаясь на порогѣ и продолжая позвякивать ключами.

— Пушай... Мѣста много,—раздался голосъ съ подоконника.

— А Чубаровъ то гдѣ же?

— Вонъ лежитъ,—махнула фигура рукою по направленію къ какой то сѣрѣвшей на нарахъ безформенной массѣ.—Все еще продрыхаться не можетъ.

Въ камерѣ стоялъ тяжелый, прѣлый запахъ прокисшихъ щей, тютюна и неопрятнаго человѣка. Надъ дверью, чуть слышно, тоскливо повизгивалъ вентиляторъ.

Горшковъ нѣсколько секундъ постоялъ, затѣмъ порылся въ карманахъ, пошуршалъ бумагою и, усѣвшись близъ меня на нарахъ, началъ свертывать «цыгарку».

— Ну, хорошо-съ... Ты такъ значить со мною, ну и я значить, говорю, буду поступать теперь совсѣмъ иначе,—продолжая прерванный, повидимому, моимъ появленіемъ, рассказъ, произнесла молчавшая до сихъ поръ на подоконникѣ фигура.—Стою это я значить въ среду на посту, глядь—она и идетъ. И юбка то на ней—моя, тая, значить, самая, которая на мои средства издѣлана... Хорошо-съ... Я это тихимъ манеромъ, конечно, подхожу къ тротуару... Р-разъ! У нея сейчасъ, значить, кровь съ носу; заголосила, побѣгла, и-и... Она кричитъ, ну, а мнѣ, конечно, неприятно; стою на посту и такой безпорядокъ... Думаю: ладно, обмнется какъ-нибудь, а вышло то совсѣмъ иначе... Она, значить, съ рожею кровяною своею такъ прямо къ Степанову и ударилась. «Такъ и такъ»... «Умойся, говоритъ, да посиди»... Прихожу послѣ смѣны—онъ меня къ себѣ призываетъ...—Что за безобразіе?—Никакъ нѣтъ,—говорю:—она, значить постановленія съ стѣны сдирала, я ее, конечно, и отвелъ рукою...—Вреть, кричитъ, «никакихъ постановленіевъ я не сдирала; потому, кричитъ, я и безграмотная совсѣмъ»... А тутъ Щуряевъ, какъ нагрѣхъ входитъ. «У нихъ,—гритъ,—ужъ который разъ эта волынка»... Ну, Степановъ ее, конечно, отпускаетъ, а меня на четырнадцать сутокъ, значить... Такъ то-съ. Хорошо ещѣ, что этимъ отдѣлался,—сползая съ подоконника на нары, вздохнулъ рассказчикъ.—Прямо гнать хотѣлъ... По рапорту...

— Это что же? Выходить, она совсѣмъ безстыжая передъ тобой,—сочувственно замѣтила оставшаяся на подоконникѣ фигура.—Ни понятіевъ у бабы, ни благодарности,—ничего!..

—А то какъ же? Конечно... Я же ей и юбку справилъ, платокъ ковровый, ланпу...

— Лампу справилъ, такъ и въ морду, значить сейчасъ?—укоризненно произнесъ Горшковъ.—Никакъ это невозможно... Потому что человѣкъ, который есть при умѣ своемъ и уваженіе къ себѣ чувствуетъ, никогда себя до этого не допуститъ, чтобы въ морду

другого... Вздоръ это все... Насилу милъ то не будешь... Ни лампой, ни кулакомъ не удержать тебѣ человѣка, который жить съ тобою не хочетъ... Потому есть въ сердцѣ всякаго мѣсто такое правдивое, которое ничѣмъ не закупить, и если возмутится оно только неправдою—станетъ грѣхъ великій, и человѣкъ погубить себя... Такъ то...

Ярко вспыхнула тлѣющая въ темнотѣ у самыхъ губъ Горшкова огненная точка и заливъ на мгновенье краснымъ свѣтомъ маленькое сморщенное лицо его, сверкнула по воздуху и, ударившись объ стѣну, упала на полъ.

Позвякивая ключами, медленно поднялся онъ съ наръ и вышелъ изъ камеры.

Вмѣсто нѣсколькихъ, какъ предполагалось, дней пришлось пробыть мнѣ въ полицейскомъ домѣ, около мѣсяца.

Камера, въ которой я содержался, находилась, повидимому, на «особомъ» положеніи и пользовалась, благодаря пребыванію въ ней городскихъ — лицъ, какъ ни какъ, причастныхъ администраціи, особыми правами и привилегіями. Двери въ ней запирались только на ночь, часа черезъ два-три послѣ вечерней повѣрки, производимой либо смотрителемъ—высокимъ, бравымъ мужчиною съ громадною черною, съ просѣдью бородою, либо помощникомъ его, толстымъ и рыжимъ, напоминавшимъ мнѣ почему-то таракана.

Казенной пищи не бралъ никто. Чубарову—пухлomu парню крайне угрюмаго и несообщительнаго вида, большую часть дня проводившаго въ «дрыханьи»—обѣдъ приносила жена. Встрѣчалъ онъ ее всегда трехъэтажною бранью. Если онъ спалъ, и его будили сообщеніемъ, что принесли обѣдъ, онъ ругался, что ради него придется вставать и нарушать покой, если бодрствовалъ—то принимался орать на всю камеру: «стерва проклятая, ротъ сучій, никогда жрать во время принести не можетъ!» Онъ не ѣлъ, а дѣйствительно «жралъ», запихивая себѣ въ ротъ громадные куски хлѣба, иногда давясь ими, громко чавкая, всегда заливая рубаху свою ѣдою... Тотчасъ же, послѣ обѣда онъ начиналъ икать — часто и долго, окидывая окружающихъ удивленнымъ взглядомъ, словно недоумѣвая: «отчего бы это могло приключиться?»

Двумъ другимъ обѣдъ приносили изъ казармы. Они принимались за него, усаживаясь другъ противъ друга съ поджатыми подъ себя ногами и, молча, съ строгими лицами, начинали черпать изъ стоявшаго между ними глинянаго горшка. Поѣвъ немного, клали ложки на нары и перекидывались короткими отрывистыми вопро-

сами и фразами: «Лексѣевъ уходитъ»... «Что женился?» «Онъ самый»... Аникинъ, тотъ что сидѣлъ за «женскую неблагодарность» стучаль ложкою по краю горшка, и они, не торопясь, по очереди, приступали къ тасканію мяса. Я пробавлялся чаемъ, яйцами и закусками, обязательно приносимыми мнѣ Горшковымъ послѣ того, какъ онъ смѣялся. При сверткахъ всегда находился счетъ—кусочекъ бумаги съ выведенными на немъ кривыми каракулями «булька 5 копеек, калбасъ 20 копеек, масла 10 копеек». Сдачу приносилъ онъ аккуратно, и мелочь, даваемую ему мною «на чай», всегда принималъ, словно нехотя, смотря куда то въ сторону.

Короткій зимній день тянулся мучительно долго... Городовые, сидя на подоконникѣ, молча курили скверную «полукрупку», или говорили объ околоточныхъ, помощникахъ «самомъ» и «лизервѣ». Чубаровъ дрыхалъ и, окончательно продравъ «шары» свои только къ вечеру, вспухшій, заспанный подымался съ наръ и заводилъ утрюмо разговоръ о политикѣ, партіяхъ и организаціяхъ, представленіе о которыхъ имѣлъ смутное и крайне неопредѣленное. Пересяпая рѣчь свою «сицилистами» и «люцинерами», онъ, иногда втеченіе цѣлаго часа, несъ, не переставая, какую-то галиматью хранившимъ глубокое молчаніе слушателямъ. Изрѣдка, словно боясь быть «одернутымъ», онъ обращался съ вопросомъ ко мнѣ, но я, прикидываясь спящимъ, не откликался. «Спать... пушай его», тихо произносили другіе.

Въ дежурство Горшкова я безпрепятственно слонялся по корридорю, подходя къ дверямъ общихъ и одиночныхъ камеръ, выходящихъ на него, въ дежурства же Дудки или Сафонова—надзирателей смѣнявшихъ его, приходилось большею частью сидѣть «дома». «Чего шляться-то безъ толку? Справили что нужно и ступайте... Насъ вѣдь тоже за эти вольности по головкѣ не глядятъ», ворчали они.

Въ общихъ камерахъ, до-нельзя набитыхъ какими-то сѣрыми людьми съ сѣрыми лицами и въ сѣрыхъ лохмотьяхъ, всегда висѣлъ словно пологъ, сѣрый ѣдкій дымъ махорки, густой и тяжелый, какъ брань, мѣшавшаяся съ нимъ... Эти сѣрые люди неустанно орали, ругались, дрались, ѣли какую-то сѣрую снѣдь и играли въ истрепанныя, засаленныя карты, высоко взмахивая руками, худыми и длинными... Иногда по вечерамъ горланили пѣсни—грубыя и циничныя, жалостливыя и бессмысленныя... Раза три-четыре въ день ихъ выпускали за кипяткомъ или «до вѣтру» и, проходя мимо полуотворенныхъ дверей нашей камеры, нѣкоторые отваживались просовывать въ нее свою голову, чтобы «стрѣльнуть» у меня папироску, листокъ бумаги или пару кусковъ сахара. Городовые, словно боясь отвыкнуть отъ отправляемыхъ ими на волѣ функций, немилосердно гнали ихъ

отъ двери, плеская въ нихъ водою изъ кружекъ или, если удавалось, награждая ихъ тумаками и затрещинами. «Такое ворье, что не приведи Господи... Съ ними иначе никакъ нельзя», оправдывались они передо мною. «Изъ-подъ самага носа слямзятъ—не замѣтите»...

Однажды меня остановилъ въ корридорѣ парнишка лѣтъ четырнадцати, съ блѣднымъ изможденнымъ лицомъ и грустными черными глазами, въ глубинѣ которыхъ словно таился какой-то скорбный, неразрѣшенный вопросъ. Онъ опустил на полъ большой жестяной чайникъ, который несъ, и, торопясь и заикаясь, какъ бы боясь, что не успѣетъ сказать мнѣ всего, заговорилъ глухимъ, надорваннымъ голосомъ. «Вотъ, баринъ... Пятый мѣсяцъ сижу уже здѣсь... Почему?—неизвѣстно... Ершовъ фамилія моя... Ни къ слѣдователю тебя, ни бумаги какой... Смотритель говорить: «ладно! держуть—знають за что»... Какъ же держать, если я то за собою ничего не знаю?... Развѣ есть законъ такой?» Глаза его сверкнули. «Вѣдь такъ всю жизнь продержатъ могутъ, и никто не узнаетъ объ этомъ»...

— Нужно прошеніе послать...

— Вотъ и я думаю то-же, а они,—махнулъ онъ рукой въ сторону «общей»—смѣются; говорятъ—все равно не дойдетъ...

— Ну какъ не дойдетъ... Непремѣнно дойдетъ...

— Если въ управу, напримѣръ?... мѣщанскую? потому мѣщанинъ я, въ раздумьи произнесъ онъ.

— Въ управу незачѣмъ... Писать нужно въ судъ, товарищу прокурора, завѣдующему мѣстами заключенія.

— Въ судъ? Ну спасибо вамъ... И поднявъ съ полу чайникъ онъ пошелъ къ своей камерѣ.

— Такъ въ управу ненужно? въ мѣщанскую? обернувшись ко мнѣ у самыхъ дверей уже, улыбнулся онъ.

— Безполезно... Совершенно бесполезно, подтвердилъ я.

Кивнувъ головой, Ершовъ скрылся въ камерѣ, а нѣсколько секундъ спустя до слуха моего донесся изъ нея густой взрывъ хохота. Идя «домой» я обнаружилъ у себя пропажу носового платка и мундштука, находившихся въ карманѣ моего пиджака, когда же дня черезъ два я снова встрѣтился въ корридорѣ съ Ершовымъ,—онъ, еле удерживая душившій его смѣхъ, бросилъ мнѣ: «такъ въ управу не нужно? въ мѣщанскую?»

Въ одиночкѣ, сосѣдней съ нашею, «привилегированною» камерою, содержался нѣмецъ-рабочій съ завода Цинделя, задержанный по словамъ его за то, что рассказывалъ въ пивной товарищамъ о бытѣ и положеніи рабочихъ на Западѣ. Говорилъ онъ ломаннымъ,

неусвоеннымъ за короткое время пребыванія своего въ Россіи языкомъ, нещадно коверкая и перевирая слова и путая ихъ съ нѣмецкою рѣчью. «Говорилъ о рабочій вопросъ und nichts mehr, Kamrad nichts mehr... Пилъ пиво und попалъ ins Gefängniss, кривя губы въ недоумѣвающую улыбку, заключалъ онъ рассказъ о своемъ арестѣ.

Въ слѣдующей одиночкѣ сидѣлъ, или точнѣе—ходилъ, высокий мужчина съ одутловатымъ желтымъ лицомъ, растрепанными рыжими волосами, въ одномъ заношенномъ до-черна нижнемъ бѣльѣ и босикомъ. Сколько разъ ни подходилъ я къ окну его двери, я всегда видѣлъ его быстро шагающимъ, почти бѣгающимъ, взадъ и впередъ по крошечной камерѣ, словно невѣдомо куда торопящимся. Бѣготня его не прекращалась даже ночью, и часто, когда томяся безсонницею, лежалъ я неподвижно на нарахъ, доносился до меня въ тишинѣ замершаго дома—топотъ его босыхъ ногъ. «Что надо?» крикнулъ онъ, замѣтивъ разъ устремленный на него въ «очко» глазъ. «Ничего», отвѣтилъ я. «А ничего—такъ и проваливай», процѣдилъ онъ сквозь зубы и снова принялся бѣгать по камерѣ.

Рядомъ съ «порченнымъ», какъ называлъ его Горшковъ, помѣщалась Фрумкина—«чудесная», по его же опредѣленію, «барышня». Когда я на второй день прибытія своего въ полицейскій домъ подошелъ къ двери ея одиночки и пригнулся къ задѣланному мутнымъ стеклышкомъ глазку—она стояла, прислонясь къ стѣнѣ, съ руками заложеными за голову, слегка закинутаю вверхъ. Услышавъ шорохъ она повернула къ двери свое лицо, но съ мѣста не сдвинулась и позы своей не измѣнила. На первый взглядъ она показалась мнѣ нѣсколько выше средняго роста. Вьющіеся черные съ рыжеватымъ отливомъ волосы падали на лобъ, высокой и бѣлый, темные глаза смотрѣли строго и пристально. Изъ подъ повязаннаго крестъ на крестъ сѣраго платка виднѣлась синяя блузка, перетянутаю простымъ кожанымъ кушакомъ. На узкой койкѣ съ казеннымъ, грубаго сукна, одѣяломъ лежала корешкомъ вверхъ какая то раскрытая книга; на столѣ, рядомъ съ маленькимъ жестянымъ чайникомъ, стояли глиняная кружка, тарелка, покрытая листомъ бумаги съ торчащею изъ-подъ нея деревянною ложкою, и пара кульковъ.

— Фрумкина, тихо окликнулъ я ее.

Она оторвалась отъ стѣны, взмахнула руками и торопливо подбѣжала къ двери.

— Кто вы? Отойдите немного назадъ, разслышалъ я. Откуда вы знаете меня? спросила она, когда я исполнилъ ея желаніе и отошелъ на шагъ отъ двери.

— Прочелъ вашу фамилію на доскѣ и, ввиду того что число женщинъ помѣчено цифрою 1—догадался что вы и есть Фрумкина.

— Логично, улыбнулась она, движеніемъ головы откидывая упавшую на глазъ выющуюся прядку волосъ.

— Давно сидите?

— Второй мѣсяць уже... А вы?

— Со вчерашняго дня... На дняхъ по удостовѣреніи личности освобождаюсь...

— А-а, протянула она.

— За кѣмъ числитесь?

— За охранкою...

— Идите, идите въ камеру свою... Что за разговоры еще завели, крикнулъ, появляясь въ корридорѣ, Сафоновъ — широко-плечій здоровякъ съ изрытымъ оспою лицомъ.

— Вамъ не нужно ли чего? снова наклоняясь къ очку спросилъ я.

— Свободы, улыбнулась она.

— Этого изъ лавочки не выпишешь... Я спрашиваю...

— Понимаю, понимаю, быстро перебила меня она. Благодарю васъ... Пока еще все у меня есть...

Я пошелъ въ камеру.

Чубаровъ, пуская носомъ чередовавшіеся съ визгомъ вентилятора аккорды, дрыхалъ, широко раскинувшись по нарамъ; Аникинъ, сидя на подоконникѣ и болтая ногою, мурлыкалъ какой-то жестокой романсъ, а Липченко, скинувъ рубаху, пристально разглядывалъ ея складки и стежки, сопровождая наблюденія свои отрывистыми: «ишь жирная... словно быкъ, мерзавка».

Монотонно повизгивалъ вентиляторъ, уныло неслоя глухое мурлыканье Аникина, аккомпанируемое храпомъ Чубарова и удивленными возгласами Липченко... Мертвящая, душу и тѣло гнетущая, тоска царила надъ всѣмъ, все наполняя и покрывая собою.

Взмостившись на нары, укутался я съ головою въ шубу и закрылъ глаза...

Когда я проснулся, въ камерѣ уже было темно. Изъ полуоткрытой двери падала на нары полоса свѣта, выхватывая изъ мрака босую грязную ногу Чубарова, лежавшаго, повидимому, на спинѣ, и произносившаго отрывисто и безапелляціонно короткія фразы. Одна за другою, чередовались онѣ, часто безъ всякой связи между собою, почти все время—бзеъ смысла...

— А они то совсѣмъ напротивъ, басилъ онъ. Сицилисты, это которые ни до чего себя не допускаютъ... Демократы тоже... Насчетъ земли больше... Нарѣзъ какой напимѣръ, двѣ души или три тамъ... Бываетъ и по четыре... Хлопова знаете? изъ Арбатской?...

Видѣть ихъ, кричать, не могу... мутить, значить... Люцинеры опять... Эти насчетъ взрывовъ завѣдуютъ... Комиссія у нихъ на то особая есть...

Я сбросилъ съ себя шубу, быстро спустился съ нарѣ и вышелъ въ корридоръ.

Подъ висѣвшую на стѣнѣ большую жестяною лампою въ сѣтчато-мъ фонарѣ—стоялъ Горшковъ и, беззвучно шевеля губами, читалъ какую то книгу.

— Проснулись?—отрываясь отъ чтенія, поднялъ онъ на меня свои голубые дѣтскіе глаза. Смѣняя Сафонова въ шесть, смотрю: спите... Ночь промаятесь теперь...

— Авось какъ-нибудь и засну. Дѣлать то больше нечего, наклоняясь надъ открытою книгою, отвѣтилъ я.

— Успенскаго, господина, сочиненія, прошамкалъ Горшковъ,— Успенскаго... Читаю и дивлюся, какъ правильно описано все... Какъ есть жизнь человѣка—вотъ вся она тутъ предъ тобою какъ на ладони... И что говорить-то онъ, и что думаетъ, и... все, однимъ словомъ. Читали?

— Читалъ.

— Пользительная книга, поглаживая ее рукою, шамкалъ Горшковъ. «Ни одной еще не читалъ, чтобы вѣрно такъ писалось, какъ эта... И разсуждаю я такъ, что зло то хотя и есть, да происходитъ оно только отъ пьянства да темноты... Необразованный человѣкъ онъ что знаетъ? Ничего... По-русски, примѣрно, толкомъ смѣяться даже не умѣеть, а къ вину тянется... достигаетъ... Въ крови это видно, отъ дѣдовъ и отцовъ нашихъ»... Онъ пошевелилъ челюстью, словно прожевывая что и, помолчавъ нѣсколько секундъ, добавилъ: «тоже и книга какая... Иная—не приведи Господи... Много горя принести можетъ»... Опять пошевелилъ челюстью и насупилъ.

— Дочь была у меня... Въ ученьи у модистки жила... Годъ до мастерицы оставалось, зашамкалъ онъ. Ну, подруги конечно... Надзоръ какой? Никакого надзору... Пошли это книги разныя: романы глупые, стишки зазорные, пѣсни... Дальше—больше... Отъ книги глупой и мысли глупыя явились... Вينيшкомъ баловаться начала, съ кавалерами снюхалась, наконецъ—утонула...

— Утонула?

— Ну да, утонула... Какъ тонуть? Поѣхала на лодкѣ съ мальчишками; всѣ пьянѣй вина, конечно... Долго ли до грѣха? вокругъ людей грѣхъ ходить... Лѣтомъ вотъ, утромъ шестнадцатаго іюля представъ здѣшній Юрьевъ зоветъ къ себѣ... Иди, говорить, въ Пятницкую часть; по телефону сообщили, будто дочь твою признали—изъ воды мертвою вытащили...

Гдѣ то внизу стукнула дверь.

— Идетъ кто-то, насторожился онъ. Вы вотъ что, провожая меня до камеры проговорилъ онъ,—вы ничего барышнѣ про дочь мою не говорите.

— Какой барышнѣ?

— Да вотъ что въ одиночкѣ сидитъ, Фрумкиной,—смотря въ сторону, смущенно добавилъ онъ. Можетъ говорить о чемъ будете... къ слову придется... Пожалуйста...

— Хорошо...

Онъ замкнулъ дверь и торопливо пошелъ къ лѣстницѣ.

Горшковъ и Фрумкина... Что можетъ быть у нихъ общаго?—взбираясь на нары подумалъ я.

— Взяли ночью... Всю квартиру запрудили людьми... Тутъ и городовые, и околадочные, и дворники, и приставъ и какіе-то «господа» подозрительнаго вида и... миллионъ народа, однимъ словомъ... Жандармскій офицеръ—сама корректность, сидя на койкѣ и, охвативъ руками колѣно закинутой одна на другую ноги, рассказывала Фрумкина. Голосъ ея съ вполнѣ опредѣленнымъ акцентомъ звучалъ весело и задорно.

Горшковъ стоялъ на порогѣ открытой камеры и, прислонясь спиною къ косяку, курилъ «цигарку», я—въ корридорѣ, готовый, согласно уговору съ нимъ, при первомъ же стукѣ дверей на лѣстницѣ—бѣжать «домой». Пуская носомъ тонкія струйки дыма, онъ смотрѣлъ на потолокъ, словно разглядывая паутиною раскинувшіяся на немъ трещины и изрѣдка тихо покашливалъ.

— Обыскъ не далъ никакихъ результатовъ... Ни писемъ, ни бумагъ, ни... Ничего!... Даже литературою имъ не удалось попользоваться, ибо всего лишь нѣсколько дней до ихъ прихода—двѣ кипы были пересланы въ... загородъ... Привезли въ охранку... Утромъ чаемъ съ булками напоили... Сдобныя булочки и сливки, звонко размѣялась она. Напилася... Часовъ въ одиннадцать повели... Небольшая комната; вдоль стѣнъ шкафы... За письменнымъ столомъ, заваленнымъ бумагами—полковникъ... Я уже раньше слышала о немъ... Низенькій, толстый; на кругломъ лицѣ тщательно расчесанныя на стороны баки... «Госпожа Фрумкина? Садитесь пожалуйста»... Кивнулъ головою и зарылся въ бумагахъ. Съла. «Папаша съ мамашей живы ваши?» Молчу. «Родители живы ваши», повторяетъ, прищуриваясь на меня. «А-а, вотъ что... Отвѣчать не желаете? Да въдь намъ все и такъ извѣстно... Все»... Молчу. Вижу—перебираетъ въ рукахъ фотографическія карточки. «Давно не видѣли?» Называетъ

фамилию и показываетъ одну изъ фотографіи. Молчу. «А этого?» Молчу. Онъ—совершенно спокоенъ; привыкъ видно. «Вотъ видите», говоритъ, пряча въ конвертъ карточки,—«гдѣ нужно говорить—тамъ вы молчите, а гдѣ не нужно—тамъ говорите... и даже слишкомъ много говорите... Торопить отвѣтами я васъ впрочемъ не буду. Времени у васъ впереди еще много... Надумаете—извѣстите, мы васъ вызовемъ». Подымается... Встаю и я... Иду къ дверямъ—на порогѣ останавливаюсь...

Фрумкина закинула назадъ голову, и темные глаза ея весело сверкнули.

— Онъ такъ и впился въ меня. «Можетъ быть скажете что?» «Скажу». «Пожалуйста»... «Замѣчательно вкусныя булочки подали мнѣ у васъ сегодня къ чаю»...

Фрумкина звонко разсмѣялась. Горшковъ усмѣхнулся и покрутилъ головою.

— «Ну и что же?» вытаращилъ полковникъ глаза. «Ну и больше ничего», отвѣчаю я. Покраснѣлъ, напыжился. Сейчасъ дерзость какуюнибудь скажетъ, думаю. Нѣтъ. «Немного», говоритъ. «Ну ступайте, можетъ еще что-нибудь надумаете». Привезли сюда... Двадцать шестого два мѣсяца будетъ».

— Да, два мѣсяца, поддакнулъ Горшковъ.

— Вызывали послѣ этого? спросилъ я.

— Ни разу... Писала насчетъ вещей своихъ, книгъ, денегъ... Книги прислали... не всѣ конечно... Деньги тоже... Девять рублей было у меня... А о чемоданчикѣ съ бѣльемъ—ни слуху, ни духу...

— Какъ же вы справляетесь?

— Да, вотъ, постоитъ... когда это было, прикладывая пальцы къ виску, произнесла она. Недѣли три тому назадъ... въ дежурство Горшкова... Приносить пакетъ... Развертываю—бѣлье, не мое только... Отъ кого, спрашиваю. «Барышня какая то принесла»...

— Ну да—барышня, бросая окуркъ въ корридоръ, зашамкалъ Горшковъ. Чернявая такая изъ себя. Передайте Фрумкиной, я гритъ, подруга ея...

— Мѣтки распороты,—задумчиво произнесла Фрумкина,—но слѣды остались... Не то М. Т. не то Н. Г.—М. Т. у меня никого кажется нѣтъ, ну а Н. Г.... Далеко она... Далеко... Развѣ вернулась...

— Вы—с.-д. или с.-р.?

— Я? подняла голову Фрумкина. Она на мгновенье задумалась, скользнула взглядомъ по сразу настоорожившемуся Горшковѣ и какъ то устало протянула: «просто—еврейка»...

Внизу стукнула дверь...

Бросивъ Фрумкиной «всего хорошаго», я пошелъ въ камеру. Горшковъ поспѣшно заперъ одиночку и направился къ лѣстницѣ.

Когда черезъ полчаса я вышелъ въ корридоръ—Горшковъ стоялъ у окна, заложивъ за спину руки и смотрѣлъ на засыпанный снѣгомъ дворъ.

— Въ общую троику еще привели, — отвѣтилъ онъ на вопросъ мой «кто насъ спугнулъ?» Скоро ужъ и сажать некуда будетъ... Какъ сельди въ бочку понапиханы... А ты вотъ стереги бочку, нѣсколько помолчавъ, добавилъ онъ. Брошу я службу эту, не по душѣ она мнѣ, слушаюсь барышни...

— Третьяго дня я поздно заснулъ... часа въ два, кажется— вы все еще говорили съ нею...

— Спасибо ей... не оставляетъ... Я вѣдь что знаю? Колобашка я, дерево неотесанное, ночка темная, а она объясняетъ все... понятно такъ... вразумно... Словно завѣса съ глазъ спадаетъ... Онъ снова помолчалъ и добавилъ: «вы вотъ что... вы бы въ камеру пошли... Неравно смотритель припретъ... шляется тутъ по двору...

— Ладно... О дочкѣ то скучаете? желая провѣрить мелькнувшую у меня ,по поводу доставленнаго Фрумкиной бѣлья, мысль, безцеремонно спросилъ я.

— Конечно скучаю... Дочь...

— Лѣтъ то сколько ей было?

— Пятаго—семнадцать лѣтъ было бы. Здоровенькая такая...

— А звали какъ?

— Машуткою... А что? — вдругъ насторожился онъ и, повернувшись ко мнѣ, пристально посмотрѣлъ на меня.

— Ничего, ничего, я такъ посмотрѣлъ, успокоилъ я его и пошелъ въ камеру.

Прошло два года.

Иду по Тверской, вдругъ... «Господинъ хорошій!» Оглядываюсь—Горшковъ. На фуражкѣ—рѣзной ярлыкъ Ласточкинской артели, въ рукахъ—кипа газетъ.

— Ушли?—здороваясь съ нимъ, спросилъ я.

— Ушелъ,—отвѣтилъ онъ и задвигалъ челюстью. Какъ только Ее куда же отправили?

взяли ее отъ насъ, такъ раппортъ и подалъ...

— А въ Минскѣ... къ родителямъ на подзоръ... Три мѣсяца держали еще, никакихъ винъ не нашли и отпустили...

— Имѣете вѣсточки о ней?

— Никакихъ... Гдѣ и что она теперь—ничего не знаю... Я уже справки наводилъ... такъ... у лицъ, которыя могли бы знать ее... Никакихъ слѣдовъ...

— Что у васъ тутъ сегодня хорошаго,—перебралъ я рукою газеты.

— «Русскій Листокъ» рекомендую... Чрезполосье—статья Р. И... «Возможность введенія конституціи», шамкалъ онъ, складывая вчетверо номеръ газеты.

— Почитаемъ...

— Ужъ вы у меня газетки берите... По знакомству, усмѣхнулся онъ.

— Непремѣнно, непремѣнно... Искренне радъ былъ встрѣтиться съ вами...

Онъ съ жаромъ потрясъ мнѣ руку и, доолго еще раскланивался, подымая съ плешивой головы своей, украшенную ярлыкомъ, фуражку.

Съ этого дня, проходя по Тверской, я всегда останавливался на углу Дегтярнаго переулка, чтобы поздороваться съ Горшковымъ и купить у него газету.

Подавая сложенный номеръ, онъ считалъ долгомъ своимъ сообщить всегда вкратцѣ свѣдѣнія о важнѣйшихъ событіяхъ дня. «Покушеніе на полицмейстера въ Екатеринославѣ... Раненъ кучеръ и убитъ семилѣтній мальчикъ», шамкалъ онъ. «Въ Харьковѣ накрыта подпольная типографія», докладывалъ онъ на другой день. «Подробности ареста революціонеровъ въ Одессѣ»...

— Никакихъ вѣстей о ней не имѣю, прощаясь со мною, иногда добавлялъ онъ.

Прошло еще четыре года.

Мелкій, зарядившій съ утра, дождикъ монотонно барабанилъ въ мутныя стекла камеры Петербургской Пересыльной тюрьмы, гдѣ временно содержался я, за неимѣніемъ мѣстъ въ Домѣ Предварительнаго Заключенія. Тусклый осенній день казался безконечнымъ. Унылыя мысли, лѣниво и безтолково цѣпляясь одна за другую—мѣшали работать.

Къ вечеру, совершенно неожиданно, въ камеру впорхнула рѣдкая и всегда желанная гостья, изгнанница тюремъ— газета.

Въ камерѣ сразу стало какъ будто свѣтлѣе.

Быстро проглядывая телеграммы, я натолкнулся вдругъ на одну, острою болью кольнувшую мнѣ сердце.

«Москва. Вчера приведенъ въ исполненіе смертнй приговоръ надъ Фрумою Фрумкиной, покушавшейся на жизнь начальника московской пересыльной тюрьмы Багрецова».

Я долго не могъ заснуть въ эту ночь... Передъ глазами моими неотступно стоялъ... не образъ Фрумкиной, нѣтъ! какъ это ни странно,—образъ Горшкова. Мнѣ казалось, что я вижу его на Тверской, противъ обыкновенія молча подающимъ прохожимъ сложенную вчетверо газету, подъ заголовкомъ которой выдѣляется крупными буквами: «смертный приговоръ надъ Фрумкиной—приведенъ въ исполненіе»...

СПБ. Пересыльная Тюрьма..

Лондонъ, Дж.

КРОВАВАЯ МЕСТЬ.

Ля Перль шелъ одинъ по глубокому снѣгу; онъ по временамъ странно всхлипывалъ, проклиная свою судьбу, Аляску, Номъ, карты и того, кого пришлось пырнуть ножомъ. Теплая кровь застывала на его рукахъ, и только что пережитая сцена неотступно стояла передъ его глазами: противникъ, вцѣпившись руками за столъ, медленно опускался на полъ, стойка качалась и по ея поверхности перекатывались игральныя кости; кто-то толкнулъ его и онъ полетѣлъ черезъ всю комнату, крупье умолкли, затихъ звонъ игральныхъ марокъ; изумленные, встревоженные лица, глубокая мертвая тишина, — а затѣмъ взрывъ дикихъ голосовъ и призывъ къ мести, послѣ чего весь городъ, казалось, бросился преслѣдовать его.

«Словно распахнули ворота ада», насмѣшливо пробормоталъ онъ, сворачивая съ тропинки и направляясь къ берегу моря.

Слышалось, какъ хлопали двери; изъ домовъ, изъ палатокъ, изъ пивныхъ выходили обитатели города, направляясь на охоту. Ихъ крики и злобѣщій лай собакъ заставили его ускорить шаги. Онъ бѣжалъ, бѣжалъ все прямо передъ собой. Злобѣщіе звуки остались позади и погоня кончилась безсильнымъ гнѣвомъ. Только одна чья-то тѣнь упорно носилась вслѣдъ за нимъ. Онъ нѣсколько разъ поспѣшно оглядывался и каждый разъ онъ видѣлъ эту тѣнь за собою. Она то рѣзко чернѣла на снѣговомъ просторѣ, то сливалась съ черными тѣнями домовъ и опрокинутыхъ лодокъ.

Ля Перль выбранился, по-женски слабымъ, почти плаксивымъ голосомъ и, очертя голову, быстрѣе побѣжалъ среди нагроможденныхъ льдинъ, глубокихъ ямъ и палатокъ. Онъ то и дѣло спотыкался объ туго-протянутые канаты, о кучи песку, о валявшеся инструменты, о нелѣпо вбитые куда попало кольца, о кучи дровъ; но каждый разъ снова вскакивалъ на ноги, чтобы нѣсколько мгновений спустя снова падать на мерзлую землю. Ему нѣсколько разъ казалось, что онъ, наконецъ, ушелъ отъ преслѣдовавшей его тѣни; въ глазахъ мутнѣло отъ напряженія, въ вискахъ молотомъ отдавалось бѣненіе его сердца, онъ задыхался отъ усталости, но какъ

только нѣсколько умѣрялъ свой бѣгъ, какъ появлялась зловѣщая тѣнь, снова заставляя его изо всѣхъ силъ бѣжать дальше. Вдругъ черезъ его мозгъ молніей пронеслась суевѣрная мысль; въ качествѣ игрока онъ непрочъ былъ вѣрить въ рокъ, въ счастье, въ таинственныя вліянія съ того свѣта. Эта молчаливая, неумолимая тѣнь, преслѣдовавшая его по пятамъ, можетъ быть и есть его судьба и она будетъ преслѣдовать его до тѣхъ поръ, пока игра не будетъ совсѣмъ окончена, чтобы подсчитать выигрышъ или проигрышъ. Ля Перль вѣрилъ, что у человѣка бываютъ рѣдкіе, но яркіе моменты глубокаго проникновенія въ безконечныя тайны, когда ему дано читать въ книгѣ рока. Ему казалось, что онъ переживаетъ какъ разъ такой моментъ и, когда онъ повернулъ отъ берега обратно къ поселку, его вовсе не удивляло, что тѣнь стала ближе и яснѣе. Наконецъ, онъ, въ полномъ отчаяніи отъ своего безсилія, остановился по срединѣ снѣговой пустыни и повернулся. Онъ быстро снялъ рукавицу съ правой руки и въ слабомъ свѣтѣ звѣздъ сверкнулъ поднятый револьверъ.

— Не стрѣляйте, я безоруженъ.

Тѣнь приняла совершенно опредѣленную форму, и при звукахъ обыкновеннаго человѣческаго голоса Ля Перль съ облегченіемъ вздохнулъ.

Если бы у Ури Брама былъ въ карманѣ револьверъ, когда онъ сидѣлъ въ Эльдорадо и присутствовалъ при убійствѣ, то все произошло бы иначе, и ему навѣрное не пришлось бы бѣжать за бѣглецомъ по снѣговой пустынь...

— Не стрѣляйте! Видите, у меня нѣтъ револьвера.

— Какого же чорта вы въ такомъ случаѣ бѣгаете за мною?— сиросиль игрокъ опуская руку съ револьверомъ.

Ури Брамъ пожалъ плечами.

— Эхъ, не все ли равно? Пойдемте лучше со мною.

— Куда?

— Въ мою хижину. Она находится почти на краю поселка.

Ля Перль топнулъ ногою въ мокасинѣ по снѣгу и принялся клясться всѣми знакомыми ему Богами въ томъ, что Ури Брамъ спятилъ съ ума.

— Съ чего вы взяли, — воскликнулъ онъ наконецъ, — что я суну голову въ петлю только потому, что вамъ это хочется?

— Я Ури Брамъ, — просто отвѣчалъ тотъ, и моя хижина находится на краю поселка. Я не знаю кто вы такой, но вы убили человѣка — вотъ у васъ до сихъ поръ весь рукавъ въ крови. Подобно Каину всѣ люди теперь поднялись противъ васъ и у васъ нѣтъ мѣста, гдѣ преклонить голову. У меня же есть хижина...

— Будеть вамъ, замолчите!—вскричалъ Ля Перль, — или я сдѣлаю! изъ васъ Авеля. Клянусь Богомъ сдѣлаю! Теперь цѣлая тысяча людей рыщеть во всѣхъ углахъ чтобы найти меня, а вы меня приглашаете въ свою хижину!... Мнѣ нужно уйти отсюда, уйти какъ можно скорѣе и какъ можно подальше. Проклятыя свиньи! Я бы съ удовольствіемъ побѣжалъ къ нимъ, чтобы убить хоть нѣсколькихъ изъ нихъ прежде, чѣмъ они убьютъ меня. Пострѣлять еще хорошенько, а потомъ къ чорту! Все равно мнѣ такая жизнь надоѣла.

Онъ остановился, совершенно подавленный безвыходностью своего положенія. Ури Брамъ воспользовался паузой; онъ былъ несловоохотливъ и рѣчь, которую онъ затѣмъ сказалъ, была самой длинной рѣчью въ его жизни, за исключеніемъ развѣ той, которую онъ произнесъ много времени спустя въ другомъ мѣстѣ.

— Вотъ почему я и приглашаю васъ въ свою хижину. Я васъ могу спрятать такъ, что васъ никто не найдетъ. Провизіи у меня найдется достаточно. Другого спасенія у васъ нѣтъ. У васъ нѣтъ собакъ, нѣтъ саней, море замерзло; ближайшій постъ—Св. Михаилъ, а тамъ обо всемъ узнають прежде, чѣмъ вы успѣете туда доѣхать: на перевалѣ тоже васъ уже будутъ ждать... однимъ словомъ для васъ нѣтъ спасенія! Вы лучше переждите со мною, пока буря пройдетъ. Черезъ мѣсяць, даже раньше, о васъ забудутъ, откроется какой-нибудь новый золотосный ручей, всѣ бросятся туда и имъ будетъ не до васъ; тогда вы себѣ спокойно уйдете отсюда. У меня есть свои взгляды на справедливость; когда я побѣжалъ за вами изъ Эльдорадо и бѣжалъ за вами по берегу, я не хотѣлъ ни схватить васъ, ни отказаться отъ васъ... однимъ словомъ у меня свои взгляды, и такого намѣренія у меня не было.

Когда онъ умолкъ, убійца вытащилъ изъ кармана молитвенникъ. Снявъ шапки, оба схватились обнаженными руками за священную книгу и подъ желтоватыми лучами сѣвернаго сіянія Ля Перль заставилъ Ури Брама поклясться въ правдивости своихъ словъ—Ури и не собирался нарушить эту клятву ни теперь, ни послѣ.

Игрокъ нерѣшительно остановился передъ дверью хижины; его взяло сомнѣніе. При свѣтѣ свѣчи онъ увидѣлъ, что хижина довольно уютна и въ ней нѣтъ никого; пока хозяинъ хижины приготовлялъ кофе, онъ поспѣшно свернулъ папиросу и закурилъ. Онъ съ наслажденіемъ улегся на скамью, глубоко затягиваясь ароматнымъ дымомъ и внимательно взглядываясь въ лицо Ури. Это было сильное, мужественное лицо; его бороздили глубокія морщины, похожія на шрамы, и жесткія черты его не были смягчены какими-бы-то ни было признаками сочувствія, состраданія или

хоть юмора. Подъ густыми, длинными бровями холодно сверкали сѣрые глаза. Подъ выдающимися скулами, виднѣлись глубокія впадины щекъ. Широкій подбородокъ и массивная челюсть указывали на упрямство, а, судя по узкому лбу, упрямство это могло доходить до абсолютной безжалостности. Все было жестоко на этомъ лицѣ—и носъ, и губы, и рѣзкія линіи вокругъ рта; этому вполнѣ соответствовалъ и голосъ. Человѣкъ съ такимъ лицомъ много думаетъ про себя и никогда не обращается ни къ кому за совѣтомъ; онъ можетъ ночью бороться съ ангелами, но на другой день никто этого не узнаетъ. Это былъ характеръ узкій, но глубокій, и Ля Перлу, человѣку широкому, но поверхностному, онъ былъ непонятенъ. Онъ понималъ бы его, если бы Ури пѣлъ, когда ему весело и вздыхалъ, когда ему тяжело; но такое каменное лицо представляло для него совершенно закрытую книгу.

— Ну, а теперь помогите мнѣ,—приказалъ Ури послѣ того, какъ они напились кофе.—Надо приготовить чтобы встрѣтить гостей.

Ля Перль быстро понялъ его намѣреніе и охотно помогать ему. Койка находилась въ углу. Она состояла изъ толстыхъ бревенъ, не одинаковой длины, положенныхъ на козла и покрытыхъ мхомъ. Ури сбросилъ на полъ мохъ и снялъ три бревна, лежавшихъ ближе къ стѣнѣ; отпиливъ концы, онъ прикрѣпилъ ихъ къ козламъ, какъ они были раньше. Въ полученное отверстіе койки положили рядъ мѣшковъ съ мукою, покрыли ихъ мхомъ и одѣялами. Ля Перль могъ спокойно лежать на нихъ и, если затѣмъ покрыть всю койку одѣяломъ, то никто не могъ бы догадаться, что на ней кто-нибудь лежитъ.

Въ теченіе слѣдующихъ недѣль каждая хижина, каждая палатка въ Номѣ нѣсколько разъ подвергалась обыску: приходили и къ Ури, но ни разу никто не заподозрилъ присутствіе здѣсь Ля Перля. Собственно хижина Ури Брама находилась внѣ всякихъ подозрѣній, такъ какъ невозможно было бы предположить, что убійца Джона Рандольфа могъ укрыться въ ней. Такимъ образомъ Ля Перль свободно ходилъ по хижинѣ, куря съ утра до вечера безчисленное количество папиросъ. Хотя по своему легкомысленному характеру онъ любилъ веселье, любилъ болтать и смѣяться, все же онъ легко приспособился къ угрюмому молчанію своего сожителя. Говорили они только о планахъ преслѣдователей, о состояніи дороги, о цѣнѣ на собакъ. Да и объ этомъ говорили только чрезвычайно рѣдко и чрезвычайно кратко. Но Ля Перль придумалъ какую-то карточную «систему»; онъ по цѣлымъ днямъ только и дѣлалъ, что тасовалъ карты и сдавалъ, затѣмъ опять тасовалъ и сдавалъ, вни-

мательно изучалъ, какъ карты комбинировались въ длинныхъ колоннахъ, затѣмъ снова тасовалъ и снова сдавалъ. Въ концѣ концовъ, однако, это занятіе надоѣло ему и, облокотившись на столъ, онъ сталъ представлять себѣ, что дѣлается теперь въ веселыхъ пивныхъ Нома, гдѣ крупно работаютъ въ нѣсколько смѣнъ и двадцать четыре часа въ сутки безостановочно прыгаетъ шарикъ рулетки. Въ такія минуты сознаніе своего одиночества и полного раззоренія дѣйствовало на него совершенно ошеломляющимъ образомъ, и онъ по цѣлымъ часамъ сидѣлъ не двигаясь, съ остановившимися глазами. Иногда, впрочемъ, горечь прорывалась наружу, и онъ долго, страстно, захлебывающе бранился.

— Ну и жизнь!—повторялъ онъ безъ конца.—Мнѣ не разу ни на минуту не везло. Меня надули въ самый моментъ моего рожденія; уже тогда меня стали кормить не настоящимъ молокомъ. Очевидно, когда мать меня зачала, у нея не было на рукахъ ни одного козыря, и я родился только для того, чтобы доказать, что она проиграла. Я не былъ въ этомъ виноватъ и она не имѣла никакого права смотрѣть на меня какъ на никуда негодную двойку; а она такъ именно и смотрѣла на меня. Почему она не занялась мною, почему за нею и весь міръ отвернулся отъ меня? Почему я остался безъ гроша въ Сьетлѣ? Почему я пріѣхалъ въ Номъ и сталъ жить здѣсь, какъ свинья? Зачѣмъ я зашелъ въ тотъ вечеръ въ Эльдорадо? Вѣдь я шелъ къ Питу за спичками. Почему мнѣ понадобились спички? Почему мнѣ захотѣлось курить? Видите, все сошлось такъ, чтобы мнѣ проиграть... Вѣроятно, все это было предрѣшено еще до моего рожденія. Я готовъ дать голову на отсѣченіе, что мнѣ и дальше не будетъ никогда вести. Вы теперь понимаете, почему Джонъ Рандольфъ сразу закричалъ, что игра неправильна? Будь онъ проклятъ! Такъ ему и надо! Зачѣмъ онъ не придержалъ языкъ и не далъ мнѣ возможности хоть разъ выиграть? Вѣдь онъ отлично зналъ, что я проигрался въ доскъ. Почему же онъ не поддержалъ меня? Почему, а? Почему?...

Ля Перль такъ и катался по полу, тщетно вопрошая судьбу. Ури при этихъ вспышкахъ молчалъ и сохранялъ самый невозмутимый видъ. Только сѣрые глаза его словно тускнѣли, какъ будто ему дѣлалось скучно. Между этими двумя людьми въ сущности не было рѣшительно ничего общаго, и Ля Перль иногда съ изумленіемъ спрашивалъ себя, что могло побудить Ури взять его подъ свое покровительство?

Однако, ожиданіе близилось къ концу. Жажда крови въ аляскинскомъ поселкѣ не можетъ устоять передъ жаждой золота. Убійство Джона Рандольфа было занесено въ лѣтописи поселка и

дѣло съ концомъ. Конечно, если бы убійца появился гдѣ-нибудь, золотоискатели на минуту оставили бы всѣ свои дѣла, чтобы воздать ему должное; но вопросъ о томъ, куда скрылся Ля Перль уже не представлялъ для нихъ всепоглащающаго интереса. За это время успѣли открыть и разработать нѣсколько новыхъ розсыпей и какъ только море очистится отъ льда, тѣ, у которыхъ имѣлось достаточно золотого песка, поѣдутъ на югъ, гдѣ всевозможныя жизненныя блага продаются по баснословно дешевымъ цѣнамъ...

Въ одну прекрасную ночь Ля Перль помогъ Ури Брамму уложить сани и запереть собакъ, и они отправились по льду къ югу. Однако, къ востоку отъ Св. Михаила, они свернули съ берега моря въ глубь страны, перешли переваль и попали на Юконъ, въ нѣсколькихъ сотняхъ миль отъ его устья. Отсюда они отправились на сѣверо-востокъ черезъ Койокукъ, Танану и Минукъ, миновали Фортъ Юконъ, нѣсколько разъ переходили полярный кругъ и отсюда снова направились къ югу черезъ снѣговья пустыни. Путь былъ чрезвычайно труденъ, но Ури сказалъ Ля Перлу, что въ Иглѣ у него идетъ работа на нѣсколькихъ участкахъ, въ противномъ случаѣ его готовность отправиться въ такое далекое и тяжелое путешествіе повергла бы Ля Перла въ глубокое изумленіе. Иглъ лежитъ почти на самой границѣ, и въ нѣсколькихъ миляхъ отъ него, въ Фортѣ Куделѣ развѣвается британскій флагъ. Они прошли Даусонъ, Пелли, нѣсколько мелкихъ фортовъ и дошли до Домъ.

Послѣ того, какъ Иглъ остался позади, они, по обыкновенію, переночевали на снѣгу и утромъ встали раньше обыкновеннаго. Сегодня имъ предстояло проститься другъ съ другомъ. Ля Перль чувствовалъ радостное возбужденіе. Въ природѣ уже ощущалась близость весны и дни дѣлались все длиннѣе. До канадской территоріи было рукой подать—тамъ ждала его свобода, безопасность, теплота. Скоро онъ будетъ въ томъ Великомъ Внѣшнемъ Мирѣ, который въ Аляскѣ представляется столь далекимъ и прекраснымъ..... Приготовляя завтракъ, пока Ури укладывалъ сани и запрягалъ, онъ, то посвистывалъ, то напѣвалъ. Но когда все было готово и Ля Перль нетерпѣливо топтался около саней, стремясь поскорѣй уйти отсюда, Ури спокойно подкатилъ къ костру небольшое бревно и сѣлъ.

— Вы когда-нибудь слышали о Тропинкѣ Мертвой Лошади?

Онъ задумчиво взглянулъ на товарища; Ля Перль съ досадою тряхнулъ головой—малѣйшая задержка раздражала его.

— На ней иногда случаются такія встрѣчи, что ихъ потомъ никогда не забыть,—продолжалъ Ури тихимъ, медленнымъ голосомъ;—такая встрѣча была у меня на Тропинкѣ Мертвой Лошади.

Это названіе дали ей не даромъ; въ 97-мъ году трудность перетащить инструменты и припасы черезъ Бѣлый Переваль сломила многихъ, даже сильныхъ людей, разбила много надеждъ. Лошади умирали, какъ умираютъ комары при первомъ морозѣ, и вся дорога отъ Скагуэй до Бенета была покрыта ихъ трупами. Они сами умирали на подъемѣ и на верхушкѣ перевала, а немногіе уцѣлѣвшіе умирали отъ голода внизу, на озерахъ. На дорогѣ онѣ падали одна за другой; на рѣкахъ онѣ тонули вмѣстѣ съ поклажей или ихъ уносило теченіемъ и разбивало о камни; то—и дѣло лошади ломали ноги въ щелинахъ скаль, ломали себѣ хребты, падая въ пропасти; въ болотахъ онѣ постепенно-постепенно погружались и тонули. Люди заставляли ихъ работать, пока онѣ держались на ногахъ, затѣмъ пристрѣливали ихъ и отправлялись обратно къ морю, чтобы купить новыхъ лошадей. Нѣкоторые даже не давали себѣ труда пристрѣлить ихъ и, когда онѣ падали—просто снимали съ нихъ вьючныя сѣдла и подковы и бросали на произволь судьбы. Сердца людей на Тропинкѣ Мертвой Лошади или разбивались, или ожесточались, дѣлались каменными, звѣриными...

— Мнѣ пришлось быть тамъ, и тамъ я встрѣтилъ человѣка съ сердцемъ и терпѣніемъ Христа. Это былъ человѣкъ честный и гуманный. Остановливаясь въ полдень отдыхать, онъ снималъ съ лошадей поклажу, чтобы и онѣ могли также отдохнуть. Онъ, не задумываясь, платилъ пятьдесятъ долларовъ и даже больше, за сто фунтовъ сѣна. Когда сѣдло натирало имъ раны, онъ покрывалъ имъ спины своими собственными одѣялами—другіе не обращали никакого вниманія на эти раны, какъ-бы онѣ не были велики и глубоки. Когда подковы стирались, другіе предоставляли лошадямъ стирать копыта до крови—онъ же свой послѣдній долларъ потратилъ на гвозди для подковъ. Мнѣ это хорошо извѣстно, потому что мы съ нимъ спали на одной постели и ѣли изъ одного котла, мы поддерживали другъ друга, какъ братья въ то время, какъ другіе въ изнеможеніи падали вокругъ насъ и умирали съ проклятіемъ на устахъ. Какъ-бы онъ ни чувствовалъ себя усталымъ, онъ никогда не лѣнился отпустить слишкомъ тугой ремень, державшій сѣдло, или вообще облегчить лошадь; и когда онъ глядѣлъ на тотъ ужасъ, что совершался вокругъ насъ, у него не разъ навертывались слезы на глаза. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ несчастнымъ лошадямъ приходилось становиться на дыбы, чтобы, какъ кошкамъ, вскакивать на отвѣсныя стѣны, тѣла несчастныхъ животныхъ, которымъ не удался прыжокъ, валялись грудями; въ такихъ мѣстахъ, несмотря на невыносимое зловоніе, онъ останавливался, чтобы помочь лошадямъ бодрымъ возгласомъ и поддержать ихъ руками въ критическую минуту. Когда какая-нибудь

лошадь падала на дорогѣ, онъ останавливалъ весь караванъ, пока ее не удавалось снова поставить на ноги. Напирать на него въ такую минуту, трбовать чтобы онъ бросилъ павшую лошадь на край дороги, чтобы очистить путь для другихъ, было бы опасно.

— Въ концѣ пути челоѡкъ, погубившій уже сполсотни лошадей, предлагалъ купить нашихъ лошадей; онъ давалъ намъ пять тысячъ долларовъ, а у насъ не было ни гроша. Мы вспомнили убійственную трудность перевала, вспомнили ядовитыя травы, которыми другіе кормили своихъ лошадей, чтобы не тратиться на сѣно, и молча глядѣли на нашихъ лошадей. Затѣмъ челоѡкъ, который былъ для меня дороже брата, отдѣлилъ моихъ лошадей отъ своихъ и молча взглянулъ на меня. Мы поняли другъ друга. Онъ погналъ своихъ лошадей въ одну сторону, я своихъ—въ другую; онъ застрѣлил изъ винтовки своихъ, а я своихъ, а тотъ, кто погубилъ уже полсотню лошадей, въ безсильномъ гнѣвѣ слѣдилъ за нами, ругаясь пока хрипота не заставила его остановиться. Но тотъ, съ которымъ я дѣлилъ всѣ невѣроятныя трудности перехода черезъ переваль...

— Да вѣдь это былъ Джонъ Рандольфъ!—вскликнулъ Ля Перлъ, слушавшій этотъ разсказъ съ насмѣшливой улыбкой.

Ури кивнулъ головою, лаконически замѣтивъ:

— Я радъ, что вы понимаете.

— Я готовъ,—сказалъ Ля Перлъ, и на его лицѣ появилось выраженіе горечи и усталости.—Дѣлайте, что рѣшили... только поскорѣе.

Ури Брамъ поднялся съ мѣста.—Я всю свою жизнь вѣрилъ въ Бога. Я и теперь вѣрю, что онъ справедливъ. Я увѣренъ, что теперь онъ глядитъ сверху на насъ и выбираетъ, кто изъ насъ долженъ остаться. Я увѣренъ, что онъ хочетъ, чтобы воля его свершилась моею рукою. Я до такой степени убѣжденъ въ этомъ, что я не боюсь поставить васъ въ одинаковыя съ собою условія и предоставить ему свершить свой судъ...

Сердце Ля Перла сильно забилося при этихъ словахъ. Онъ не зналъ, какъ думалъ Богъ, въ котораго вѣрилъ Ури, однако, самъ онъ вѣрилъ въ судьбу, и судьба была къ нему милостива съ той самой ночи, когда онъ преслѣдуемымъ звѣремъ носился по снѣговой пустынь.—Но вѣдь у насъ только одинъ револьверъ!—возразилъ онъ.

— Мы будемъ стрѣлять по очереди,—отвѣчалъ Ури, внимательно разглядывая револьверъ.

— А кому стрѣлять первому, пусть рѣшатъ карты! Сдавать по семи картъ!...

Вся кровь азартнаго игрока заиграла въ его жилахъ, когда онъ доставалъ изъ кармана карты. Теперь-то счастье навѣрное не покинетъ его! Онъ весь затрепеталъ, когда оказалось, что ему приходится сдавать. Онъ стасовалъ, сдалъ, козырями оказались пики. Оба одновременно раскрыли карты, у Ури не было ни одного козыря, а у Ля Перла былъ козырный тузъ и двойка. Великій Внѣшній мѣръ казался ему теперь совсѣмъ близкимъ. Они стали въ пятидесяти шагахъ другъ отъ друга.

— Если Богъ мнѣ не поможетъ и вы меня убьете, то берите собакъ и сани съ поклажей. Вы найдете въ моемъ карманѣ готовую, запродажную записку,—сказалъ Ури, стоя передъ направленнымъ въ него дуломъ.

Ля Перль сталъ внимательно цѣлиться. Онъ дважды изъ осторожности опускалъ револьверъ, потому что слабый вѣтерокъ зашелестилъ въ верхушкахъ сосенъ. Наконецъ, онъ всталъ на одно колѣно, крѣпко, обѣими руками наставилъ револьверъ и выстрѣлилъ, Ури отшатнулся, разставилъ руки, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, едва удерживаясь на ногахъ и упалъ на снѣгъ. Но Ля Перль понялъ, что онъ попалъ ему въ бокъ, иначе раненый не покачнулся бы.

Когда Ури изъ послѣднихъ силъ нѣсколько приподнялся и протянулъ руку за револьверомъ, Ля Перль хотѣлъ было выстрѣлить снова. Но онъ отбросилъ отъ себя эту мысль. Онъ подумалъ, что до сихъ поръ судьба помогала ему и что если теперь онъ станетъ играть ею, то впослѣдствіи за это придется расплатиться. Нѣтъ, надо играть честно до конца. Къ тому же Ури тяжело раненъ и едва ли у него хватитъ силъ, чтобы поднять тяжелый кольтовскій револьверъ.

— Ну, гдѣ же теперь вашъ Богъ?—насмѣшливо спросилъ онъ, подходя и передавая ему револьверъ.

— Богъ еще не заговорилъ,—спокойно отвѣчалъ Ури.—Готовьтесь услышать его голосъ!

Ля Перль сталъ у барьера, но не прямо всей грудью къ своему противнику, а бокомъ, чтобы поверхность для прицѣла была какъ можно меньше. Ури стоялъ на ногахъ, покачиваясь какъ пьяный, но и онъ выждалъ, чтобы наступилъ тихій моментъ между двумя порывами вѣтра. Револьверъ былъ очень тяжелъ и онъ тоже сомнѣвался въ томъ, чтобы ему удалось поднять его и прицѣлиться. Поэтому онъ поднялъ его надъ головою, вытянулъ руку и затѣмъ сталъ медленно опускать вытянутую руку. Въ тотъ мигъ, когда грудь Ля

Перла очутилась передъ мушкой, онъ спустиль курока. Ля Перль не зашатался, но яркое видѣніе веселаго Санъ-Франциско быстро потускнѣло и исчезло, бѣлый снѣгъ, ярко отражавшій солнечный свѣтъ, сталъ быстро чернѣть и игрокъ успѣлъ только въ послѣдній разъ проклясть судьбу, которая, въ критическую минуту, снова покинула его...

ЧЕЛОВѢКЪ СЪ ШРАМОМЪ.

Джэкобъ Кентъ всю жизнь болѣлъ жадностью. Результатомъ жадности было хроническое чувство недовѣрія, положившаго на его характеръ и отношеніе къ людямъ такой глубокой отпечатокъ, что съ нимъ было чрезвычайно непріятно имѣть дѣло. Страдалъ онъ такъ же склонностью къ галлюцинаціямъ и необычайнымъ упрямствомъ. Онъ съ юныхъ лѣтъ работалъ на фабрикѣ въ качествѣ ткача, пока открытіе въ Клондайкѣ не заразило и его золотою лихорадкою и не оторвало его отъ станка.

Его хижина стояла какъ разъ на срединѣ дороги между постомъ Шестидесять Миль и рѣкою Стюартъ, и тѣ, которымъ приходилось проѣзжать этою дорогою въ Даусонъ, называли его рыцаремъ большой дороги, сидящимъ въ своемъ первобытномъ замкѣ и взимающихъ дань съ проѣзжающихъ. Однако, для такого сравненія требовалась наличность нѣкоторыхъ историческихъ познаній, которыми далеко не всѣ проѣзжающіе обладали, поэтому большинство изъ нихъ опредѣляли его нѣсколькими болѣе простыми, но весьма выразительными прилагательными.

Надо сказать, однако, что домъ, въ которомъ онъ жилъ, вовсе не принадлежалъ ему; онъ былъ построенъ нѣсколько лѣтъ назадъ двумя золотоискателями, которымъ удалось купить причалившій къ берегу плотъ. Оба были очень гостепріимны и даже послѣ того, какъ они этотъ домъ бросили, проѣзжающіе, по привычкѣ, рассчитывали на него для ночевки. Для нихъ это было чрезвычайно удобно, такъ какъ это избавляло ихъ отъ необходимости раскладываться на бивуакѣ. Неписанный законъ требовалъ, чтобы всѣ передъ уходомъ оставляли у очага большую охапку дровъ; такимъ образомъ усталый путникъ всегда находилъ здѣсь готовыя дрова, и рѣдкую ночь въ домикѣ не ночевало человѣкъ пять-шесть. Джэкобу Кенту все это было извѣстно, и въ одинъ прекрасный день онъ, по праву захвата, поселился въ этомъ домикѣ.

Съ этихъ поръ усталые путники принуждены были платить по доллару за право спать на голомъ полу, причемъ Джэкобъ Кентъ

самъ отвѣшиваль золотой песокъ и обязательно прибавляль себѣ нѣсколько лишнихъ зернышекъ. Кромѣ того, онъ умѣль заставить своихъ гостей и рубить для него дрова, и таскать воду. Это уже былъ чистѣйшій разбой; но посѣтители его были народъ добродушный и, хотя въ душѣ терпѣть его не могли, все же давали ему возможность благополучно богатѣть плодами своего грабежа.

Какъ-то въ апрѣлѣ онъ сидѣль послѣ полудня передъ дверью своей хижины—ни дать ни взять хищный паукъ, поджидающій свою добычу—съ наслажденіемъ грѣясь на весеннемъ солнцѣ и то и дѣло поглядывая на дорогу, не появятся ли мухи? Юконъ ледянымъ моремъ лежалъ у его ногъ, исчезая на сѣверѣ и на югѣ за двумя большими поворотами; отъ берега до берега было по меньшей мѣрѣ двѣ мили. По его неровной груди и по взгромоздившимся на ней льдинамъ проходила дорога—узкая впадина въ снѣгу, въ восемнадцать дюймовъ шириною и длиною въ двѣ тысячи миль, каждая пядь которой слышала больше проклятій, чѣмъ любая другая дорога въ христіанскомъ мѣрѣ.

Джэкобъ Кентъ чувствовалъ себя сегодня особенно въ духѣ. Вчера онъ побилъ всѣ рекорды и у него переночевало цѣлыхъ двадцать восемь человѣкъ! Разумѣется, было не совсѣмъ удобно и четыре человѣка всю ночь храпѣли подъ самой его кроватью; зато мѣшочекъ, въ которомъ онъ храниль золотой песокъ, весьма замѣтно тяжелѣль.

Этотъ мѣшочекъ съ желтымъ сокровищемъ былъ въ одно и то же время радостью и главнымъ мученіемъ его жизни. Въ немъ помѣщался и рай, и адъ. Такъ какъ вся хижина состояла изъ одной только комнаты, то онъ постоянно мучился страхомъ, что его могутъ украсть. Что стоило бы этимъ бородатымъ, свирѣпымъ людямъ?! Ему часто снилось, что его грабятъ и онъ просыпался отъ этого страшнаго кошмара. Нѣкоторые изъ этихъ разбойниковъ особенно часто преслѣдовали его во снѣ и онъ ихъ прекрасно зналь, въ особенности одного изъ нихъ съ бронзовымъ лицомъ и съ большимъ шрамомъ на правой щекѣ. Это былъ самый упорный изъ всѣхъ, и именно изъ-за него ему пришлось устроить нѣсколько десятковъ тайниковъ, какъ въ хижинѣ, такъ и вокругъ нея. Хорошенько спрятавъ свое сокровище, онъ затѣмъ успокаивался, иногда даже на нѣсколько ночей, но затѣмъ вдругъ застигалъ Человѣка съ Шрамомъ въ моментъ похищенія драгоценнаго мѣшочка... Онъ просыпался въ борьбѣ и тотчасъ же вскакивалъ съ постели, чтобы спрятать мѣшочекъ въ еще болѣе укромное мѣсто.

Въ сущности, эти кошмары не особенно сильно мучили его непосредственно; но онъ вѣрилъ въ примѣты, въ передачу мысли на

разстояніи, и ему казалось, что его кошмары являются показаніями того, что преступники, гдѣ-бы они въ эту минуту ни находились, дѣйствительно думаютъ о томъ, чтобы его ограбить.

Онъ съ каждымъ днемъ все больше и больше эксплуатировалъ несчастныхъ, переходившихъ порогъ его хижины, и, съ каждой новой унціей золота, попадавшей въ его мѣшочекъ, пропорціонально усиливались его мучительные страхи.

Когда онъ спокойно грѣлся на солнцѣ, у него вдругъ явилась мысль, заставившая его вскочить съ мѣста, словно его что-то ужалило. Единственное наслажденіе его жизни заключалось въ томъ, что онъ безпрепятственно свѣшивалъ свое сокровище; однако, въ послѣднее время это занятіе было омрачено тѣмъ, что вѣсы его были слишкомъ невелики. На нихъ можно было одновременно свѣшать полтора фунта, восемнадцать унцій, тогда какъ его сокровище достигало уже около пяти фунтовъ вѣса. Ему еще ни разу не удавалось свѣшать его однимъ пріемомъ и потому онъ считалъ, что въ его жизни имѣется большой пробѣлъ, что въ ней недостаетъ одного большого наслажденія. Это отравляло у него половину радости, почти совершенно умаляло сладость чувства обладанія. А теперь онъ вскочилъ на ноги потому, что совершенно неожиданно нашелъ разрѣшеніе вопроса. Онъ внимательно оглядѣлъ дорогу вверхъ и внизъ по теченію—на ней не было видно ни души, и затѣмъ спокойно вошелъ въ хижину.

Въ нѣсколько мгновеній онъ очистилъ столъ и поставилъ на него вѣсы. На одну чашку онъ положилъ пятнадцать унцій гирями, на другую столько же золотого песку; замѣнилъ гири также пескомъ и на чашкахъ вѣсовъ оказалось ровно тридцать унцій; онъ пересыпалъ песокъ изъ одной чашки въ другую и въ пустую чашку насыпалъ песку изъ мѣшочка. Теперь у него не оставалось больше золота въ мѣшочкѣ, но онъ весь дрожалъ отъ экстаза и лобъ его покрылся испариной. Онъ основательно встряхнулъ мѣшочекъ—высыпалось еще нѣсколько зернышекъ перетянувшись одну чашку вѣсовъ. Онъ откинулся на спинку стула, съ восторгомъ глядя на вѣсы, чувствуя, что теперь онъ будетъ имѣть возможность свѣшивать какое угодно количество золота. Мамонъ горячими пальцами схватилъ его сердце. Лучъ солнца проникнулъ въ отворенную дверь, сверкнувъ по золотому песку. Драгоценныя горочки мягко блестѣли, какъ груди бронзовой Клеопатры. Времени и мѣста больше не существовало.

— Чортъ возьми! Однако, у васъ его не мало!

Джэкобъ Кентъ мигомъ обернулся и рука его инстинктивно потянулась къ лежавшей на столѣ двухстволкѣ. Но какъ только онъ

увидѣлъ лицо неожиданнаго гостя, онъ весь похолодѣлъ и отшатнулся. Это былъ Человѣкъ съ Шрамомъ.

Тотъ съ любопытствомъ поглядѣлъ на него.

— Любезный, не бойтесь,—проговорилъ онъ, пожимая плечами,—очень нужны мнѣ вы или вашъ проклятый песокъ!

— А вы кажется больны!—глубокомысленно прибавилъ онъ, замѣтивъ, что у Кента дрожать колѣни и лобъ покрылся испариной.

— Отчего вы не говорите?—продолжалъ онъ, такъ какъ Кентъ, задыхаясь, ни могъ выговорить ни слова.—Въ чемъ дѣло? что съ вами случилось?

— О... от... куда... это у васъ?—проговорилъ, наконецъ, Кентъ, указывая дрожащимъ пальцемъ на шрамъ, пересѣкавшій щеку незнакомца.

— Товарищъ матросъ сбросилъ меня съ реи. А теперь, когда вы какъ будто вернули себѣ компасъ, то я васъ спрошу, какое вамъ до этого дѣло? А? Вамъ то что? Чортъ возьми! Что, вамъ самому больно отъ этого шрама, что-ли? Или онъ вамъ не нравится? Ну говорите, же чортъ, возьми!

— Нѣтъ, нѣтъ!—отвѣчалъ Кентъ съ болѣзненной улыбкой опускаясь на стулъ,—я просто такъ себѣ спросилъ...

— А вамъ развѣ уже приходилось видѣть такой шрамъ?

— Нѣтъ!

— Вамъ не кажется, что онъ замѣчательно красивый?

— Красивъ,—желая польстить незнакомцу, Кентъ согласился и кивнулъ головою, и разразившаяся затѣмъ буря была для него совершенно неожиданна.

— Ахъ, болванъ! Ахъ! дуракъ, Ахъ, сынъ палубной швабры! Какъ вы смѣете говорить, что это красиво, когда на самомъ дѣлѣ болѣе гнусной шутки не могло бы быть на лицѣ у человѣка. Ахъ вы...

Свирѣпый сынъ моря разразился длинной цѣпью отборнѣйшихъ ругательствъ, въ которой все смѣшалось—и всевозможные боги, и діаволы, и генеологія, и всевозможные родственники, и всевозможныя метафоры. Джэкобъ Кентъ слушалъ его словно въ столбнякѣ. Отшатнувшись отъ него, онъ вытянулъ впередъ руки, словно отталкивая отъ себя нѣчто физическое. У него былъ до такой степени испуганный видъ, что незнакомецъ внезапно остановился на срединѣ пышнѣйшаго ругательства и разразился дикимъ хохотомъ.

— Дорога совсѣмъ испортилась,—говорилъ Человѣкъ съ Шрамомъ, въ промежуткахъ между взрывами хохота;—надѣюсь, что вы рады моему приходу? Ну, живѣй, затапливайте печку... Не жалѣйте дровъ, если не хватитъ этихъ, то нарубите еще; а я пойду распрягать

собакъ. Кстати, принесите ведро воды, да поскорѣе, иначе я вамъ покажу!

Это было неслыханно. Джэкобъ Кентъ самъ растапливалъ печку, рубилъ дрова, таскалъ воду—вообще работаль для гостя! Когда Джимъ Кардеги уѣзжалъ изъ Даусона, онъ уже былъ основательно настроенъ противъ этого шейлока; жертвы, встрѣчавшіяся ему по дорогѣ, все больше и больше разжигали его гнѣвъ. И Джимъ, со свойственной морякамъ любовью къ шуткамъ, рѣшилъ во что-бы то ни стало заставить этого разбойника сбавить тонъ. Оказалось, что это удалось ему гораздо легче, чѣмъ онъ ожидалъ; правда, онъ и не подозрѣвалъ какую роль при этомъ сыгралъ его шрамъ. Однако, онъ ясно видѣлъ, что Кентъ чувствуетъ къ нему настоящій ужасъ, и онъ рѣшилъ воспользоваться этимъ, благопріятнымъ для него настроеніемъ, во всю.

— Клянусь Богомъ, вы отличный работникъ!—проговорилъ онъ съ восхищеніемъ, склонивъ голову на плечо и наблюдая, какъ старается его хозяинъ.—Вамъ не слѣдовало бы даже пытаться стать золотоискателемъ, вы прямо созданы для того, чтобы быть трактирщикомъ. Я слышался о васъ не мало, но я никогда не предполагалъ, что вы до такой степени заботитесь о своихъ гостяхъ.

Джэкобъ Кентъ чувствовалъ стратстное желаніе пустить въ него зарядъ изъ двухстволки, и непременно сдѣлалъ бы это, если бы страшный шрамъ не производилъ на него такого магическаго впечатлѣнія. Вѣдь это былъ настоящій Человѣкъ съ Шрамомъ—тотъ самый, который такъ часто грабилъ его во снѣ! Это было олицетвореніе того существа, котораго онъ видѣлъ въ невѣсомой, астральной формѣ въ своихъ кошмарахъ; этотъ человѣкъ несомнѣнно много разъ уже мечталъ отнять у него сокровище, слѣдовательно теперь онъ явился для того, чтобы ограбить его. Ахъ этотъ шрамъ! Не глядѣть на него было такъ же трудно, какъ пытаться остановить бѣненіе собственнаго сердца. Какъ онъ ни старался отводить глаза, но они постоянно снова обращались къ этому шраму, какъ стрѣлка компаса непреодолимо тянется къ сѣверу.

— Чего вы уставились? Развѣ онъ вамъ мѣшаетъ?—Вдругъ закричалъ Джимъ Кардеги, выпрямляясь (онъ въ это время стлалъ постель),—У васъ такой жалкій видъ, что я бы вамъ посовѣтовалъ поскорѣе спустить паруса, потушить огни и лечь спать. Ложитесь, слышите, а не то я васъ уложу!

Кентъ дрожалъ до такой степени, что ему пришлось три раза дунуть въ лампу, чтобы потушить ее; затѣмъ онъ улегся подъ одѣяло, не снявъ даже мокасинъ. Вскорѣ матросъ, лежавшій въ углу, захрапѣлъ на всю хижину, но Кентъ лежалъ съ широко-от-

крытыми глазами, съ двустволкой въ рукахъ, рѣшившись не спать всю ночь. Ему не удалось припрятать свои пять фунтовъ золота и они лежали у его изголовья въ коробкѣ съ зарядами.

Однако, какъ онъ ни старался бодрствовать, онъ въ концѣ концовъ всетаки заснулъ. Если бы этого не случилось, то демонъ лунатиковъ оставилъ бы его въ покоѣ и Джимъ Кардеги на другое утро не занимался бы промывкой золота у самой его хижины...

Огонь въ печкѣ мало-по-малу потухалъ и, наконецъ, потухъ; морозъ проникъ черезъ щели, кое-какъ законопаченная мхомъ, и въ хижинѣ стало чрезвычайно свѣжо. Собаки перестали выть на дворѣ и, свернувшись калачиками, мечтали о собачьемъ раѣ, гдѣ имѣются большіе запасы вяленой лососины и гдѣ совсѣмъ нѣтъ погонщиковъ и тому подобныхъ людей. Матросъ спалъ крѣпко, какъ бревно, а хозяинъ дома метался на своей постели въ кошмарахъ. Около полуночи онъ вдругъ сбросилъ съ себя одѣяло и всталъ. Удивительно, что онъ затѣмъ такъ много успѣлъ сдѣлать въ полномъ мракѣ, даже не зажигая, спички. Онъ держалъ глаза закрытыми, вѣроятно, потому, что все равно было темно, какъ въ могилѣ, а можетъ быть и потому, что боялся увидѣть страшный шрамъ, красовавшійся на щекѣ гостя... Какъ бы то ни было а онъ, не открывая глазъ, открылъ коробку съ зарядами, насыпалъ что-то въ свою двустволку, забивъ зарядъ двойными пыжами, затѣмъ чисто прибралъ все въ коробку и снова улегся въ постель.

Какъ только разсвѣтъ сѣро-стальными морозными пальцами сталъ сжимать натянутое пергаментомъ окно, Джэкобъ Кентъ проснулся. Повернувшись на локоть онъ открылъ крышку, зарядной коробки. То, что онъ въ ней увидѣлъ, или можетъ быть то чего онъ въ ней не увидѣлъ, произвело необычайное впечатлѣніе на этого невротика. Онъ бросилъ быстрый взглядъ на спящаго матроса, тихонько спустил крышку и повернулся на спину. На его лицѣ изобразилось необычайное, каменное спокойствіе; ни одинъ мускулъ на немъ не шелохнулся. Онъ не выказалъ ни малѣйшихъ признаковъ возбужденія или смущенія. Лежалъ онъ очень долго, размышляя о чемъ-то, и, наконецъ, всталъ и сталъ приводить въ исполненіе свое рѣшеніе спокойно, безстрастно, безшумно, безъ малѣйшихъ слѣдовъ поспѣшности.

На деревянномъ столбѣ около того мѣста, гдѣ лежалъ Джимъ Кардеги, имѣлся крѣпкій гвоздь. Джэкобъ Кентъ безшумно перебросилъ черезъ него прочную веревку, концы которой свисали до самаго пола. Одинъ конецъ онъ обвязалъ вокругъ своей талии, а на другомъ сдѣлалъ петлю. Затѣмъ онъ поднялъ оба курка своей двустволки и поставилъ ее рядомъ съ собою. Собралъ всѣ свои

душевные силы, чтобы не испугаться шрама, онъ быстро набросилъ петлю на шею спящаго матроса и въ тотъ же мигъ, бросившись назадъ всей тяжестью своего тѣла, натянулъ веревку, схвативъ въ то же время ружье и направивъ его на матроса.

Джимъ Кардеги, задыхаясь, проснулся и съ изумленіемъ увидѣлъ передъ собою стальные стволы.

— Гдѣ оно?—спросилъ Кентъ нѣсколько ослабляя веревку.

— Чортъ васъ..... охъ.....

Кентъ только чуть-чуть бросился назадъ и этого было достаточно для того, чтобы его жертва тотчасъ же стала задыхаться.

— Чортовъ дур..... охъ.....

— Гдѣ оно?—повторилъ Кентъ.

— Что?—спросилъ Кардеги, когда тотъ далъ ему возможность снова вздохнуть.

— Золото, песокъ.

— Какой песокъ?—съ изумленіемъ спросилъ матросъ.

— Вы прекрасно знаете какой. Мой песокъ!

— Да я же его не видѣлъ. За что вы меня принимаете? За несгораемый шкафъ? Какое я имѣю отношеніе къ вашему золотому песку?

— Можетъ быть вы не знаете, гдѣ онъ, а можетъ быть и знаете; какъ-бы то ни было, а я подушу васъ, пока вы не вспомните. А если вы хоть пальцемъ двинете, то я вамъ разнесу голову.

— Будетъ тянуть!—закричалъ Кардеги, когда веревка снова затянулась вокругъ его шеи.

Кентъ нѣсколько ослабилъ веревку и матросъ повернулъ нѣсколько разъ шею будто для того, чтобы имѣть возможность говорить; но въ это время ему удалось подвинуть петлю такъ, что она находилась не на шеѣ, а на подбородкѣ.

— Ну,—спросилъ Кентъ, рассчитывая, что тотъ сдѣлаетъ полное признаніе.

— Ну, вѣшайте теперь, старый дуракъ!—насмѣшливо отвѣчалъ Кардеги.

Съ этой минуты, какъ матросъ предвидѣлъ, трагедія уступила мѣсто фарсу. Такъ какъ Кардеги былъ тяжелѣе, то Кентъ, бросаясь всѣмъ тѣломъ назадъ, не могъ поднять его отъ пола. Какъ онъ ни напрягался, а ноги матроса все касались пола и петля, приходясь на подбородкѣ, уже не душила его. Отказавшись отъ мысли повѣсить его Кентъ рѣшилъ медленно задушить его, если отъ только не признается, куда онъ спряталъ его сокровище. Но Человѣкъ съ Шрамомъ не давалъ душить себя. Прошло пять минутъ, затѣмъ де-

зять, затѣмъ пятнадцать и въ концѣ концовъ Кенту пришлось спустить свою жертву.

— Ну?—проговорилъ онъ,— вытирая потъ съ лица.—Если вы не дадите повѣсить себя, то придется васъ пристрѣлить.

— Ну, стрѣляйте; только во что тогда превратится вашъ полъ?...—Кардеги старался выгадать время.

— Послушайте, я вамъ скажу, что надо дѣлать. Прежде всего давайте обдумаемъ все это дѣло вмѣстѣ. Вы какимъ-то образомъ потеряли свой золотой песокъ; вы говорите, что я знаю гдѣ онъ, а я говорю, что не знаю. Давайте обсудимъ это хорошенько, а потомъ рѣшимъ какого курса держаться.

— Разговаривайте!... Я безъ васъ знаю какого курса держаться, а вы только наблюдайте; но только если вы двинетесь съ мѣста, я васъ уложу на мѣстѣ, какъ Богъ святъ!

— Ради моей матери....

— Помилуй ее Богъ, если она васъ только любитъ. Ахъ! Вы такъ-то!—онъ остановилъ угрожающее движеніе матроса тѣмъ, что прижалъ къ его лбу дуло двустволки.—Стойте спокойно! Если вы еще разъ пошевелинетесь, я выстрѣлю.

Не легко было работать одной рукою, а другою держать ружье съ пальцемъ на спускѣ; Но Кентъ былъ ткачемъ, и въ нѣсколько минутъ ему удалось туго связать матроса по рукамъ и ногамъ. Затѣмъ онъ выволокъ его наружу и положилъ его у стѣны хижины, откуда ему была видна рѣка и небо.

— Я вамъ даю время до полудня, а тамъ....

— А тамъ что?

— А тамъ я васъ отправлю на тотъ свѣтъ. Но если вы признаетесь, то я васъ буду держать, пока не явится дозоръ конной полиціи.

— Идетъ, чортъ возьми! Ну и положеніе!... Я чистъ какъ младенецъ, а вы какъ будто вовсе спятели съ ума, и, чего добраго, въ самомъ дѣлѣ можете отправить меня къ чорту въ зубы. Ахъ, вы старый разбойникъ! Ахъ вы.....

Джимъ Кардеги снова далъ полную волю своей изобрѣтательности и своему языку, побивъ при этомъ всѣ свои прежніе рекорды. Джэкобъ Кентъ вынесъ изъ хижины стулъ, чтобы слушать его съ полнымъ комфортомъ. Истощивъ всевозможныя комбинаціи своего богатаго лексикона, Джимъ Кардеги глубоко задумался, внимательно при этомъ слѣдя за высотой солнца надъ горизонтомъ—оно поднималось по небу съ совершенно ненужной поспѣшностью... Его собаки окружили его, изумляясь, что онѣ до сихъ поръ еще не въ упряжи. Его беспомощность, видимо, поражала ихъ. Онѣ чувство-

вали, что съ нимъ дѣлается что-то неладное, но не знали, что именно и сочувственно выли.

— Чукъ! Машъ! Машъ!—Крикнулъ онъ, чтобы разогнать ихъ, въ то же время стараясь достать хоть одну изъ нихъ своими связанными ногами. При этомъ движеніи онъ замѣтилъ, что лежитъ на хребтѣ небольшого возвышенія. Какъ только собаки разбѣжались, онъ сталъ рѣшать вопросъ—что это за возвышеніе, и нѣсколько минутъ спустя благополучно разрѣшилъ его. Человѣкъ по природѣ лѣнивъ. Онъ дѣлаетъ только то, что абсолютно необходимо. Когда онъ строить хижину, ему приходится засыпать крышу землей. Совершенно логично, что онъ не станетъ таскать землю издалека. Изъ этого слѣдуетъ, что онъ лежитъ на краю той ямы, изъ которой извлекли землю для покрытія хижины, которая теперь принадлежитъ Джэкобу Кенту. Это обстоятельство можетъ пригодиться, подумалъ онъ; затѣмъ онъ посвятилъ все свое вниманіе ремнямъ изъ оленьей кожи, которыми были скручены его руки и ноги. Его руки были связаны за его спиною и въ снѣгу сыромятные ремешки размокли. Онъ зналъ, что сырую кожу можно растянуть и постарался растянуть ее какъ можно больше.

Онъ жадно глядѣлъ на дорогу и, когда на ней, среди ледяныхъ глыбъ, наконецъ, появилась черная точка, онъ тревожно посмотрѣлъ на солнце. Оно находилось почти на зенитѣ. Черная точка, то появлялась, то исчезала, въ зависимости отъ неровности льда, но онъ не смѣлъ долго смотрѣть на нее, чтобы не возбудить подозрительность своего врага. Когда Джэкобъ Кентъ всталъ со стула и сталъ внимательно разглядывать дорогу, у Джима сердце замерло въ груди; къ счастью въ это время сани и собаки скрылись за бургомъ и снова показались только тогда, когда опасность миновала.

— Васъ за это непременно повѣсятъ,—заявилъ Кардеги, стараясь отвлечь вниманіе своего цербера:—и душа ваша на вѣки будетъ жариться въ аду.....

— Послушайте,—спросилъ онъ послѣ небольшой паузы,—вы вѣрите въ призраковъ?—Кентъ вздрогнулъ отъ страха и это показало Джиму, что онъ находится на правильномъ пути.—Вы знаете, что призракъ имѣетъ полное право преслѣдовать человѣка, который не исполняетъ своихъ обѣщаній? И вотъ выходитъ, что вы никакъ не можете застрѣлить меня до восьми склянокъ, то есть до полудня, а? Потому что въ противномъ случаѣ я непременно буду васъ преслѣдовать послѣ своей смерти. Убейте меня хоть на секунду, хоть на минуту раньше двѣнадцати часовъ и, какъ Богъ святъ, я буду вамъ являться...

Джэбокъ Кентъ недовѣрчиво посмотрѣлъ на него, но не сталъ говорить на эту тему.

— Гдѣ вашъ хронометръ? Какая здѣсь долгота? Откуда вы знаете, который теперь часъ?—Кардеги напрягалъ всѣ свои умственные силы чтобы выиграть хоть нѣсколько минутъ.—Гдѣ вы провѣряли свои часы, въ городѣ или въ фортѣ? Вы понимаете, что стоитъ вамъ украсть у меня хоть секунду, и вы погибли; я ужъ васъ не оставлю въ покоѣ я непременно буду къ вамъ являться... А откуда вы знаете какое теперь въ дѣйствительности время дня?

— Разговаривайте!—отвѣчалъ Кентъ.—Я васъ застрѣлю въ самое время; у меня есть солнечные часы.

— Это никуда не годится. Стрѣлка отклоняется на тридцать два градуса...

— Ничего, я ихъ свѣрилъ.

— Какъ же вы свѣрили, по компасу?

— Нѣтъ, по полярной звѣздѣ.

— Неужели?

— Да.

Кардеги тяжело вздохнулъ и украдкой посмотрѣлъ на дорогу. Сани въ это время спускались съ горки; они находились на разстояніи не больше одной мили, и собаки бѣжали галопомъ.

— Какое разстояніе остается между тѣмъ и чертою?

Кентъ подошелъ къ своимъ первобытнымъ часамъ и внимательно посмотрѣлъ на нихъ.

— Три дюйма!—заявилъ онъ.

— Вы хоть крикнете «восемь склянокъ», прежде чѣмъ выстрѣлить. Хорошо?

Кентъ согласился и они умолкли. Ремешки, связывавшіе руки Кардеги, уже значительно растянулись и онъ старался освободить свою руку.

— Послушайте, а теперь сколько остается пройти тѣни?

— Одинъ дюймъ.

Морякъ слегка покачнулся, чтобы быть увѣреннымъ, что въ нужный моментъ онъ покатится назадъ. Въ то же время онъ снялъ съ руки первый оборотъ ремня.

— А теперь сколько остается?

— Полдюйма.

Какъ разъ въ это мгновеніе Кентъ услышалъ скрипъ полозьевъ и посмотрѣлъ на дорогу. Погонщикъ лежалъ въ саняхъ и собаки неслись прямо на хижину. Кентъ быстро повернулся, поднялъ ружье и прицѣлился.

— Эй! Нѣтъ еще восьми склянокъ!—поспѣшно крикнулъ Кардеги.—Клянусь, что буду являться къ вамъ!

Джэкобъ Кентъ колебался. Онъ стоялъ около солнечныхъ часовъ въ какихъ-нибудь десяти шагахъ отъ своей жертвы. Путникъ, сидѣвшій въ саняхъ, должно быть замѣтилъ, что здѣсь происходитъ что-то необычайное, потому что онъ поднялся на колѣни и яростно хлесталъ собакъ бичемъ.

Тѣнь въ это время слилась съ чертою.

— Готовьтесь!—торжественно крикнулъ Кентъ.—Восемь ск...

Но Кардеги полетѣлъ въ яму только на долю секунды раньше времени. Кентъ не выстрѣлилъ, а сперва подбѣжалъ къ самому краю ямы. Бум! Ружье выстрѣлило передъ самымъ лицомъ матроса въ тотъ моментъ, когда онъ поднимался на ноги. Не только дымъ не показался изъ дула и, вмѣсто этого, изъ ствола у самага приклада вырвалось пламя и Джэкобъ Кентъ свалился на землю.

Собаки вскачь поднимались по крутому берегу рѣки и спутникъ соскочилъ съ саней, какъ разъ въ то время, когда Джимъ Кардеги, освободивъ свои руки, вылѣзалъ изъ ямы.

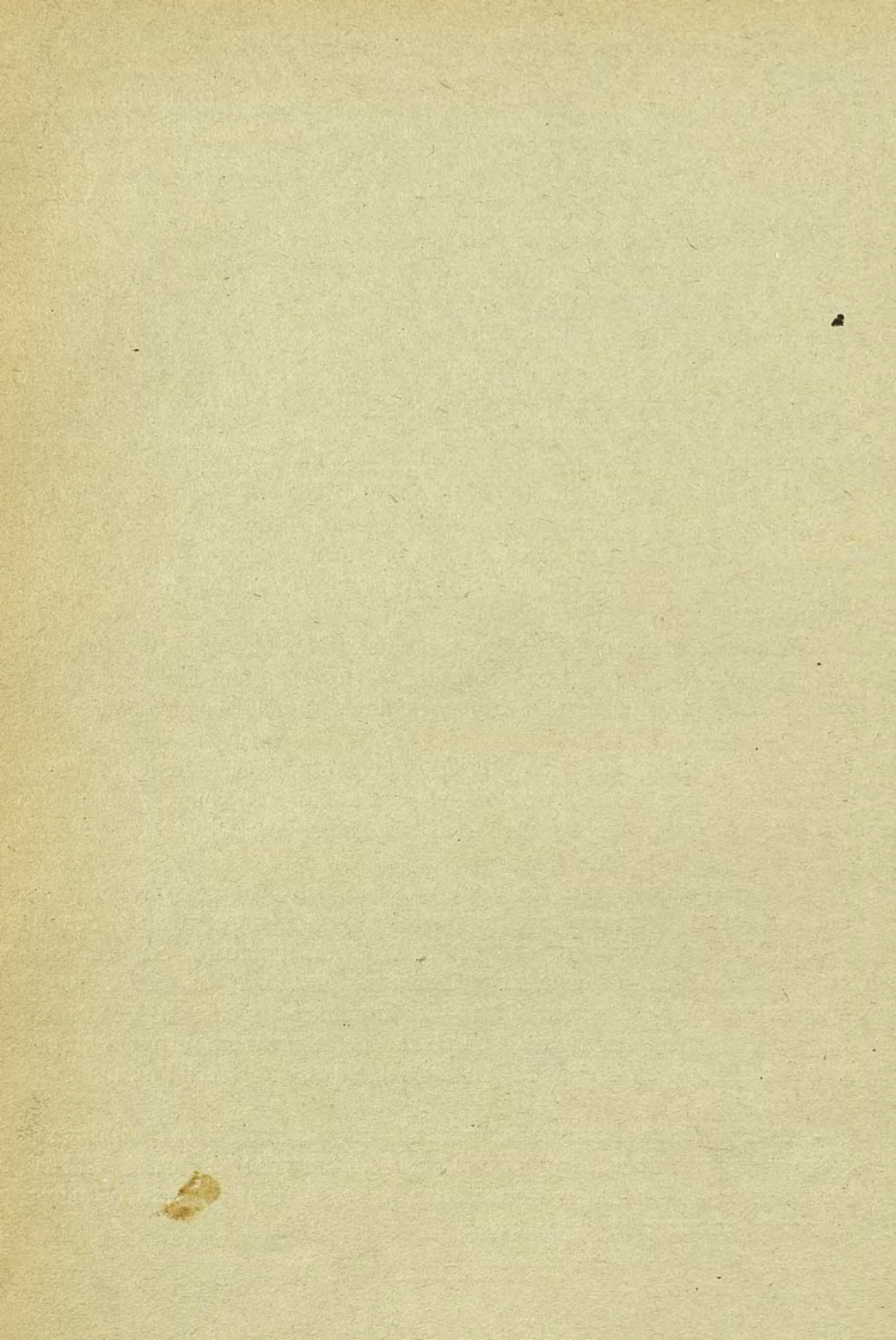
— Джимъ!—съ удивленіемъ воскликнулъ пріѣзжій,—что это значить?

— Что это значить? Ничего не значить! Какъ видите, я занимаюсь упражненіемъ для здоровья!... Что это значить? Дуракъ, идіотъ вы этакій! Развяжите меня сейчасъ, иначе я вамъ покажу, что это значить!

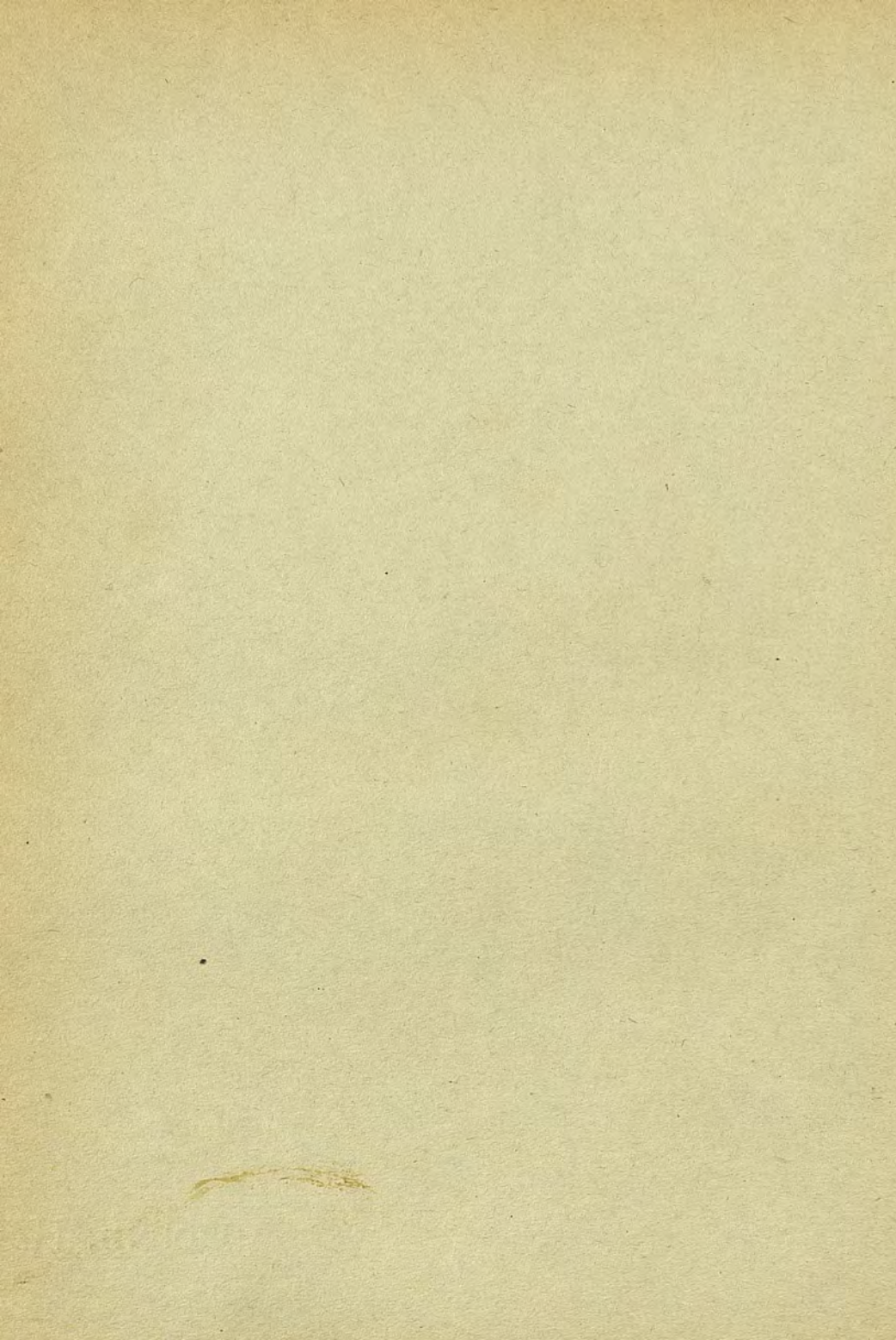
— Ну,—продолжалъ онъ, пока пріятель ножомъ перерѣзывалъ ремешки.—Что это значить? Я бы самъ хотѣлъ знать, что это значить! Скажите-ка вы сами, что это значить! Ну, что же вы молчите?

Когда они положили на спину Кента, онъ былъ уже мертвъ. Рядомъ съ нимъ лежало шомпольное двуствольное ружье старой системы. Дуло отдѣлилось отъ приклада, въ правомъ стволѣ виднѣлась трещина въ нѣсколько дюймовъ длиною, съ неровными, отогнутыми наружу краями. Матросъ поднялъ ружье и сталъ съ любопытствомъ разсматривать его. Изъ щели желтою струею посыпался золотой песокъ. Тогда только Джимъ Кардеги понялъ въ чемъ дѣло.

— Чортъ меня возьми совсѣмъ!—съ изумленіемъ вскричалъ онъ.—Да это рудникъ! Вотъ гдѣ его проклятое золото! Бѣгите скорѣе въ домъ, Чарли, и притащите тазъ. Тутъ его много высыпалось, надо поскорѣе промыть...



Фибихъ, К.



ПОСЛѢДНІЙ НОМЕРЪ.

Суровъ Феннь, и кто недостаточно знаетъ его, зоветъ его безотраднымъ.

Но когда вѣтеръ воетъ надъ нимъ, когда дождь или снѣгъ еще углубляютъ опасныя болота, тогда не можетъ быть ничего лучшаго для охотника. Никто другой не зайдетъ туда; бязливо прячется привыкшій къ одиночеству поселянинъ въ свой домикъ, вѣящійся за буковой изгородью; ни одна точка съ торфомъ не покачивается съ визгомъ въ глубоко изрытыхъ болотистыхъ колеяхъ, собирающіе ягоды не нарушаютъ аukaanъ и человѣческими звуками торжественной тишины. Только буря воетъ. Только изящныя дикія козы и гордые молодые олени мирно пасутся подъ разбросанными буками, которые здѣсь не поднимаются статно въ вышину, какъ въ другихъ мѣстахъ, но, низкіе и крутые, уйдя въ ширину, образуютъ защищенную крышу, точно безопасную палатку, подъ которой все еще можно найти что-нибудь зеленое, даже и въ самую суровую пору. А подъ покровомъ густыхъ, темныхъ елей дерзко хрюкаютъ кабаны и медленно летаютъ отъ лужи къ лужѣ, точно гребутъ въ воздухъ, шотландскіе тетерева.

Чудесное мѣстечко для того, кто въ охотничьихъ сапогахъ до живота, въ толстой сермяжной фуфайкѣ на груди и на спинѣ, несетъ въ рукахъ вѣрно бьющее ружье и знаетъ бродъ. Тотъ можетъ тогда здѣсь наверху ходить, какъ человѣкъ въ первый день творенія по саду Эдема,—совершенно свободно, полнымъ хозяиномъ.

Но когда горячее солнце выпьетъ всю воду, такъ что засохшая болотистая земля потрескается, а изумрудная болотная зелень поблекнетъ, тогда окажутся правыми тѣ, кто говоритъ: «намъ здѣсь слишкомъ грустно!» Какъ бы весело ни синѣло небо, какъ бы ни сіяло оно въ лучезарномъ блескѣ, въ какомъ бы сверкающемъ великолѣпнн заходило пурпуровое солнце, какъ бы ярко ни горѣла среди темнаго моха коралловая брусника, какъ бы звонко ни ликовали собирающія ее дѣти,—Феннь не смѣется вмѣстѣ съ ними. Онъ не знаетъ смѣха.

И люди, которые тогда работают на немъ, корчуютъ и выжигаютъ, собираютъ и возятъ на тачкахъ, копаютъ и полютъ, роютъ рвы, и городятъ заборы, пашутъ, боронятъ и косятъ то, что посѣяли, жнутъ то, что имъ, однако, не принадлежитъ, которые занимаются мирнымъ трудомъ земледѣльца безъ мира въ груди,—несвободные, недобровольно,—они тоже не смѣются.

Только одинъ изъ тѣхъ, кто живетъ тамъ наверху, въ деревянномъ зданіи, съ красной кирпичной крышей, построенномъ на казенный счетъ для арестантовъ, чтобы они воздѣлали Феннь и руками, отягощенными грѣхомъ, превратили бесплодное плоскогорье въ плодородную ниву для колониста, не сдѣлавшаго зла,—только одинъ изъ тѣхъ, которые по воскресеньямъ, когда смотритель не гонитъ ихъ на работу, жадно выглядываютъ изъ-за желѣзныхъ прутьевъ оконъ въ синюю даль свободы,—только этотъ одинъ былъ доволенъ.

Это былъ номеръ 40 и назывался раньше Симеонъ Шалькенбахъ.

Онъ думалъ такъ: развѣ не хорошо спать сорокъ человѣкъ въ амбароподобной комнатѣ съ голыми стропилами и крошечными просвѣтами? Развѣ они тамъ не вполнѣ защищены какъ отъ дождя, такъ и отъ вѣтра и тумана, отъ котораго ночью бѣлѣтъ Феннь? Онъ зналъ менѣе хорошіе ночлеги. И развѣ не вкусна бываетъ похлебка—постоянно разнообразная, то гороховая, то бобовая, то чечевичная похлебка съ кускомъ хлѣба напридачу и комочкомъ сала?! Онъ ѣдалъ болѣе черствый хлѣбъ и, къ тому же, безъ сала.

Номеръ 40 никакъ не могъ понять, почему всѣ другіе находили что-нибудь дурнымъ. Конечно, громко они не смѣли этого высказать, такъ какъ смотритель былъ сейчасъ же тутъ и приказывалъ замолчать, а кто и тогда еще осмѣливался открыть ротъ, тотъ попадалъ въ карцеръ, въ темный сарай съ крѣпкой дверью изъ толстыхъ бревенъ и желѣзными засовами; и ему приходилось обходиться безъ ѣды: въ этомъ и состояла суровость наказанія.

Что многіе тосковали по дому, номеръ 7, напимѣрь,—красная лисица, который за преступленія противъ нравственности былъ осужденъ на два года,—что онъ испытывалъ такую тоску по женѣ и ребенку,—этого номеръ 40 не могъ никакъ понять. Да и какъ ему понять? За нимъ уже давно не гналась ни одна женщина, а жены и ребенка у него никогда не бывало.

Оскаливъ зубы, онъ радовался своему счастью. Да, это было счастье, что жандармъ схватилъ его въ удобный моментъ, какъ разъ, когда онъ опустошалъ кладовую у капиталиста Гюкгеса, который былъ жиренъ какъ чистое сало! И какъ хорошо, что онъ, несмотря на свою худошавость, не могъ пролезть въ окошко, а выломалъ дверь:—кража со взломомъ!—иначе и года бы не вышло!

Ахъ, только одинъ годъ! Въдь этого слишкомъ мало! Если бы онъ этой кошкѣ, этой служанкѣ капиталиста, которая выпрыгнула навстрѣчу съ голыми ногами и въ рубашкѣ, а потомъ такъ пронзительно пищала: «На помощь! Разбойникъ! Убійца! На помощь!»—если бы онъ этой босой бабѣ далъ хорошаго раза бутылкой съ виномъ или кувшинчикомъ съ ликеромъ, который онъ несъ въ лѣвой рукѣ, или если бы хватилъ ее хоть окорокомъ, который у него былъ подъ правой рукой, или еще поувѣсистѣе—горшкомъ съ масломъ, который былъ стиснуть у него подъ мышкою слѣва!

Ахъ, тогда бы она больше не встала, а его осудили бы на много, много лѣтъ! Потому что... о горе... одинъ годъ, только одинъ единственный годъ, слишкомъ скоро пройдетъ!...

Буквально со страхомъ видѣлъ номеръ 40, какъ дни сокращались и все раньше и раньше солнечный шаръ утопалъ въ волнахъ вереска. Когда онъ отсюда выйдетъ, то куда ему дѣться?! Работы онъ, конечно, не найдетъ, теперь въ особенности; онъ уже давно ее не находилъ. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ много недѣль пролежалъ въ госпиталѣ у братьевъ милосердія, ему не везло въ работѣ; нигдѣ его не принимали, хоть онъ и часто пытался поступать. Даже на фабрикѣ, гдѣ сортируютъ тряпки, его тотчасъ же уволили. Почему только? Развѣ онъ не исполнялъ своей работы такъ же съ грѣхомъ пополамъ, какъ и вѣтренныя дѣвчонки или мозгляки-парни, которые всегда подталкивали другъ друга и смотрѣли на него, какъ-будто никогда не видали человѣческаго лица?!

Теперь... здѣсь... у него была работа, и онъ могъ дѣлать ее безъ помѣхи и много сработать. Онъ работалъ охотно; ему было не все равно.

Другіе арестанты, сильные мужчины въ небѣленныхъ холщевыхъ курткахъ съ обнаженною волосатою грудью и голыми руками, сплошь татуированными, точно покрытыми синею сѣткой, въ жару, томясь безъ тѣни, тайкомъ кляли судьбу и вздыхали и, если зритель съ ружьемъ, который ходилъ вокругъ, точно злой песь кругомъ стада, только на минуту выпускалъ ихъ изъ глазъ, сейчасъ же оставляли работу; онъ прилежно продолжалъ трудиться.

Его худая рука махала сильно косою; охапками валились жестокая трава и шероховатые стебли; около него лежали кучи. Онъ шагаль черезъ нихъ и косилъ дальше и дальше съ усердіемъ, съ жадностью. Его худая фигура какъ бы выросла, становилась еще длиннѣе, гнулась вправо, гнулась влѣво, качалась впередъ и качалась назадъ, слѣдуя за каждымъ взмахомъ сверкающей косы, косила съ неутомимой равномерностью, какъ-будто слѣдовало все выкосить, что было травы и стеблей на Феннѣ.

Тогда другимъ становилось жутко. Они боязливо смотрѣли на длиннаго верзилу, который для защиты отъ солнца и комаровъ подъ ситовую шляпу подкладывалъ еще холщевую тряпку, которая низко спускалась ему на затылокъ, и при каждомъ взмахѣ косы развѣвалась около худыхъ щекъ, позволяя разглядѣть, что за нею не скрывается ничего красиваго.

Это были два молодыхъ сильныхъ парня, которые были назначены косить лугъ съ номеромъ 40. Но, какъ только можно было сдѣлать это незамѣтно, они отошли отъ него медленно и осторожно спрятались за заберъ, ограждавшій лугъ. Онъ не замѣтилъ этого; да если бы и замѣтилъ, то не все ли равно: онъ и одинъ справится съ работой! Поплевавъ на руки, онъ плотнѣе сжалъ рукоять косы. Ему было почти досадно, что смотритель суровымъ окрикомъ вернулъ къ нему товарищей.

Высоко вытягивалась его гибкая фигура въ трепетно-прозрачномъ эфирѣ; на костлявыхъ бедрахъ, болтаясь, висѣли штаны; на груди, которую куртка оставляла открытой, видны были ребра, но она вздымалась равномѣрно, точно въ тактъ... вверхъ, внизъ... внизъ, вверхъ. Ему доставляло удовольствіе косить, рѣзать. Привѣтливая улыбка играла на лицѣ съ ввалившимися щеками.

Когда сорокъ человѣкъ возвратились домой, въ деревянное строеніе, къ обѣду, и жестяныя чашки зазвенѣли, то всѣ были голодны, какъ волки; съ поспѣшностью опускались ложки въ супъ; они едва могли дожидаться, чтобы начать хлебать, глотать. Но тѣ, кто сидѣлъ около номера 40 или даже напротивъ его, не торопились. Они отодвигались на скамьѣ, смущенно ерзали и отводили взоръ; или ловили случай забиться въ уголъ и предпочитали тамъ стоя проглатывать свой обѣдъ.

Никто не садился рядомъ съ нимъ добровольно. Но номеръ 40 не замѣчалъ этого. Онъ съ удовольствіемъ наклонялся надъ своей жестяной чашкой... ни капельки не оставалось тамъ, ни крошки хлѣба. А если въ воскресенье или въ праздникъ давали кусокъ копченой кровяной колбасы или сала, тогда онъ радовался такъ, что видны были его оскаленные желтые зубы, всѣ, которые у него еще остались.

Не замѣчалъ онъ и того, что его избѣгали, даже въ спальнѣ, въ вѣчно темной, только слегка освѣщенной рѣшетчатыми просвѣтами комнатѣ. Онъ спалъ всегда хорошо, былъ утомленъ работой и сознавалъ себя въ безопасности. Настолько беззаботнымъ онъ себя не чувствовалъ съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ бѣгалъ за юбкой матери, шелудивой вязальщицы метель, вдоль Рейна.

Ахъ, если бы не такъ скоро пришелъ конецъ хорошей жизни!

Въ послѣднее время передъ истеченіемъ срока номеръ 40 испы-

тываль какъ-будто боль. Быль онъ боленъ? Онъ давно уже не могъ такъ много ѣсть и только наполовину опоражнивалъ жестяную чашку. А ночью тѣ, которые лежали къ нему спиной, чтобы даже и во снѣ не видѣть его, слышали, какъ онъ жалобно стоналъ и безпокойно ворочался съ боку на бокъ.

Съ еще болѣе ввалившимися щеками, чѣмъ прежде, но усердно, какъ прежде, работалъ длинный верзила на болотѣ. Около него уже не было больше яркой прозрачности лѣта, когда онъ чувствовалъ, какъ пріятное тепло струилось по его жесткимъ членамъ; но и осенніе туманы, отъ которыхъ другіе кашляли, были ему пріятны. Свѣжій воздухъ... ахъ, такъ много хорошаго свѣжаго воздуха!... ахъ, а теперь его скоро выпустятъ:

Хотя бы господа судья вникли въ его положеніе и позволили ему еще хоть годикъ остаться здѣсь наверху! Только вчера, когда другіе жались къ печкѣ, которая теперь уже давно сильно топилась, ему посчастливилось съ минутку поговорить съ главнымъ смотрителемъ съ глазу на глазъ. Ахъ, онъ сказалъ ему, что хотѣлъ бы побыть здѣсь еще немножко! Страхъ привелъ въ движеніе его неповоротливый языкъ, который тяжело, какъ безжизненный колокольный языкъ, лежалъ въ полости рта; онъ бормоталъ и заикался, почти лепеталъ, какъ ребенокъ, хотя и грубымъ голосомъ: ахъ, онъ не хотѣлъ бы выходить, нѣтъ, совсѣмъ нѣтъ, здѣсь было такъ хорошо! Если бы господинъ главный смотритель замолвилъ словечко въ управленій!

Главный смотритель засмѣялся... «сумасшедшій парень!»... но все-таки онъ вѣдь смѣялся! Кто знаетъ, не удастся ли добиться, чтобы его оставили! Говорятъ, зима бываетъ гадкая здѣсь наверху; туманъ и дождь, и такъ много снѣгу, что домъ утопаетъ въ немъ до кирпичной крыши, которая уже не сіяетъ веселымъ краснымъ пятномъ, а становилась бѣло-сѣрой и грязной, какъ земля кругомъ и какъ небо надъ ней; отвратительно будетъ тогда, еще ужаснѣе, чѣмъ въ другое время; такъ рассказывали шопотомъ вечеромъ въ спальнѣ нѣкоторымъ новичкамъ номеръ 3 и номеръ 4.

Что это они вдали?! Гадко... отвратительно... ужасно?! Гадко слоняться по улицамъ, безъ теплаго куска въ желудкѣ и даже безо всякой надежды достать его. Отвратительно, когда звонишь у домовъ и каждый быстро запираетъ дверь передъ самымъ носомъ! Ужасно, когда долженъ высматривать днемъ и ночью, гдѣ бы что стянуть! Нѣтъ, въ воровствѣ онъ, собственно, не находить удовольствія, это жалкое ремесло—работать лучше!

И онъ изо всей силы набросился на заступъ, такъ что крѣпкая деревянная рукоятка чуть не сломалась подъ нимъ. Этотъ ровъ онъ

долженъ еще окончить... Неужели другой его окончить?!... И лѣтѣли комья глинистой земли, густо, тяжеловѣсно падали сырыя глыбы. Номеръ 40 стоялъ по щиколотку въ грязи, съ толыми ногами, на худобѣ которыхъ не держались деревянные туфли. Это ничего не значило... теперь, вѣдь вездѣ болотисто, вода лѣзетъ, какъ изъ дыръ.

Но какъ только можно говорить, что зимой здѣсь ужасно?! И будто бы скучно, пусто до смерти, ничего, кромѣ плетенья корзины и вязанья метель! Ахъ, да, вѣдь какъ хорошо вязать метлы подъ кровомъ, у пламени черныхъ кусковъ торфа и подъ вкусный запахъ огромнаго супового котла! Эхъ, вязать метлы вѣдь его любимое занятіе! И ему вспомнилась мать.

О ней онъ давно не думалъ. Гдѣ-то она теперь? Онъ не зналъ, куда она дѣлась. Ну, навѣрное, уже умерла! Ему самому, пожалуй, уже подъ пятьдесятъ... такъ, по крайней мѣрѣ, прочитали въ своихъ бумагахъ господа... Правда, онъ еще не чувствовалъ себя пятидесятилѣтнимъ, несмотря на сѣдые волосы. Ого, онъ еще со всѣмъ справится, еще есть сила въ костяхъ... Если бы ему только здѣсь остаться!

Взглядъ его красныхъ глазъ, опухшихъ и гнойныхъ, съ вывороченными вѣками безъ рѣсницъ, съ любовью блуждалъ по обширному плоскогорью, пастбища на которомъ отцвѣли, ягоды замерзли и которое казалось теперь такимъ темнымъ и спокойнымъ подъ низкимъ облачнымъ небомъ. Осень наступила... А когда упадутъ первые снѣжные хлопья, гдѣ онъ будетъ тогда?!

О, еще здѣсь, еще здѣсь! Дай, Пресвятая Матерь Божія, Дѣва Марія! Не говорятъ, что она Заступница за людей его промысла?!

И, слѣдуя глубококому, безсознательному, но все-таки горячо ощущаемому инстинкту, онъ сложилъ уцѣпившіяся за заступъ руки. Онъ уже давно не складывались для молитвы, съ самаго ранняго дѣтства; съ тѣхъ поръ, какъ онъ уже больше не ходилъ съ матерью, прося милостыню, и она уже не приказывала ему преклонять колѣни и складывать руки передъ каждой часовой на дорогѣ. Теперь онъ не зналъ, какъ надо молиться въ такомъ положеніи; но онъ сложилъ руки. И это была молитва.

Съ дикаго бѣлаго бука донеслось благоуханіе, съ синѣющей полосы елей Харгарда—укрѣпляющее дуновение. Феннъ сталъ нѣжнѣе, мягче во всѣхъ своихъ линіяхъ, и грудь расширилась такимъ глубокимъ вздохомъ, какъ-будто она была слишкомъ тѣсна, чтобы вмѣстить всю эту благодать.

Въ первый день октября выпалъ снѣгъ, и его выпустили. Онъ былъ теперь свободнымъ человѣкомъ. Ему нужно было еще только представиться тюремному управленію въ Аахенъ и получить тамъ свою «вольную» одежду: разорванный сюртукъ, обтрепанные штаны, скомканную войлочную шляпу и дырявые сапоги, которые были на немъ въ тотъ достопамятный день, когда его жизнь повернулась къ солнцу. Вѣдь не плохо было сидѣть и первые полгода въ Аахенѣ, хотя, конечно, нельзя и сравнить съ житьемъ здѣсь наверху! Ахъ, какъ хорошо ему было здѣсь!

Тупо взглянулъ номеръ 40, когда главный смотритель хлопнулъ его по плечу: «Ну, завтра—на свободу!» Что?... Въ самомъ дѣлѣ, онъ долженъ уйти прочь?! Здѣшней жизни въ самомъ дѣлѣ конецъ?! Онъ не могъ понять этого.

Глаза его замитали, лицо сложилось въ гримасу. Хотѣлъ ли онъ засмѣяться или заплакать? Арестанты не могли догадаться. Сегодня они смотрѣли на него; сегодня они завидовали тому, кого презирали,—такъ какъ завтра онъ вѣдь уходитъ!

Вечеромъ, въ спальнѣ, гдѣ имъ удавалось, за глазами и ушами смотрителя, тихо перекинуться нѣсколькими словами, они подошли къ Симеону Шалькенбаху. Онъ вѣдь теперь былъ свободенъ, онъ могъ выполнить порученія къ тому и другому, къ той и другой. У многихъ нашлось, о чемъ его просить.

Номеръ 7, красная лисица, схватилъ даже его за руки, и заклиналъ всѣми святыми и вѣчнымъ блаженствомъ сходить къ его милой,—тамъ-то и тамъ-то она живетъ: онъ описалъ совершенно точно—и сказать ей то, что онъ никогда не рѣшался написать—такъ какъ инспекторъ прочелъ бы его вину, которую онъ все еще отрицалъ—сказать ей, что она будетъ жить, какъ ангелы на небѣ, что онъ будетъ для нея лучшимъ мужемъ, чѣмъ прежде, никогда ужъ не сдѣлаетъ ее такой несчастной; только бы вернуться ему опять къ ней! Симеону Шалькенбаху сильно польстило, что его избрали въ вѣстники любви.

Запомнить ли онъ все?!

Конечно, и навѣрно. Онъ положилъ костлявую руку на сердце и при этомъ ослабилъ такъ, что тѣ, которые стояли около него, въ другое время убѣжали бы отъ него съ ужасомъ. Но они пересилили себя: слава Богу, вѣдь онъ скоро уйдетъ, скоро можно будетъ ѣсть съ аппетитомъ!

Когда на слѣдующее утро онъ покинулъ домъ съ красной кирпичной крышей, черезъ двери котораго въ теченіе ста восьмидесяти

дней входилъ и выходилъ на мирную работу, онъ ощущалъ что-то влажное въ незнавшихъ настоящихъ слезъ глазахъ—его глаза плакали обыкновенно только тогда, когда слезились отъ злокачественнаго воспаления: какъ много добрыхъ друзей онъ оставляетъ здѣсь! Ахъ, какъ много добрыхъ друзей!

Медленно плелся онъ около зрителя, который сопровождалъ его до Аахена. Тотъ бѣжалъ, такъ какъ ему было къ спѣху; дождь и снѣгъ падали вмѣстѣ, а вѣтеръ рвалъ немногія листья торчащихъ буковыхъ кустовъ, которые—точно флаги, поднятые по нуждѣ—указывали на близость Мюцениха.

Симеонъ Шалькенбахъ не торопился; онъ хромалъ, спотыкался, какъ-будто совсѣмъ не могъ идти впередъ. Крѣпко, точно клещами, захватила его степь Фенна, болотистая земля навязла тяжелыми комьями на его грубыхъ сапогахъ.

Нѣтъ, право, онъ не могъ уйти отсюда... Чу!.. Не заливаются ли тихою трелью спрятавшійся послѣдній жаворонокъ?! У него сжалось горло; на него напалъ страхъ, какъ будто онъ шелъ на висѣлицу; когда-то когда онъ еще услышитъ жаворонка?!

Ему всегда доставляло удовольствіе слушать жаворонковъ; ихъ было нѣсколько на Феннѣ. Особенно утромъ, когда трава была еще такая свѣжая отъ росы, какъ-будто подернутая инеемъ, ихъ было слышно..... «тирили»... такое удовольствіе! На улицахъ Аахена или даже въ большомъ Кельнѣ, куда онъ теперь отправится,—можетъ быть, ему удастся пристроиться къ какой-нибудь работѣ,—не было жаворонковъ. Тамъ свистѣли только противные уличные мальчишки, обертывались и громко кричали: «ухъ, какая жожа!»

Уже теперь его охватила безграничная тоска по этой тихой темной степи, на которой ничего не было слышно, кромѣ команды зрителя, вбиванія свай, стука топоровъ, звона цѣпей, распиливанія бревенъ, паденія глыбъ земли, стука дренажныхъ трубъ и, время отъ времени, выстрѣла охотника; ничего, кромѣ топота неуклюжихъ деревянныхъ туфель и крика хищной птицы изъ неизмѣримаго воздушнаго моря. Ему стало такъ тоскливо, что онъ охотнѣе всего повернулся бы и побѣжалъ бы назадъ къ длинному деревянному бараку, стѣны, а также и крыша котораго теперь скрылись за холмомъ.

— Впередъ! — грубо сказалъ зритель. — Не такая погода, чтобы останавливаться и глазѣть!

Они вошли въ Мюценихъ, длинную деревню; они должны были пройти ее до конца... и прошелъ почти часъ, пока они дошли до желѣзной дороги. Хотя погода была дурная, дѣти все-таки были на улицѣ, мальчишки и даже дѣвочки; и они всѣ смотрѣли съ любопыт-

ствомъ, потомъ разсыпались въ стороны, чтобы потомъ опять собраться группами и громко кричать: «Ухъ, какая рожа!»

Таково было вступленіе Симеона Шалькенбаха опять, въ свѣтъ, на свободу.

Зима прошла надъ Фенномъ такъ медленно, такъ безшумно, какъ только можетъ пройти зима въ Феннѣ. Снѣгъ теперь стаялъ; онъ лежалъ на метръ въ вышину; жителямъ Мюцениха каждый день приходилось заново разгрести себѣ дорогу. Наверху баракъ былъ занесенъ до крыши, въ иные дни нельзя было выйти даже за дверь, и безотрадно стало на высотѣ, и самое мрачное оупѣніе водворилось тамъ. Безъ разговоровъ, почти безъ одного слова сидѣли заключенные въ зданіи, плели корзины, вязали метлы и не знали, полдень ли или уже вечеръ, живетъ ли еще міръ, или онъ уже кончился, замеръ, какъ и все, въ безшумномъ снѣгу.

Только поздно началась наверху весна. Арестантовъ поубавилось, а на оставшихся хватало и одного надзирателя. Въ другомъ не было нужды: Убѣжать никто не могъ въ такое время... Но вотъ по талому снѣгу явился изъ Аахена второй смотритель съ новой партіей. И между новыми лицами скалилось старое, слишкомъ хорошо знакомое: номеръ 40 былъ опять тутъ... увы!

Всѣ тосковали по веснѣ, желали ея, какъ прежде ничего не желали, кромѣ свободы, но теперь они ее проклинали, разъ она принесла имъ такую птицу! Всю зиму, по крайней мѣрѣ, они могли со вкусомъ ѣсть,—это единственное крошечное удовольствіе, которое осталось имъ... А теперь и отъ него приходилось отказаться, опять впихивать въ себя съ ужасомъ, мучась тошнотой, которая появлялась у каждаго, какъ только взглядывали на него?! На него... на него! Взгляды, въ которыхъ не видѣлось радости свиданія, а только отвращеніе и ужасъ—привѣтствовали стараго знакомаго.

Тотъ не замѣчалъ этого; онъ былъ вѣдь счастливъ, какъ никогда еще въ свою жизнь. Его лицо, на которомъ отсутствовалъ носъ, съѣденный костоѣдомъ, ротъ котораго не имѣлъ губъ, а представлялъ собою только дыру съ оскаленными зубами,—это лицо, которое было такъ отвратительно съ обведенными красною опухолью глазами и съ рябой, только натянутой на кости, пергаментной кожей, стало еще отвратительнѣе отъ улыбки торжествующаго счастья. Вотъ онъ умно сдѣлалъ, замѣчательно умно! Пресвятая Дѣва, добрая заступница, слава тебѣ!

Его схватили не сразу, какъ онъ ни старался объ этомъ—они оказались тупѣе, чѣмъ онъ предполагалъ,—но во второй разъ, на

масленицу, ему удалось превосходно. Онъ влѣзъ ночью въ пекарню, гдѣ утомленный рабочій прикурнулъ надъ тѣстомъ, и сначала досыта наѣлся свѣжихъ берлинскихъ блиновъ, пряниковъ и миндального печенья, а потомъ, когда вскочилъ разбуженный чавканьемъ заспанный рабочій, онъ хорошенько ударилъ его по головѣ его же веселкой. Ему, собственно, было жалко такъ бить бѣднягу, который умѣлъ такъ вкусно печь; но что же было дѣлать?! Какъ же иначе добиться желаннаго срока наказанія, по меньшей мѣрѣ двухъ лѣтъ?!

И дѣйствительно на этотъ разъ вышло два года. Славному нарню пришлось шесть недѣль пролежать въ больницѣ... Это вышло «увѣчье»,—къ тому же еще «рецидивъ»...

Симеонъ Шалькенбахъ стоялъ такой веселый передъ прокуроромъ, такъ привѣтливо оскаливая зубы, что на того еще ни одинъ преступникъ не смотрѣлъ такъ; а по окончаніи судопроизводства онъ такъ много и благодарно расшаркался передъ судомъ, что господа едва могли подавить улыбку. Онъ былъ полонъ пріятныхъ надеждъ. Одна мучила его забота: пошлютъ ли его опять въ исправительную колонію?! Но такъ и вышло: и это счастье выпало ему!

Никогда еще не испытанная, даже никогда не предполагаемая радость охватила его съ переполнившюю сердце силою, когда дверь деревяннаго барака съ красной кирпичной крышей опять открылась передъ нимъ. Онъ былъ такъ полонъ этой радостью, что не видѣлъ страха, ужаса, отъ котораго каменѣли передъ нимъ лица. Говорить здѣсь нельзя было; здѣсь было приказано: молча подчиняться порядку дня; онъ это дѣлалъ... теперь онъ былъ опять, какъ прежде, номеръ 40, ему опять достался послѣдній номеръ... но взглядъ его красныхъ глазъ ясно говорилъ каждому изъ старыхъ друзей:— Вотъ я опять тутъ, здравствуйте!

Съ этого дня было замѣчено, что стали оставаться нетронутыми цѣлыя порціи супа, который обыкновенно истреблялся до послѣдней капли. А между арестантами были досада, недовольство, ворчливость, чего не замѣчалось даже въ самые дурные зимніе дни. Раза два даже пришлось энергично вмѣшаться надзирателю, и нѣкоторые попали въ карцеръ. Потомъ нерѣдко стали попадать туда. Но не помогало ни это, ни вдвое болѣе строгая дисциплина, ни уменьшенная на половину порціи; точно духъ возмущенія вѣялъ надъ баракомъ. Откуда только вдругъ появился этотъ злой духъ?!

Главный надзиратель, у котораго была долгая практика, зорко осмотрѣлъ своихъ людей. И затѣмъ отозвалъ номеръ 7, красную лисицу; этотъ былъ интеллигентъ, и отъ него можно было добиться... Начался строгій допросъ:

— Что съ вами случилось? На что вы жалуетесь? Почему вы такіе бѣшеные, а?

Тутъ точно гроза разразилась! Красная лиса дрожала отъ волненія:

— У приличныхъ людей бываютъ хоть носы, а не дыры на рождѣ, точно проломанныя ворота, чтобы впихивать фду... И вмѣстѣ съ такимъ приходится ѣсть! Фу, дьяволъ!—И онъ плюнулъ, противъ всякой дисциплины, поблѣднѣвъ отъ отвращенія.

— Ну, ну!—проворчалъ смотритель, но болѣе ничего не сказалъ. Молча посмотрѣлъ онъ на номеръ 40,—и долженъ былъ сознаться: оно таки вѣрно!

Когда дошло до фды и номеръ 40 весело хотѣлъ сѣсть на длинную скамью, надзиратель приказалъ ему встать и уйти съ чашкой за дверь на дворъ. Пусть тамъ ѣсть!

Съ нѣкоторымъ удивленіемъ послѣдовалъ номеръ 40 полученному приказанію, но затѣмъ быстро привыкъ сѣдять на дворѣ, за порогомъ, свой утренній, полденный и вечерній супъ. На голодное брюхо и тамъ ѣтся хорошо!

Но товарищи, все-таки, еще не удовлетворились. Довольно они натерпѣлись: все прошлое лѣто,—ворчали старые,—ѣсть вмѣстѣ съ такимъ, вмѣстѣ работать, вмѣстѣ спать; но теперь уже больше не хотятъ! Этого по крайней мѣрѣ они имѣли право требовать: не быть запертымъ вмѣстѣ съ возбуждающимъ отвращеніем!

И новички, которые еще не привыкли къ его виду, сильно ворчали: это хуже, чѣмъ работать и хуже лишенія свободы. Просто подло запирать кого-нибудь съ такимъ страшилищемъ!

Кидались яростные взгляды; взгляды, которые сначала выказывали только отвращеніе, ужасъ и неудовольствіе, а теперь сдѣлались взглядами ненависти. Добрые друзья отворачивались отъ послѣдняго номера; никого не было, кто бы, вечеромъ, въ спальнѣ, перемолвился съ нимъ словечкомъ.

Одинъ подговаривалъ другого: тьфу, что за верзила! что за страшилище! что за остовъ безъ носа и губъ! Всѣ, кто сидѣлъ здѣсь вмѣстѣ, простили другъ другу свои грѣхи: да и что же тамъ было: и всего-то какая-нибудь кража, клятвопреступленіе, укрывательство, сводничество, убійство или нарушеніе нравственности?! Но человекъ безъ носа, съ лицомъ, какъ мертвый черепъ—нѣтъ, такого они не хотѣли терпѣть въ своей средѣ.

Въ спальнѣ собирались толпой. Иногда ночью бывалъ такой шумъ, что смотритель входилъ съ дубиной и пистолетомъ; но толку не выходило, когда онъ, грозя обоими, приказывалъ замолчать: на слѣдующій вечеръ скандалъ возобновлялся. Не помогло то, что по-

мерь 40 былъ удаленъ изъ общей спальни и получилъ приказаніе спать въ торфяномъ сараѣ, около дома. Послушно поплелся туда жаждущій сна и далъ запереть себя на задвижку; теперь его не было ни видно ни слышно.

Но наружность его преслѣдовала остальныхъ и во снѣ. Даже когда они и не спали и онъ больше не дышалъ съ ними подъ одной крышей, онъ все-таки мерещился имъ на черномъ фонѣ ночного мрака. И какъ они ни вертѣлись, и ни отворачивались, и ни закрывали глазъ рукой—онъ стоялъ, и они видѣли его, какъ днемъ, такъ и ночью. Какъ всегда. Они не могли отдѣлаться отъ его вида, какъ ни сжимали они кулаки и ни стучали ногами, и какъ ни кидали ему глухихъ проклятій. Проклятый! Феннъ былъ великъ и обширенъ, но его длинная фигура попадалась вездѣ. Она преслѣдовала ихъ; она была на работѣ, на ѣдѣ, при спаньѣ; она была вездѣ. Въ лицѣ его на нихъ смотрѣла смерть. Его рука махала косою—то косила смерть! Низко свисалъ изъ-подъ ситовой шляпы холщевый лоскутъ и открывалъ, развѣваясь, костлявыя щеки и оскаленные зубы. А когда эта смерть рыла яму, они приходили въ бѣшенство, въ отчаяніе: кто-то туда попадетъ?!

Главному надзирателю пришлось назначить номеру 40 работу совершенно въ сторонѣ отъ другихъ, совершенно отдѣльную; онъ могъ сдѣлать это спокойно; нечего было опасаться безобиднаго человѣка; онъ не убѣжитъ. А если даже былъ рискъ, приходилось попробовать, чтобы другихъ успокоить, такъ какъ иначе они побросаютъ инструменты и откажутъ ему въ повиненіи.

Безобидный счастливецъ не замѣчалъ ничего этого. Что онъ долженъ былъ одинъ работать, было ему пріятно. На обширномъ Феннѣ изъ глубокой ямы выкапывали торфъ, эхъ, вотъ-то удовольствіе! Когда онъ вечеромъ возвращался домой, усердно поработавъ, и шелъ подъ весеннимъ небомъ, полнымъ привѣтливыхъ звѣздъ, съ заступомъ на плечѣ, тогда отъ внутренняго глубокаго удовлетворенія онъ даже пробовалъ сжать, какъ для свиста, свой безгубый ротъ. Онъ не могъ уже свистѣть, но былъ такъ доволенъ, какъ будто свистѣлъ такъ звонко и полно, какъ свиститъ черный дроздъ весной.

Верескъ уже началъ выпускать зеленые росточки изъ жесткой коричневой листьы, а болотныя желтоголовки и желтые нарциссы смѣялись, какъ звѣзды, по краямъ бочаговъ. Вездѣ рвы были полны воды, но въ нихъ вода не была уже такъ ужасно холодна, какъ растаявшій снѣгъ; небо уже послало въ нее теплыя майскія слезы, а солнце поцѣловало ее своими лучами.

Номеръ 40 шелъ однажды въ полдень домой,—онъ охотно надѣлъ бы уже холстинную куртку, ситовую шляпу и подложилъ бы

подъ нее заслоняющую отъ комаровъ тряпку,—такъ пріятно было ему сегодня... Во рту у него былъ стебель аира. Изъ такого же аира онъ, мальчикомъ, вырѣзалъ себѣ дудку и весело дудѣлъ въ нее... Почему бы ему сегодня этого не сдѣлать? Но вмѣсто губъ, онъ держалъ теперь стебель между зубами, дотрогивался до него языкомъ и напрасно старался вызвать изъ него какой-нибудь звукъ. Онъ былъ доволенъ; но представлялъ собою ужасное зрѣлище.

Итакъ, онъ вошелъ въ столовую, гдѣ уже всѣ сидѣли за супомъ; его сегодня забыли, поэтому онъ вышелъ самъ отыскать себѣ свою жестяную чашку.

Всѣ увидѣли его, съ ужасомъ на него уставились и бросили ложки.

— Вонъ!—вскричалъ одинъ.

И такъ какъ номеръ 40 стоялъ озадаченный, не зная, относилось ли это къ нему или къ кому другому, всѣ возмущенно закричали.

— Вонъ!

Кричалъ надзиратель, кричали арестанты, а красная лисица, котораго душила тошнота, оттолкнулъ отъ себя миску, такъ что супъ пролился на полъ и ревѣлъ, какъ отчаявшееся животное, ревѣлъ между удушьемъ и воемъ, стараясь вздохнуть:

— Эй, убирайся! Ты—отвращеніе... ты—страшилище... ты—уродъ гнусный! Ай, на что ты похожъ!

И другіе заревѣли вслѣдъ за нимъ:

— Ты—отвращеніе, страшилище, гнусный уродъ, убирайся!

И онъ почувствовалъ, что надзиратель схватилъ его за плечи и вытолкнулъ его за дверь.

Онъ постоялъ, и когда никто не протянулъ руки, чтобы подать ему его суповую миску, онъ пошелъ. Сначала медленно, время отъ времени оглядываясь, потомъ быстрѣе и быстрѣе.

У глубокой ямы, далеко пройдя въ Феннъ, нашелъ онъ свой заступъ воткнутымъ въ болотистую землю, какъ часъ тому назадъ—нѣтъ, вѣдь и часа еще не прошло—онъ сильнымъ ударомъ вогналъ его туда.

Теперь онъ схватилъ его. Его руки обхватили инструментъ, которымъ онъ такъ радостно работалъ, какъ-будто онъ долженъ былъ держаться за него. Вотъ и работа... да радость-то прошла!

... Ты — гнусный уродъ... ты — отвращеніе... ты — страшилище... на что ты похожъ?!.. Онъ слышалъ это все время и очень ясно.

Неужели онъ такъ ужасенъ?!

Зеркала у него никогда не бывало; онъ и не думалъ никогда о томъ, чтобы посмотреть въ зеркало. Теперь онъ нагнулся надъ

ямой, облокотясь на ея краю на заступъ и вопросительно наклонивъ свое длинное туловище.

Глубокая, гладкая вода, которая подъ солнечнымъ блескомъ неподвижно стояла въ ямѣ, отразила, какъ въ зеркалѣ, его виѣшность. Теперь онъ увидѣлъ себя. И самъ испугался.

Да, они были правы, они были истинными друзьями; онъ былъ ни на что не похожъ! Такимъ отвратительнымъ онъ никогда себя не представлялъ... ухъ! Его охватилъ ознобъ, оскаленные зубы стучали.

— Ба, вотъ рожа-то!—Онъ сказалъ это громко самому себѣ, а потомъ медленно и серьезно кивнулъ головой:—Уйди!—Да, это было совершенно правильно!

Теперь онъ вдругъ понялъ, что они избѣгали его, что всѣ его избѣгали. А также и то, почему избѣгали его. Почему такъ быстро захлопывались передъ нимъ всѣ двери, почему дѣти, напѣвая, кричали ему вслѣдъ, и почему никто не давалъ ему работы. Даже и до сортировки тряпья не хотѣли допустить его. Онъ и самъ себя не хотѣлъ.

— Уйди прочь!—Онъ сказалъ это совершенно спокойно.

.....

Затѣмъ длинная фигура, живая смерть, спустилась въ яму, которую сама себѣ выкопала.

Его видъ съ этихъ поръ не пугалъ никого больше.

Послѣдняго номера не нашли, хотя его и искали.

Реймонтъ, К.



Я УБИЛЪ.

— Ножомъ сработашь, тихимъ манеромъ?

Въ отвѣтъ на это Ендрусь показалъ ему длинный узкій кинжалъ съ широкой рукояткой; рѣзко блеснуло остріе, точно молнія.

— И у быка сердце нащупаетъ.. половины хватить!...—шепнулъ Михаилъ.

Ендрусь странно улыбнулся, сунулъ ножъ въ карманъ на груди, вынулъ изъ сундука гармонику, сѣлъ на кровать подъ стѣной и сталъ играть. Онъ казался совершенно спокойнымъ и весь погрузился въ музыку, склонилъ на бокъ голову и съ наслажденіемъ прислушивался къ звукамъ.

Пѣсня разливалась звонкимъ потокомъ по всей комнатѣ чердака и кружилась плясовой волной; дѣти, сидѣвшія на полу, захолопали въ ладоши и стали подпѣвать.

Въ клѣткѣ, висѣвшей въ окнѣ, засвистѣлъ дроздъ.

Михаилъ высунулъ голову изъ-за низкой перегородки, отдѣлявшей ихъ уголь отъ остальной части, и сталъ разглядывать пріятеля съ особеннымъ любопытствомъ.

— Малокоось!.. съ паннами въ костель ходить, въ кабакъ ни ногой, а за ножъ берется. Ну, ну!..—бормоталъ онъ вполголоса.

Но Ендрусь не слышалъ его и точно забылъ обо всемъ въ мірѣ—качался всѣмъ корпусомъ, кивалъ головой, отбивалъ ногой тактъ и игралъ безъ памяти. Дѣвочка закружилась на мѣстѣ, какъ волчокъ, а мальчикъ поползъ къ нему, цѣпляясь за кровать, хотѣлъ встать на свои изогнутыя рахитичныя ноги, но падалъ каждую минуту. Вотъ, услышавъ дрозда, который разсвистѣлся во всю, онъ поползъ туда, къ клѣткѣ, съ радостнымъ бормотаньемъ:

— Птичь... птичь...

Михаилъ, которому надоѣла музыка, проговорилъ вызывающе:

— Ишь, форсишь все, а у самого душа въ пятки ушла...

— Да нѣтъ... я вотъ думаю, какъ бы все на чистоту сдѣлать, безъ промаха,—отвѣтилъ онъ, поднимая голову; въ голубыхъ глазахъ блеснулъ стальной огонь.

— Я тебѣ совѣтъ дамъ,—онъ подошелъ къ нему и шепнулъ на ухо:—Подойди ты прямо къ рожѣ, подпусти его поближе къ себѣ, столкнись съ нимъ точно случайно, а тогда полосни изо всей силы подъ горло; хрустнетъ у тебя подъ рукой, точно ты барабанъ пробьешь...

— Мастеръ ты!—отвѣтилъ тотъ, слегка вздрогнувъ.

— Пусть тебѣ Боекъ скажетъ, онъ меня не разъ видѣлъ за работой.

Онъ гордо выпрямился и молодцовато взглянулъ на Ендруся.

— Значить, вы уже помирились?

— Давно. Онъ посчиталъ мнѣ ребра ножомъ, а я у него кишки выпоролъ, вотъ мы и квиты; друзья-пріятели...

— Три мѣсяца въ больницѣ лежалъ, столько настрадался, а теперь друзья-пріятели?

— Дуракъ ты, я потому съ нимъ и дружу. Наплевалъ бы я на него, если бъ онъ со мной разсчитаться не захотѣлъ. Ударишь, самъ получишь, выздоровѣешь, и вотъ у тебя чистая совѣсть. Вѣдь я не разбойникъ!—воскликнулъ онъ гордо.

— А вдругъ попадешь на такого, что...

— Что меня сразу въ гробъ уложить? Не бѣда! Не велика печаль, никто послѣ меня не заплачетъ; но, пока я живъ, никому не позволю себѣ въ кашу плевать и изъ страха передъ мастерами я въ социалисты не пойду, какъ Фелекъ! Не дуракъ я, по мнѣ—лучше тяжелая работа цѣлую недѣлю, а въ воскресенье гуляй всю, чѣмъ тюрьма и нагайки.

— Вѣдь онъ за дѣло...

— Вотъ утѣшилъ! Ему такъ морду прикладами исполосовали, родная мать узнать не могла. И клянеть теперь тѣхъ, что его втянули.

Ендрусь отвернулся, выправляя что-то въ гармоникѣ. Михаль хитро рзсмѣялся и, хлопая его по плечу, спросилъ по-пріятельски:

— Ты за панну Юзю отплатить хочешь?

Ендрусь покраснѣлъ, но сталъ рѣшительно отрицать.

— А, можетъ быть, это тотъ фертъ въ цилиндрѣ, что за матерью книжки въ костель носить?

— Вѣдь это Манинъ кавалеръ!

— Морда у него—просто руки чешутся. Не люблю я такихъ. Кто же это? Не скажешь,—твое дѣло, потомъ самъ узнаю, но помни, что я тебѣ говорилъ: подходи поближе и по горлу—разъ! Когда думаешь?

— Когда случай будетъ.

— А потомъ не удирай, какъ дуракъ. Любой простофиля сейчасъ на утекъ наровить, прямо въ лапы городашамъ... ударилъ и уходи, точно ничего и не было, и только когда крикъ подымется, удирай во-всю... Дай мнѣ гармонику, я нынче играть общался, со-сѣдка крестины справляетъ, приходи! жрать дадутъ здорово!

— Приду, мнѣ только надо Игнацовой дожидаться, пусть дѣтей уберетъ.

Михалъ презрительно размѣялся, закрутилъ усы передъ зеркаломъ, надѣлъ шляпу, засвистѣлъ что-то дрозду, поднялъ мальчика до самага потолка, пощекоталъ дѣвочку, такъ что та залилась хохотомъ, и, сунувъ инструментъ подъ мышку, выбѣжалъ изъ комнаты.

— Михалъ,—крикнулъ ему Ендрусъ,—съ гармоникой поосторожнѣе, лѣвымъ крыломъ легче работай, тамъ уже кожа протерлась.

Тихо стало въ избѣ, дѣти играли у печи, выгребая изъ-подъ пола таракановъ, а Ендрусъ, присѣвши у окна, блуждалъ глазами по флигелямъ, окружавшимъ весь дворъ.

День былъ сѣрый и странно грустный—ноябрьскій день. Надъ высокими крышами, надъ черными пнями трубъ висѣло сѣрое пустое небо, окна блестѣли, точно глаза, въ которыхъ точно высохли слезы, на серединѣ двора каштанъ раскачивалъ свои черныя корявыя вѣтви, дрожали остатки листьевъ, какъ рыжія лохмотья, какія-то дѣти гонялись другъ за другомъ по мокрой грязной мостовой; собака залаяла въ воротахъ, гдѣ-то громыхали телѣги, а иногда слышался глухой шумъ незримыхъ улицъ, и скука воскреснаго дня ползла по городу, наполняя чердакъ сонной зѣвающей тишиной.

— Колева!—крикнулъ вдругъ мальчишкѣ вслѣдъ убѣгавшему таракану.

Ендрусъ очнулся отъ раздумья и шепнулъ снисходительно:

— Дуракъ, думаетъ, что тутъ въ паннѣ Юзѣ дѣло... пусть его думаетъ, мнѣ же лучше, не будетъ знать—не проболтается,—думаль онъ.

Онъ снова застылъ въ неподвижности, передъ глазами его встала недавняя сцена, тамъ, на Сольцѣ... Шестеро ихъ тянули жребій, и жребій выпалъ на него... онъ сдѣлаетъ это свято... убьетъ, какъ собаку... и рука не дрогнетъ... этакій негодяй... столькохъ людей выдалъ... гнѣютъ по тюрьмамъ, вѣдь и Феликъ, должно быть, изъ-за него сидитъ... съ такими надо расправляться... надо.

Такъ думаль онъ, и тысячи подробностей, лица товарищей, тайныя сходки, собранія, прокламаціи, рѣчи, общія чтенія, бѣгство отъ полиціи—все, чѣмъ жилъ онъ нѣсколько послѣднихъ мѣсяцевъ, проплыло передъ нимъ шумной толпой.

— За всѣхъ оплачу.—Онъ вскочилъ весь въ огнѣ, схватился

рукою за ножъ и вдругъ опустился на прежнее мѣсто. Лицо его странно скорчилось, сердце замерло, глаза застыли въ неподвижности, и дикій безумный ужасъ сжалъ ему горло... но только на одну минуту, на одно мгновеніе—онъ тотчасъ очнулся, на лицѣ его вспыхнули краски экстаза, глаза загорѣлись, и священное пламя разгорѣлось въ груди.

— Ну, повѣсятъ, такъ буду висѣть. Волковъ бояться, въ лѣсъ не ходить... Вѣдь это за дѣло, за свободу... за всѣхъ...—шепталъ онъ съ дрожью волненія и восторга, и снова охватило его странное спокойствіе, беззаботное спокойствіе, спокойствіе глубокой вѣры и неустрашимости.

— Я его убью, меня повѣсятъ, вотъ мы и квиты,—засмѣялся онъ такимъ радостнымъ свободнымъ смѣхомъ, что дѣти подошли къ нему.

— Покачай,—просилъ его мальчикъ, хватая его за сапогъ, а дѣвочка стала приглаживать его растрепанные волосы.

Онъ не отвелъ головы и посадилъ мальчика къ себѣ на колѣни.

— Гопъ, гопъ, ѣдетъ хлопъ!—напѣвалъ онъ, подбрасывая мальчика высоко вверхъ, а потомъ дѣвочка, стянувши брата на землю, потребовала причесать ей голову и заплести голубую ленточку, «какъ у панны Франи». Онъ сдѣлалъ и это, но дѣти ему надоѣли, и онъ крикнулъ:

— Сидите тутъ тихо, карапузы, я сейчасъ приду.

Имъ овладѣло безумное желаніе повидать знакомыхъ, побѣжать въ городъ, утонуть въ шумѣ и движеніи. Онъ торопливо одѣлся, но у самыхъ дверей остановился безпомощно и точно окаменѣлъ.

— Куда итти? Къ кому? Вѣдь не буду же я бродить по улицамъ, какъ собака,—думалъ онъ, и ему стало страшно тяжело.—Теперь три часа, до восьми еще далеко,—онъ машинально ощупалъ карманъ, ножъ былъ на своемъ мѣстѣ... воспоминаніе холодной молніей блеснуло у него въ головѣ.

— Подпусти поближе, тогда полосни... хрустнетъ, какъ барабанъ,—прозвучалъ совѣтъ Михала такъ громко, что онъ тревожно оглянулся.

Онъ былъ одинъ въ комнатѣ. Дѣти играли подъ окномъ, шумъ города гудѣлъ монотонно, порой звенѣли стекла, дымъ папиросы разсѣялся голубой пражей подъ низкимъ потолкомъ, а въ углу передъ образомъ Ченстоховской Богоматери горѣла лампадка.

— Онъ снялъ пальто и снова сѣлъ, дѣти сейчасъ же подошли къ нему съ крикомъ.

— Оставьте меня въ покоѣ; Манька, не лѣзь на кровать,—крикнулъ онъ со злостью, принимаясь читать какую-то книгу, но тотъ-

часть бросилъ ее. Все ему надоѣло, въ немъ просыпалась какая-то глухая безпричинная тоска, онъ ходилъ большими шагами по комнатамъ и не зналъ, что съ собой дѣлать.

— Чтобъ тебя черти взяли,—выругалъ онъ самъ себя и побѣждалъ къ сосѣдямъ, но точно на зло всѣ двери были заперты, и только въ послѣдней каморкѣ знакомый еврей, сапожникъ,—и Ендрусь вошелъ къ нему, не раздумывая.

— Вижу, спѣшная работа?—спросилъ онъ, присаживаясь рядомъ.

— Когда господинъ околоточный пришелъ въ починку, то должна быть спѣшная работа. Ша, ша,—крикнулъ онъ кучѣ дѣтей, которя барабанили ложками по пустому горшку.

— Сынъ, говорятъ, писалъ вамъ изъ Америки?—спросилъ онъ, чтобы что-нибудь сказать.

— Писалъ. Вы знаете, онъ пришлетъ намъ билеты... и, можетъ быть, черезъ мѣсяцъ мы всѣ къ нему поѣдемъ. Поѣдемъ,—прибавилъ онъ протяжно, съ блаженствомъ.

— Хорошо ему тамъ.

— Хорошо,—улыбнулся еврей снисходительно,—ему тамъ какъ въ раю. Онъ прислалъ свою фотографію, сноха взяла ее показать родственникамъ. Вы увидите, онъ тамъ такъ одѣтъ... на немъ сюртукъ, такъ такой сюртукъ, на видъ тридцать рублей стоитъ... вылитый ясне-панъ, не такой, какъ мы. Нѣтъ...

Ендрусь иронически улыбнулся.

— Вамъ не нужно смѣяться, панъ Ковальскій. Я вамъ правду говорю, онъ въ недѣлю больше зарабатываетъ, чѣмъ вы за весь годъ. Ему очень хорошо, въ Америкѣ всѣмъ очень хорошо. Только у насъ такъ тяжело человѣку. Кому у насъ хорошо? Можетъ быть, вамъ хорошо отъ того рубля, который вы имѣете въ день. Можетъ быть, мнѣ хорошо. Можетъ быть, пани Игнацовой хорошо. Панъ Ковальскій, кому изъ насъ хорошо?—говорилъ онъ крикливо, все сильнѣе ударяя молоткомъ по кожѣ.

— Богачамъ хорошо: развѣ они не питаются нашей кровью?

— Такія слова—какъ вѣтеръ, панъ Ковальскій. Вѣдь каждый человѣкъ хотѣлъ бы быть богачомъ. Господь Богъ далъ имъ счастье, и они разбогатѣли, я не о нихъ говорю.

— Отъ нашей обиды разбогатѣли,—сказалъ Ендрусь съ ненавистью.

— Это очень хорошее слово, только это неправда. Вѣдь каждый человѣкъ хотѣлъ бы быть богачомъ. Развѣ вы бы не хотѣли имѣть каменный домъ, здоровыхъ дѣтей и жену, а?

Ендрусь молчалъ, ему вспомнились его мечты о Юзѣ и о собственной мастерской.

— Панъ Ковальскій, всё хотятъ одного,—съ силой убѣждалъ его еврей.

Ендрусь всталъ, у него пропало желаніе разговаривать, и онъ направился къ двери.

— Можетъ быть, вы мнѣ прочтете, я не умѣю по-вашему... сноха гдѣ-то нашла...—попросилъ онъ, подавая какой-то газетный листъ. Это былъ номеръ «Рабочаго» съ какой-то программной статьей.

Ендрусь покраснѣлъ и, отвернувъ немного лицо, сталъ громко читать, а еврей, опершись на локти, слушалъ внимательно, но на губахъ его играла пренебрежительная улыбка.

— Вы думаете, что такъ когда-нибудь будетъ на свѣтѣ?—спросилъ онъ, впиваясь въ него прищуренными глазами.

Ендрусь забылъ о предосторожностяхъ, его сразу захватило, и онъ началъ по-своему горячо рассказывать о счастья будущаго соціального устройства. Онъ волновался и горѣлъ такой вѣрой, что еврей все время причмокивалъ, но, наконецъ, перебилъ его съ ироніей:

— Кто этого дождется, пусть ему будетъ на-здоровье. Мнѣ обѣщали еще лучшія вещи, а когда у меня внуки болѣли, такъ никто изъ нихъ не хотѣлъ мнѣ одолжить рубль... я вамъ скажу, панъ Ковальскій...

Но Ендрусь плюнулъ и вышелъ, не сказавши ни слова.

— Буржую, чортъ его дери,—онъ былъ золъ на себя за то, что разоткровенничался передъ евреемъ.

Игнацова была уже дома и одѣяла дѣтей пряникомъ.

— Хорошо работали сегодня?

— Псу на радость такой день. Полтинникомъ расторговалась, я, можетъ быть, все бы продала, но какой-то висѣльникъ толкнулъ меня, и всё цвѣты попали въ канаву,—жаловалась она, указывая на грязныя бумажныя розы, которыя краснѣли въ корзинѣ.—Товаръ ни къ чему, да зато отдула я его такъ, что цѣлый мѣсяцъ будетъ помнить. Если вы гдѣ-нибудь моего встрѣтите, скажите, пусть приходитъ за нами, мы къ теткѣ пойдемъ. Пригласила насъ сегодня вечеромъ, она Маню крестила, можетъ быть дастъ ей какое-нибудь платье. Богачиха она, у нихъ двѣ пролетки. Я его искала передъ гостиницей, тамъ, гдѣ онъ всегда стоитъ, но мнѣ его товарищи сказали, что онъ на Мокотовъ ушелъ...

Ендрусь слушалъ однимъ ухомъ и собирался уходить.

— Вы поздно вернетесь,—ключъ будетъ гдѣ всегда...

Богъ его знаетъ, можетъ быть...—шепнулъ онъ, быстро выходя

на лѣстницу,—можетъ быть, никогда, можетъ быть, никогда,—пришло ему въ голову, когда онъ поднимался, и вдругъ ему захотѣлось вернуться въ комнату и еще разъ осмотрѣть всѣ углы, поцѣловать дѣтей, попрощаться съ Игнацовой, посидѣть тамъ съ ними... быть можетъ, въ послѣдній разъ...—но онъ не поддался этой минутной слабости, закурилъ папиросу и быстро пошелъ по двору. Передъ домомъ онъ остановился, раздумывая, куда итти, такъ какъ воспоминаніе о паннѣ Юзѣ превозмогало. Вѣдь каждый человѣкъ долженъ куда-нибудь пойти въ воскресенье. А тамъ, у нихъ, такъ пріятно, такъ тихо и такъ уютно... иногда, когда онъ приносилъ леденцовъ, панна Юзя смотрѣла на него такъ выразительно, будто кто-нибудь сыпаль ему горячіе уголья въ сердце... иногда она такъ пожимала ему руку... цѣлые мѣсяцы вспоминалъ онъ съ блаженствомъ объ этомъ счастіи. Онъ купилъ ей дрозда у Игнаца и выучилъ его свистѣть вальсъ. Дрозда онъ хотѣлъ понести ей только на именины... зато мать смотрѣла на него косо и язвила при каждомъ удобномъ случаѣ.

— Уголь снимаетъ у посыльнаго, а туда же—за порядочной панной ухаживаетъ,—сказала она когда-то Михалу.

Онъ зналъ это, но, не обращая вниманія на ея язвительность, ходилъ къ нимъ каждое воскресенье. За панной Юзей онъ еще настоящему не ухаживалъ и только мечталъ объ этомъ иногда,—но страшно любилъ посидѣть у нихъ вечеромъ и поиграть паннамъ на гармоникѣ. Онъ былъ сирота, у него не было никого на свѣтѣ—и этотъ домъ былъ для него раемъ послѣ дымной фабрики, цвѣтущимъ садомъ послѣ его квартиры у Игнаца.

— Посижу полчаса, —оправдывался онъ самъ передъ собой;— можетъ быть, я никогда больше туда не пойду...—шепталъ онъ печально.

Странная жалость жала его сердце.

— Только бы застать ихъ еще,—думалъ онъ, быстро шагая отъ Бернардской улицѣ къ площади Сигизмунда, но вдругъ оглянулся, и, наконецъ, остановился передъ Бернардинскимъ костеломъ и долго пристально смотрѣлъ на домъ, въ которомъ жилъ тотъ, приговоренный.

Домъ стоялъ по ту сторону Краковского предмѣстья, огромный, великолѣпный, и блестѣлъ рядомъ большихъ витринъ. Онъ не могъ оторвать глазъ отъ окна второго этажа, такъ какъ ему казалось, что изъ-за занавѣсокъ выглядываетъ это ненавистное лицо.

— Подъ горло и изо всей силы,—пробормоталъ онъ, машинально дѣлая какое-то движеніе.

Онъ долго стоялъ. Городъ шумѣлъ по-воскресному, тротуары

были полны, мчались экипажи, какъ безумные, неустанно звенѣли звонки трамваевъ, а въ воздухѣ гудѣлъ шумъ смѣшанныхъ голосовъ. Сумерки уже таились въ воротахъ и покрывали дома голубой вуалью, кое-гдѣ блестѣли витрины магазиновъ.

Наконецъ, онъ оторвался, почти бѣгомъ побѣжалъ на Свентоянскую.

Онъ жили противъ кафедральнаго собора въ узенькомъ высокомъ домѣ. Приняли его, какъ всегда: панны любезно, а мать довольно кисло. Юзя завивалась передъ зеркаломъ.

— Что же новаго на свѣтѣ?—спросила старуха, проходя по комнатѣ съ чашкой чая въ рукѣ.

Онъ пробормоталъ ни то, ни се. Она тихо разсмѣялась и сказала насмѣшливо:

— Вашъ хозяинъ весь день по улицамъ бѣгаетъ, высунувши языкъ, такъ могъ бы новостей насобирать.

— Конечно, а мнѣ не интересно...—отвѣтилъ онъ довольно рѣзко.

— Вы принесли гармонику?—раздался голосъ за зеленой ширмой, раздѣлявшей комнату на двѣ части.

— Я Михалу одолжилъ на сегодня.

— Жаль, гости у насъ будутъ вечеромъ, я думала, что вы сыграете.

— Ишь чего захотѣла,—прошипѣла старуха, оглядывая Юзю съ головы до ногъ.—Манька, ты всю кофточку испортила, мѣшкомъ сидитъ. Посмотри сама, каково это, точно ты на восьмомъ мѣсяцѣ...

— Такъ поправьте, мама. Панъ Ендрусь, садитесь у окна и не оглядывайтесь назадъ. Мама, вы скорѣе одѣвайтесь,—потребовала Манька.

Онъ сѣлъ, какъ ему приказали, и смотрѣлъ въ окно на высокую башню кафедральнаго собора, слыша за собой шелестъ платья, шорохъ ботинокъ, которыя вытаскивали изъ-подъ кровати, быстрые шаги Маньки, которая, бѣгая по комнатѣ, каждую минуту раздражалась смѣхомъ, или, подкрадываясь къ нему сзади, поводила мокрымъ перомъ по его лицу.

— Панна Маня, поймаю,—кричалъ онъ весело и не оборачиваясь ловилъ ее сзади себя руками.

— Вы сидите спокойно, не то глаза завяжу.

— И съ мѣста не двинусь,—а только что это за франты придутъ сегодня вечеромъ?

— Пусть вамъ Юзя скажетъ.

— Кавалеръ придетъ. У него лавка на Желѣзной,—объяснила мать изъ-за ширмы.

— Значить, панна Маня своего уже въ трубу пустила.

— Что это вы выражаетесь... какъ сапожникъ,—закричала старуха.—Панъ Янъ привелъ его въ четвергъ. Прекрасная партія, и Юзъ онъ тоже понравился.

— Очень шикарный кавалеръ,—шепнула Юзя.

— Цилиндръ на немъ немного карболовкой пахнетъ, и браслетъ на рукѣ носить,—шутила Манька, несмотря на знаки матери,—съ конфетами пришелъ, отъ нихъ немножко селедками несло, но ничего—съѣли. Сидѣлъ весь вечеръ и съѣлъ колбасы копеекъ на пятнадцать... говорилъ, что его сватаютъ барышнѣ, у которой есть свой домъ... что у нея братъ ксендзъ... что онъ для будущаго хозяйства купилъ два матраца на торгахъ, но уже провѣтренные, и что Юзя была бы въ самый разъ для его дѣла...

— Манька, не болтай глупостей,—напала на нее Юзя.

На минуту стало тихо, у Ендруся болѣзненно сжалось сердце, и слезы остановились на глазахъ, онъ наклонился, чтобы незамѣтно смахнуть ихъ, какъ вдругъ Юзя, точно для того, чтобы посмотреть въ окно, оперлась грудью о его плечи и, прижавшись головой къ его лицу, шепнула:

— Вы не вѣрьте. Какъ много народу передъ костеломъ,—прибавила она громко.—Мама, пойдемъ скорѣе, звонять.

И дѣйствительно загудѣли колокола—такъ внезапно и такъ громко, что стадо голубей взвилось надъ башней, закружило высоко въ воздухѣ точно горсть бѣлыхъ перьевъ, поднятыхъ вѣтромъ; потомъ загудѣли колокола въ костелѣ августинцевъ—дрожащимъ густымъ басомъ; грянули мѣдные звуки въ костелѣ Пiarовъ, хлынули какъ пламя къ небу; откуда-то издалека, изъ костела Паулиновъ, медленно плыли широкіе волнистые звуки; и, наконецъ, едва слышно, какъ журавлиный клекоть, поплыли пѣвучіе звуки съ Краковского предмѣстья.

Стекла тихо звенѣли, комната наполнилась мѣдными звуками и, казалось, волновалась вся и отвѣчала отголосками,—душу охватывалъ болѣзненно сладкій ритмъ.

Панны были уже готовы, только мать еще копалась, и онъ кружились около нея, какъ волчки.

Ендрусъ, съ котораго сняли обязанность сидѣть у окна, пожиралъ теперь глазами панну Юзю, такой красивой казалась она ему сегоднѣ; она была стройная и гибкая; бедра ея волновались, когда она ходила; кофточка едва могла обхватить ея высокую грудь; красныя губы играли на блѣдномъ лицѣ съ нѣжными веснушками, какъ кораллы; свѣтлыя рѣсницы закрывали голубые глаза съ золотистымъ

оттѣнкомъ—и онъ водилъ за ней влюбленными глазами, пока Манька не размѣялась.

— Что это вы глаза пялите, какъ котъ на колбасу... это Юзя, вы ее не признали... мы идемъ къ вечернѣ, а не къ вѣнцу.

Она улыбулась насмѣшливо, но когда онѣ выходили, онъ тѣми же влюбленными глазами обвелъ комнату и всю обстановку и попрощался съ нею грустнымъ вздохомъ, точно прощался навсегда.

Въ костелѣ не было давки, и онъ прошелъ вмѣстѣ съ ними къ скамьямъ; женщины сѣли, а онъ сталъ рядомъ съ нею.

Вечерня уже началась, сумракъ заливалъ костелъ, свѣчи горѣли въ темныхъ алтаряхъ, надъ главнымъ алтаремъ сонно маячили призраки витражей, органъ звучалъ тихой молитвой, иногда раздавался хоръ голосовъ и уносился въ высь, подъ своды, какъ плачущая пѣсня заблудившихся въ страшномъ лѣсу, порой раздавался въ тиши шопотъ молитвъ, точно дождь падалъ съ листьевъ, но Ендрусь ничего не слышалъ, онъ смотрѣлъ только на головку Юзи, склоненную надъ книгой, и мысли его были гдѣ-то далеко.

Онъ вспоминалъ дѣтскіе годы, забытыя могилы родныхъ, минувшіе дни... и вскорѣ забылъ онъ, гдѣ онъ—окруженный золотою сѣтью огней, звуковъ и молитвъ, онъ погрузился въ тяжелое мертвенное раздумье.

Органъ игралъ такъ тихо и монотонно, что ему захотѣлось спать, онъ зѣвалъ украдкой, тревожно потирая глаза, такъ какъ въ глубинѣ костела передъ нимъ выросталъ огромный бѣлый домъ... а въ окнѣ второго этажа ему мерещилось это лицо съ зловѣщей улыбкой, и рука его машинально искала ножъ спрятанный на груди, и дрожь охватывала все тѣло.

Музыка утихла, и онъ пришелъ въ себя, вечерня кончилась, волна людей увлекла его съ собой къ выходу. Тамъ ихъ поджидали приглашенные на вечеръ. Юзя вспыхнула и очень привѣтливо поздоровалась со своимъ кавалеромъ. Манька, разговаривая со своимъ, ежеминутно раздражалась смѣхомъ, даже прохожіе оборачивались. Старуха очень торжественно пригласи ихъ выпить кофе. Только Ендрусь шелъ одинъ, сзади, никто съ нимъ не разговаривалъ, никто не знакомилъ съ этими новыми господами. Онъ шелъ сзади и угрюмыми глазами смотрѣлъ вслѣдъ сопернику. Онъ вошелъ за ними въ сѣни, но остановился передъ лѣстницей, такъ какъ его никто не приглашалъ... подождаль, надѣясь, что его позовутъ, что, можетъ быть, о немъ случайно забыли... но на лѣстницѣ все выше раздавались веселые голоса дѣвушекъ... смѣхъ Маньки... скрипъ ступеней.. быть можетъ, они не замѣтили даже, куда онъ дѣвался...

Дверь въ квартиру открылась... Онъ напрягъ свой слухъ, сердце его замерло въ ожиданіи... дверь съ трескомъ захлопнулась.

Его окружила тишина, и точно могильный камень сдвинулъ душу.

О немъ забыли.

На улицѣ онъ еще разъ взглянулъ на ихъ окна, тамъ горѣлъ огонь... онъ вздохнулъ тяжело и пошелъ.

Онъ пересилилъ себя, но почувствовалъ, что его страшно обидѣли, и что душу его заливають горькія слезы грусти и безсильнаго бѣшенства.

— Пусть песь за ними увивается, морды этакія,—выругался онъ съ ненавистью.

Пробило шесть часовъ, когда онъ очутился на площади Сигизмунда, было уже темно, фонари разбѣжались во всѣ стороны путанной цѣпью огней, былъ тихій и теплый вечеръ; послѣдніе листья опали на тротуары, переполненные людьми. Онъ шелъ посрединѣ тротуара, грубо расталкивая празднично одѣтую толпу—и не разъ вслѣдъ ему легло грозное ругательство.

— А въ морду хочешь? — кричалъ онъ иногда, показывая кулакъ.

Люди тревожно отступали, ругательства замолкали,—въ глазахъ его были молніи—и блѣдное лицо было полно ненависти. Онъ часто останавливался, не отдавая себѣ въ этомъ отчета, и медленно, неутомимо приближался къ тому дому.

Онъ долго стоялъ передъ какой-то витриной, какъ вдругъ кто-то шепнулъ ему:

— Не отворачивайся... карауль... онъ можетъ выйти каждую минуту...

Онъ наклонился къ окну—узналъ этотъ голосъ и зналъ, что значать эти слова. Успокоился совершенно и точно окаменѣлъ. Минута, которая близилась, овладѣвала имъ уже нераздѣльно.

Онъ немного сгорбился, засунулъ руки въ карманы и, съ необыкновеннымъ вниманіемъ разсматривая лица прохожихъ, поплелся лѣниво, какъ челоуѣкъ, который никуда не торопится, но, проходя мимо этого дома, онъ устремилъ на него быстрый какъ молнія взглядъ, вѣрный—какъ объективъ фотографическаго аппарата: сторожъ дремалъ у воротъ, большой подъѣздъ былъ освѣщенъ, въ глубинѣ двора маячили какія-то деревья.

— Слишкомъ свѣтло, на обратномъ пути можно будетъ наткнуться на сторожа,—рѣшилъ онъ.

Черезъ нѣсколько домовъ былъ галантерейный магазинъ, въ большомъ окнѣ лежали груды воротничковъ, сорочекъ и галстуховъ;

онъ смотрѣлъ каждый предметъ въ отдѣльности и, ничего не замѣтивъ, повернулъ назадъ. Онъ шелъ спокойно и осторожно, вошелъ въ переулокъ, взглянулъ на полицейскаго, который стоялъ на углу, и снова вернулся. Онъ прошелъ такъ нѣсколько разъ, взадъ и впередъ, ни на минуту не отводя глазъ отъ пустого подъѣзда. Онъ проходилъ подъ стѣнами, какъ голодный волкъ въ ожиданіи добычи, каждую минуту готовый къ прыжку. Онъ ждалъ съ напряженнымъ до боли вниманіемъ и въ то же время думалъ о проказахъ ребятишекъ дома, о дроздѣ и тихо сталъ насвистывать вальсъ, которому онъ училъ дрозда.

Такъ какъ было воскресенье, то большинство магазиновъ было заперто, на широкомъ тротуарѣ было темно, только кое-гдѣ мракъ прорѣзался полосами свѣта, горѣвшаго въ витринѣ; онъ проходилъ, не замѣчая ихъ, но красный свѣтъ, который падалъ изъ окна аптеки, отъ большого сосуда, наполненного какой-то кровавой жидкостью, былъ ему очень неприятенъ; горѣлъ, какъ живая кровь—и онъ обходилъ его, смѣясь надъ глухою тревогой.

Ночь уже висѣла надъ городомъ, золотисто-сѣрое небо окружало мрачныя дома, но улица все еще была шумная и людная. Толпы гуляющихъ сталкивались одна съ другой среди неустаннаго шума, порой раздавался громкій свободный, беззаботный смѣхъ или веселое хихиканье дѣвушекъ. Раздавались какіе-то крики, порой слышался дѣтскій плачь. Уличные женщины, пестро разодѣтыя, заглядывали въ глаза мужчинъ и какъ разноцвѣтные мотыльки мелькали въ муравейникѣ воскресной публики. Деревянная мостомая глухо стучала подъ копытами, грохотали пролетки, слышались трамвайные звонки, а шумъ шаговъ и разговоровъ былъ какъ далекое море, и колебался свѣтъ фонарей, стоявшихъ сторожевой цѣпью вдоль улицъ.

У какихъ-то воротъ сторожъ тихо игралъ на флейтѣ, а гдѣ-то въ полутемномъ подъѣздѣ стояла какая-то пара, держась за руки; мѣстами надъ магазинами загорались вдругъ золотыя буквы.

Порой шумѣли на тротуарахъ деревья, и проходилъ человѣкъ съ коробкой, привѣшенной къ шеѣ, и кричалъ монотонно:

— Сигары, папиросы и спички!

Ендрусь все это слышалъ и запоминалъ все подробно, но его все больше интересовалъ городской, такъ какъ однажды, свернувъ за уголъ, онъ услышалъ за собой его тяжелые и мѣрные шаги. Онъ нервно вздрогнулъ, но не повернулъ головы, преспокойно останавливаясь передъ витриной съ бѣльемъ. Великолѣпный красный галстухъ съ зелеными полосками бросился къ ему въ глаза, онъ смотрѣлъ на него долго съ глубокимъ удовольствіемъ.

— Пойдемъ ко мнѣ.

Его испугалъ этотъ голосъ. Какая-то дѣвушка стояла рядомъ съ манящей улыбкой на неестественно красныхъ губахъ. Онъ отошелъ отъ нея безъ слова и пошелъ своей дорогой, но черезъ нѣсколько минутъ увидѣлъ ее идущей съ какимъ-то старикомъ. И, самъ не зная отчего, узналъ ее издали, хотя его задѣвало сегодня уже много женщинъ, и машинально пошелъ за ней до угла улицы; городской посмотрѣлъ на него, разсматривая что-то подъ фонаремъ; онъ остановился и торопливо повернулъ.

Пробило семя часовъ. Время шло страшно медленно.

Онъ ждалъ цѣлый часъ, а тотъ еще не показывался. Минутами онъ думалъ уже, что, можетъ быть, прозѣвалъ его и не замѣтилъ... Правда, окна второга этажа были все еще освѣщены, но если тотъ ускользнулъ незамѣтно...

— Я всю ночь буду ждать и дождусь,—рѣшилъ онъ, и хотя чувствовалъ себя усталымъ, хотя его трясла лихорадка, но онъ не колебался ни одной минуты. Онъ не думалъ даже о своемъ страшномъ замыслѣ и только ждалъ съ нетерпѣніемъ этой минуты... минуты удара. Нѣсколько разъ онъ замѣчалъ товарища, который караулил издали, они кидали другъ другу многозначительные взгляды и расходились.

Минуты казались ему вѣками.

— Обязательно куплю себѣ этотъ галстухъ,—думалъ онъ, останавливаясь передъ витриной.

— Пойдемъ ко мнѣ,—тихо просила та же дѣвушка, очевидно не узнавая его. Теперь онъ увидѣлъ, что она была довольно молодѣ и красива, съ густыми свѣтлыми волосами и лицомъ въ веснушкахъ.

— Ты далеко живешь?—спросилъ онъ, продолжая коситься на ворота.

— На Пивной, отсюда нѣсколько шаговъ,—она подошла ближе.

— Вдругъ онъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе, увидѣвши, что сторожъ всталъ.

— Пойдемъ, миленькій,—ластилась она, беря его за руки.

Какой-то прохожій пронзительно свистнулъ.

— Отстань.—И онъ оттолкнулъ ее съ силой. Она выругалась, а онъ скрылся въ тѣни и перебѣжалъ на другую сторону улицы, останавливаясь противъ воротъ... Въ глубинѣ подъѣзда показалось нѣсколько человѣкъ: высокій полный мужчина, женщина и двое маленькихъ дѣтей.

— Наконецъ, — крикнулъ онъ почти съ радостью, но такое страшное безсиліе овладѣло имъ на минуту, что онъ долженъ былъ опереться о фонарь, руки его ходили ходуномъ, и какая-то вну-

тренинн дрожь становилась все сильнѣе и трясла его, какъ въ лихорадкѣ; но, несмотря на это, онъ вполне владѣлъ собой и слѣдилъ жадными глазами, какъ эти люди выходили изъ воротъ... мужчина сказалъ что-то сторожу и, закуривъ сигару, взялъ женщину подъ руку... дѣти пошли впередъ.

Какъ тѣнь шелъ онъ за ними, не спуская съ нихъ глазъ, но черезъ минуту быстро зашагалъ впередъ, толкая прохожихъ и, проскользнувъ между экипажей, обогналъ ихъ, сдѣлалъ крюкъ и остановился впереди нихъ, черезъ нѣсколько домовъ. На тротуарѣ было уже гораздо меньше народу, онъ снова наткнулся на ту же дѣвушку, но ея не замѣтилъ.

Онъ шелъ медленно, пробуя разглядывать прохожихъ, заглянулъ въ лицо какой-то женщинѣ, но его глаза машинально слѣдили за тѣми и только ихъ видѣли... они шли по серединѣ тротуара... онъ видѣлъ ихъ, когда толпа передъ ними разступалась.. Онъ курилъ сигару... женщина тяжело опиралась на его руку, выпячивая большой животъ... дѣти шли впереди; двѣ дѣвочки; маленькая прижимала къ груди обѣими руками бѣлую плюшевую собачку.

Ендрусъ выпрямился, вдохнулъ въ себя воздухъ и пошелъ еще медленнѣе... Ихъ раздѣляло только нѣсколько десятковъ шаговъ... Онъ видѣлъ огонь сигары... передъ нимъ шло нѣсколько человѣкъ... его красное лицо мелькнуло подъ фонаремъ... Ендрусъ немного согнулся, точно собираясь сдѣлать прыжокъ... руку онъ держалъ на рукояткѣ... тотъ былъ уже почти въ нѣсколькихъ шагахъ... онъ слышалъ его голосъ... сердце его забилося, но весь онъ былъ — одной неумолимой волей, все исчезло изъ его памяти.

Еще какихъ-нибудь пять шаговъ... мимо него прошли съ веселымъ щебетаньемъ дѣвочки... онъ затаилъ дыханіе... ихъ отдѣлялъ только кровавый свѣтъ изъ окна аптеки...

Еще два шага... онъ немного покачнулся...

Еще одинъ... и... столкнулся съ нимъ... выпрямился сразу и, точно уступая ему дорогу, со страшной силой вонзилъ ему ножъ въ лѣвый бокъ...

Это случилось такъ мгновенно, что раненый даже не вскрикнулъ, слегка покачнулся, взмахнулъ руками и упалъ навзничь.

А Ендрусъ пошелъ дальше тѣми же тихими, мѣрными шагами. Поднялся крикъ, онъ не обернулся, но и не могъ бѣжать, ноги его одеревенѣли.

Люди стали разбѣгаться, другіе стали толпиться около чело-вѣка, лежавшаго на тротуарѣ; женщины, не понимая, что случилось, старались поднять его, дѣвочки стояли, дрожа отъ страха.

Черезъ минуту какіе-то люди внесли его въ аптеку.

Ендрусъ вдругъ остановился и вмѣстѣ съ другими подошелъ къ мѣсту происшествія; онъ былъ блѣднѣе обыкновеннаго, но такъ спокойнѣе, что, замѣтивъ на тротуарѣ собачку, которую потеряла дѣвочка, занесъ ее въ аптеку.

Тотъ уже умиралъ; онъ лежалъ на диванѣ съ искривленнымъ лицомъ, поблѣднѣвшимъ какъ полотно, широко открытые глаза смотрѣли въ одну точку, губы застыли въ какомъ-то нѣмомъ страшномъ крикѣ, обнаженная грудь обливалась стынущей кровью, порой онъ хрипѣлъ, двигалъ ногами и выпрямлялся. Спасенія уже не было.

Люди безпомощно толпились въ мрачномъ молчаньи, и только женщина, которая поддерживала его голову, выла не своимъ голосомъ, а дѣвочки жалобно плакали.

Ендрусъ, стоя въ толпѣ, смотрѣлъ на умирающаго спокойными, слегка сочувствующими глазами, какими онъ обыкновенно смотрѣлъ на все чуждое и непріятное. Онъ точно совершенно забылъ, что онъ-то и убилъ, что его ножъ пронзилъ тотъ бокъ, изъ котораго плыла красная вспѣнная кровь. Съ равнодушнымъ любопытствомъ смотрѣлъ онъ въ лицо умирающему, и ни разу сердце его не забилося страхомъ или тревогой. Онъ стоялъ въ толпѣ и смотрѣлъ какъ всѣ другіе на необыкновенное зрѣлище. Онъ еще ни въ чемъ не отдавалъ себѣ отчета.

Часы ожиданья, причины убійства, все, что онъ только что пережилъ, вдругъ кануло куда-то въ бездну внѣ памяти, точно никогда ничего не было. Его трогалъ плачъ дѣтей, и была минута, когда ему хотѣлось взять ихъ на руки, прижать къ груди и отереть слезы на свѣтлыхъ печальныхъ личикахъ, какъ онъ это дѣлалъ съ дѣтьми Игнацовой.

Пріѣхала карета скорой помощи, появилась полиція, но онъ стоялъ точно вросшій въ землю, пока кто-то силкомъ не вытащилъ его на улицу.

— Ты съ ума сошелъ? Самъ лѣзешь имъ въ руки. Бѣги.

— А что, не правда? Все по-благородному, безъ крика.

Никто ему не отвѣтилъ, онъ оглянулся съ удивленіемъ, товарища уже съ нимъ не было.

Онъ почувствовалъ себя какъ-то неловко, поднялъ воротникъ, старательно застегнулся; ножъ лежалъ на томъ же мѣстѣ, онъ машинально ощупалъ его.

На тротуарѣ было почти пусто, только кое-гдѣ чернѣли кучки прохожихъ, магазины были уже заперты, въ тѣни подъ стѣнами спорили какія-то дѣвушки, а въ сѣняхъ раздавался смѣхъ служанокъ; нѣсколько экипажей стояло подъ фонарями, слѣпой музыкантъ со скрипкой подъ мышкой шелъ, нащупывая палкой край тротуара, у

воротъ гонялись другъ за другомъ собаки, казалось, будто въ домахъ горѣло больше огней; часы пробили какой-то часъ...

Онъ остановился на углу, машинально разглядывая городского, и когда кто-то взялъ его подъ руку, онъ обмеръ, но не двинулся съ мѣста.

— Идемъ, хорошенькій?

Онъ весело разсмѣялся, дѣвушка прижалась къ нему и, быстро болтая, повела его съ собой, но подъ фонаремъ кинула на него украдкой страшный взглядъ.

— Вы не видѣли, какъ тамъ заколоди какого-то человѣка?

— Кого? гдѣ?—Онъ точно вдругъ проснулся.

— Въ каретѣ скорой помощи отвезли, только живого не довезутъ.

— Я видѣлъ... въ аптекѣ лежалъ... дѣти кричали...—онъ нервно вздрогнулъ.

— Говорятъ, шпикъ... — она тревожно оглянулась, — сторожъ говоритъ, что его четверо ожидали у воротъ.

— Будетъ вздоръ молоть,—вдругъ вспылить онъ.

— Чего расхорохорился? я васъ не тяну, идите куда угодно,—крикнула она, обидѣвшись.

Онъ обнялъ ее и, съ силой прижавши къ себѣ,—шепнулъ ласково:

— Пойдемъ скорѣе, у меня времени нѣтъ.

Они пошли уже примирившись, только дѣвушка оглядывалась каждую минуту съ едва скрываемымъ страхомъ, — такъ что онъ спросилъ:

— Чего боишься?

— Ничего, ничего, мнѣ показалось, что кто-то бѣжитъ за нами.

Она снова оглянулась.

— Должно быть, тебя твой кавалеръ вздуть обѣщался, вотъ ты и вертишься...—пошутилъ онъ.

— Нѣтъ у меня кавалера, я бѣдная сиротинushка,—и она взглянула ему нѣжно въ глаза: онъ ей очень нравился.—Да, если вы захотите, такъ мы можемъ полюбить другъ друга надолго.

Она прижалась къ нему со страстью, но онъ такъ взглянулъ на нее въ отвѣтъ, что она опустила голову и замолчала.

Черезъ нѣсколько минутъ они были уже на Пивной, въ сводчатой комнатѣ перваго этажа. Онѣ жили тамъ вдвоемъ,—дѣвушка вела его тихонько, такъ какъ у подруги былъ гость; на ширмахъ, закрывавшихъ кровать, висѣли разныя части мужского туалета.

Ендрусь сѣлъ у столика и, закуривъ папиросу, блуждалъ глазами по комнатѣ, едва освѣщенной одной свѣчой. Въ воздухѣ чув-

ствовалась затхлая сырость. Онъ улыбнулся, такъ какъ за ширмами раздавался тихій шопоть и поцѣлуи.

— Этотъ домъ проходной?—спросилъ онъ вдругъ.

— На Свентоянскую выходить.—Она закрыла окно платкомъ и поставила ширму у кровати.

— Я тебя гдѣ-то уже видѣлъ,—сказалъ онъ, внимательно глядя на нее.

— Вы не помните? Я васъ видѣла у магазина.

Она сѣла къ нему на колѣни.

— А потомъ видѣла васъ на улицѣ, даже нѣсколько разъ... у васъ было такое лицо, точно вы пріятеля ожидали.—Она хитро улыбнулась.

— Я ждалъ одну бабу, не пришла, чортъ ее дери...—Онъ отвѣтилъ быстро и вдругъ тихо засмѣялся, но такъ странно и страшно, что дѣвушка отодвинулась.

— Ахъ, вотъ отчего вы такой бѣшенный были!

— Какъ же, я ждалъ больше часу, и она не пришла. Онъ выругался и сталъ такъ неловко притворяться сердитымъ, что дѣвушка взглянула на него подозрительно. Въ ту же минуту и онъ взглянулъ на нее пристальнымъ пугливымъ взглядомъ, и глаза ихъ встрѣтились. Но тотчасъ разбѣжались, какъ испуганныя птицы, она закашлялась и стала быстро оправлять подушку. Онъ вздрогнулъ и хотѣлъ было подняться, точно собираясь бѣжать, но, прежде чѣмъ онъ тронулся съ мѣста, она страстно бросилась къ нему на шею.

— Оставайтесь до утра... дорогой мой... у меня такъ тихо... золотой мой...—умоляла она, осыпая его поцѣлуями и прижимаясь къ нему всѣмъ тѣломъ.

Страхъ его прошелъ. Онъ обнималъ ее порывисто, его охватилъ внезапный ослѣпительный пожаръ взволнованной крови, неутолимая жажда, онъ схватилъ ее какъ перышко, бросилъ на кровать и сталъ душить въ объятіяхъ.

— Раздѣньтесь,—шепнула она, выскальзывая у него изъ рукъ.

Онъ бросилъ съ такой силой пальто на стулъ, что ножъ съ звономъ упалъ на полъ изъ кармана. Онъ сразу пришелъ въ себя, но стоялъ, не двигаясь съ мѣста, а дѣвушка засмѣялась.

— Ножикомъ, работаешь, мальчикъ?—шепнула она въ шутку.

— Ну вотъ... обыкновенный ножъ,—отвѣтилъ онъ такъ же, поднимая пальто съ пола.

— Дай-ка нѣсколько копеекъ, я принесу чего-нибудь поѣсть. Вредно любить на голодный желудокъ, да за одно и на монопольку дай...

— Ладно, мнѣ тоже ѣсть захотѣлось.—Онъ уже совершенно

пришелъ въ себя, спряталъ ножъ на прежнее мѣсто и далъ ей денегъ; она сейчасъ же побѣжала.

Его окружила тишина, за ширмами послышалось нервное сопѣніе, онъ лѣниво потянулся, всѣ кости болѣли, онъ чувствовалъ странную усталость, а правой рукой не могъ пошевелинуть отъ боли.

— Вотъ тебѣ и удовольствіе. Завтра я въ рукѣ напильника не удержу,—думалъ онъ, тяжело опускаясь въ кресло; лицо его горѣло, глаза были точно засыпаны пескомъ, онъ протиралъ ихъ и зѣвалъ отъ усталости, ежеминутно погружаясь въ какое-то странное состояніе; вѣдь онъ не спалъ, но стоило ему закрыть глаза, какъ ему начинало казаться, что онъ тамъ, на улицѣ, что онъ снова ждетъ... что снова онъ ходитъ, все проходило у него передъ глазами, какъ туманныя картины... проходили люди... горѣли огни... слышались голоса.

Онъ вскочилъ. Пролетка проѣхала мимо съ такимъ грохотомъ, что вся мебель заплясала; онъ точно проснулся, но почувствовалъ такую страшную усталость и сонливость, что бросился на кровать и моментально заснулъ. Черезъ нѣсколько минутъ его разбудила дѣвушка, но ему казалось, что онъ спалъ нѣсколько часовъ—такимъ бодрымъ почувствовалъ онъ себя и сталъ ѣсть жадно, не забывая и о бутылкѣ.

Вскорѣ гости съ подругой ушли, и они остались одни. Оба были уже въ прекрасномъ настроеніи и очень возбуждены, когда встали изъ-за стола. У Ендруся кружилось въ головѣ, онъ почти опьянѣлъ отъ этихъ нѣсколькихъ рюмокъ, смѣялся безъ всякаго повода, пѣлъ, шутилъ и не вполне сознавалъ, что съ нимъ происходитъ.

— Идите скорѣе,—позвала она, нетерпѣливо ерзая на кровати; со смѣхомъ отбросила одѣяло и лежала нагая, безстыдно маня своей ослабительной бѣлизной; онъ сталъ торопливо раздѣваться, но руки были точно не свои—онъ не могъ найти запонки отъ галстука хотѣлъ сначала снять рубашку, а потомъ почему-то застегнулъ ее.

— Ишь налимонился,—засмѣялась она, спрыгивая съ постели, чтобы помочь ему, но, растегнувъ жилетъ, она вдругъ отскочила назадъ... на сорочкѣ было кровавое пятно... Она отступила и, спрятавшись подъ одѣяло, свернулась въ клубокъ—смотрѣла на него съ невыразимой тревогой, изумленіемъ и ужасомъ... Онъ понялъ сразу все, такъ какъ вмѣстѣ съ нею замѣтилъ кровавое пятно; это, должно быть, была кровь на ножѣ; онъ страшно поблѣднѣлъ и бросился къ кровати—наклонившись надъ ней, онъ впился обезумѣвшими глазами въ ея зрачки, окаменѣвшіе отъ страха, и спросилъ тихо, зловѣще:

— Видѣла, видѣла?..

Она лежала не дыша, крикъ замеръ на раскрытыхъ губахъ, она

отступала передъ этимъ неумолимымъ лицомъ и не могла оторвать глазъ отъ его взгляда, остраго какъ ножъ.

Онъ искалъ чего-то рукой на груди, зубы его стучали, а лѣвая рука хищнымъ движеніемъ тянулась къ горлу... Она была близка къ безумію.

— Что съ тобой? Что?—простонала она, наконецъ, собравъ остатки силъ.

Это нѣсколько отрезвило его, и онъ сталъ лихорадочно одѣваться.

— Мнѣ нужно итти, времени нѣтъ, приду въ другой разъ,—бормotalъ онъ, избѣгая ея глазъ; она не смѣла произнести ни слова, не смѣла даже пошевелинуться, когда онъ уходилъ.

Нѣкоторое время онъ стоялъ въ темныхъ пустыхъ сѣняхъ, и мрачныя мысли терзали его:

— Все знаетъ... выдастъ... можетъ быть, уже сказала,— онъ стиснулъ рукоятку ножа и вернулся къ двери; дверь была закрыта, онъ нетерпѣливо постучалъ.

— Открой, Рыся. Открой, я забылъ дать тебѣ денегъ,—просилъ онъ ласково и услышалъ шелестъ за дверью, лязгъ ключа; но дверь не открылась, она не дала обмануть себя обѣщаніемъ, почувяла смерть.

Не дожидаясь больше, онъ по узкому дворику вышелъ на Свентоянскую, въ сосѣднемъ домѣ жила панна Юзя; онъ по привычкѣ взглянулъ въ дверь, въ окнахъ четвертаго этажа горѣлъ свѣтъ, и отсвѣтъ его падалъ на башню костела. Онъ плюнулъ съ какимъ-то недружелюбнымъ и завистливымъ чувствомъ и побѣжалъ во весь духъ домой на Броварную улицу.

Въ квартирѣ не было никого, въ сосѣднихъ комнатахъ еще горѣли огни, было не больше десяти часовъ,—ворота были открыты. Всѣ окна перваго этажа были освѣщены, гдѣ-то раздавалась музыка и веселый шумъ многочисленныхъ голосовъ.

Онъ быстро переодѣлся, сжегъ въ печи сорочку, бросилъ ножъ на самое дно сундука подъ вещи и сталъ думать, что ему дѣлать. Ему хотѣлось заглянуть туда, откуда слышалась музыка, но вскорѣ это желаніе прошло. Онъ заварилъ себѣ чаю и, отпивая его маленькими глотками, смотрѣлъ на дворъ, на ряды ярко освѣщенныхъ оконъ, почти машинально заглядывая внутрь разныхъ квартиръ: у хозяина, подъ лампой, висѣвшей надъ столомъ, писалъ что-то мальчикъ въ форменномъ мундирѣ, а какая-то худая женщина съ обвязаннымъ лицомъ раскладывала пасьянсъ; рядомъ, въ квартирѣ лавочницы, дѣти гонялись по комнатѣ, и лаяла собака; дальше—кто-то читалъ газету, и старая женщина сидѣла спиной къ окну, съ кошкой на колѣняхъ. Онъ поднималъ усталые глаза на верхніе этажи, въ одномъ

окнѣ онъ увидѣлъ голову сапожника-еврея, склоненную надъ работой—и неустанное движеніе его рукъ, широко расходившихся въ разныя стороны.

Музыка все громче раздавалась въ одной изъ квартирѣ.

— Мѣхи не выдержатъ,— пробормоталъ онъ, грустно прислушиваясь къ звукамъ гармоники. Михаилъ игралъ какой-то бѣшенный танецъ, стѣны дрожали отъ притоптываній, грянулъ взрывъ смѣха, а черезъ минуту, когда все утихло, чей-то молодой голосъ запѣлъ:

Ужъ широки воды въ нашей Вислѣ.

Ты скажи намъ, панна, свои мысли.

Пѣсня тянулась довольно долго и надоѣла ему, наконецъ.

— Чтобъ васъ черти взяли, попортятъ мнѣ инструментъ и спать не дадутъ.

Онъ ушелъ за занавѣску въ свой уголь и скоро заснулъ... А на слѣдующій день, въ понедѣльникъ утромъ, хотя рука еще болѣла, онъ какъ всегда пошелъ на фабрику и какъ всегда принялся за свою тяжелую ежедневную работу.

Все, что было вчера, кануло куда-то въ бездну непамяти. Онъ убилъ человѣка и ни разу не почувствовалъ никакихъ упрековъ совѣсти, никакого страха. Убилъ человѣка и не подумалъ объ этомъ, какъ не думаютъ о чемъ-то далекомъ и прошломъ.—Было—и прошло безслѣдно:

И когда ему изумлялись тѣ, кто былъ посвященъ въ его тайну, онъ отвѣчалъ совершенно искренно:

— Если будетъ какая-нибудь новая работа, я съ моимъ удовольствіемъ. Для дѣла все сдѣлаю. Не велико искусство, каждый сумѣетъ.

Михаилъ хотѣлъ разспросить его о вчерашнихъ замыслахъ.

— Знаешь, я помирился съ этимъ франтомъ. Славный малый,— солгалъ онъ предусмотрительно.

Но Михаилъ взглянулъ на него недовѣрчиво: онъ зналъ его тихое упорство.

Въ тотъ же день вечеромъ газеты пространно писали объ этомъ убійствѣ; нѣкоторые изъ нихъ рвали на себѣ волосы, скорбя объ одичаніи нравовъ, другія роняли слезы на могилѣ убитаго отца семейства, благороднаго гражданина и т. п.

Полиція разыскивала убійцу съ удвоеннымъ рвеніемъ, и весь городъ нѣсколько дней говорилъ объ этомъ неслыханномъ преступленіи.

Говорили объ этомъ и на фабрикѣ. Ендрусь съ улыбкой выслушивалъ разныя сказки о преступникахъ, и это такъ занимало его..

что онъ иногда первый начиналъ объ этомъ разговоръ и самъ дѣлалъ различныя предположенія.

— Убили его тѣ, кто въ Бога не вѣрятъ. Боже мой, такой почтенный человѣкъ, чиновникъ, принадлежалъ къ бернардинскому братству, ужъ я знаю.

Но Ендрусь зналъ, къ какому братству принадлежалъ тотъ, и только плюнулъ ему на поминки

Но и Игнацова заговорила о томъ же—и онъ опять не сказалъ ни слова, а послѣ ужина позвалъ дѣтей къ себѣ въ уголь и сталъ стругать имъ мельницу; Манькѣ, которая сегодня все плакала, онъ обѣщалъ нѣсколько разъ купить бѣлую собачку, которая сама бѣгаетъ.

Онъ вспомнилъ игрушку той дѣвочки...

— Вы оглохли сегодня, панъ Ендрусь.—Игнацова уже злилась на него за его молчаніе.

— Слушаю, какъ же. Скажите что-нибудь новаго,—отвѣтилъ онъ со смѣхомъ, и Игнацова пробормотала сердито:

— Жильцы, чортъ ихъ дери, бѣгаютъ по городу или спать, не съ кѣмъ и слова сказать. Ишь, баринъ какой нашелся.

Онъ разсердился, взялъ гармонику и сказалъ ей въ дверяхъ:

— Съ перваго числа я могу съѣхать, за два рубля я вездѣ найду квартиру, только безъ таракановъ и крика.

— Ишь его. Какой графъ. Тараканы ему мѣшаютъ. Да иди, куда хочешь!—закричала она, уязвленная въ самое сердце.

Онъ пошелъ къ еврею и игралъ тамъ почти весь вечеръ, окруженный толпой дѣтвора; старикъ прилежно работалъ, иногда причмокивалъ отъ удовольствія, ударялъ въ тактъ молоткомъ, а когда Ендрусь сталъ уходить, онъ шепнулъ тихо:

— Я знаю, кого убили въ воскресенье... Чтобъ со всѣми такъ дѣлали... чтобъ ихъ...

— Можетъ, и будутъ такъ дѣлать,—онъ улыбнулся и пошелъ спать, но заснулъ не сразу; въ ушахъ у него звучали слова сосѣдки, а потомъ онъ вспомнилъ о паннѣ Юзѣ, и такая тоска охватила его сердце, что, несмотря на все, онъ рѣшилъ пойти къ ней въ воскресенье.

Но до воскресенья было еще страшно далеко, столько длинныхъ дней и ночей.

И дни тащились такъ медленно, эти грустные дни поздней осени, сиротливые дни безъ солнца, сѣрые и мрачные; они вставали въ дымчатой пряжѣ мглы, съ гнилымъ и сырымъ запахомъ—и разстилались, вздрагивая отъ холода подъ шумъ дождя.

Ночью вѣтеръ гулялъ по крышѣ и свистѣлъ въ пустынныхъ

улицахъ, стонали деревья безъ листьевъ, бормотали водосточныя трубы, дома стояли мокрые и черные, и тяжелая грусть проникала во всѣ сердца и глухая тоска терзала душу.

А Ендрусъ нетерпѣливо считаль дни, такъ какъ его грызла нестерпимо мучительная тоска—и, не будучи въ силахъ дольше выдержать, онъ побѣжалъ однажды вечеромъ на Свентоянскую, но не посмѣлъ зайти, и только посмотрѣлъ на освященные окна, вздохнулъ и поплелся домой.

И съ этой надеждой на воскресенье онъ срывался каждый день вмѣстѣ съ первымъ далекимъ свисткомъ фабрикъ, хваталь стаканъ кофе и еще полусонный бѣжалъ по черной длинной улицѣ къ фабрикѣ, которая дышала уже дымомъ, освѣщенная солнцами электрическихъ лампъ, а когда раздавался второй свистокъ, онъ входилъ уже въ свое отдѣленіе и становился на своемъ посту—и всегда съ какой-то странной дрожью ожидалъ послѣдняго сигнала,—когда колеса начинали какъ бы сонно кружиться, желѣзный колоссъ вздрагиваль и раздавался свистящій шелестъ передаточныхъ ремней.

А потомъ, когда уже машины работали во-всю, когда вся фабрика лихорадочно дрожала и по заламъ перекачивался страшный грохотъ, точно ревъ моря въ бурю, онъ немного успокаивался и принимался за работу, забывая о себѣ и обо всемъ въ мирѣ. Такъ время прошло до субботы. Онъ какъ всегда поѣхаль обѣдать къ Игнацовой, поѣлъ торопливо, протянулъ было руку къ шапкѣ—какъ вдругъ она сказала пласивымъ голосомъ:

— Можетъ быть, вы вернетесь сегодня пораньше и посмотрите за дѣтми, я сегодня на весь вечеръ должна итти къ теткѣ, больна; это та, у которыхъ двѣ пролетки, крестная Маньки. Я, можетъ быть, тамъ на ночь останусь, а мой, Богъ вѣсть, когда вернется.

Онъ торжественно обѣщаль и побѣжалъ на Краковское предмѣстье, чтобы не сразу итти на фабрику, и вдругъ ему захотѣлось посмотрѣть тотъ галстухъ. Онъ виднѣлся еще въ витринѣ и казался теперь еще красивѣе.

— Я зайду за нимъ вечеромъ, послѣ получки,—рѣшилъ онъ, обѣщая себѣ надѣть его завтра передъ тѣмъ, какъ итти къ паннѣ Юзѣ.

Проходя мимо того дома, онъ машинально скользнулъ глазами по окнамъ второго этажа: они были открыты; потомъ онъ заглянулъ въ глубь аптеки, на диванъ, который стоялъ прямо противъ двери, и спокойно пошелъ дальше. Онъ вспомнилъ воскресную сцену такъ холодно и равнодушно, какъ вспоминаешь пустой забытый сонъ.

Какое ему было до этого дѣло? Вѣдь это все во имя дѣла.

— Одной сволочью меньше,—подумаль онъ, весело насвисты-

вая, и быстро побѣжалъ впередъ, чтобы поспѣть къ послѣдному свистку, но какое-то шествіе загородило ему дорогу у костела Св. Креста. Густая толпа запрудила тротуаръ и мостовую.

Ендрусь равнодушно разсматривалъ лица и бѣлыя облаченія ксендзовъ; гробъ уже выносили изъ костела, онъ тяжело качался надъ обнаженными головами, какой-то крикъ разорвалъ воздухъ, и раздался жалобный плачь; гробъ поставили на катафалкъ, покрыли его вѣнками, ксендзы запѣли, и шествіе двинулось. Ендрусь побѣжалъ своей дорогой, но на углу Обозной онъ вдругъ остановился.

— А можетъ быть это онъ,—ослѣпительной молніей промелькнуло у него въ мозгу; онъ обернулся, смертельно поблѣднѣлъ и сталъ смотрѣть испуганными глазами: гробъ былъ похожъ на цвѣточный холмъ и возвышался изъ черной массы людей,—унылая пѣсня звучала все тише, заглушенная грохотомъ экипажей.

— А можетъ быть... — зловѣще застонало въ немъ, и онъ быстро, не раздумывая, бросился за шествіемъ. Онъ хотѣлъ убѣдиться; золотая дощечка съ фамиліей блестяла уже издали, но его отдѣляла такая толпа, что онъ не могъ разобрать буквъ; онъ перешелъ на тротуаръ, чтобы взглянуть сбоку, и поколебался въ послѣднюю минуту; ледяная дрожь потрясла все его тѣло, въ глазахъ потемнѣло, ноги точно что-то опутало, онъ остановился и испугался своей окаменѣлости. Онъ боялся—и, мучаясь все больше и больше, все отставалъ отъ толпы, хотя продолжалъ идти, точно его влекла непреодолимая сила. Этотъ гробъ впивался ему въ глаза, какъ убранная цвѣтами черная лодка, которая, колыхаясь надъ моремъ головъ, плыла въ сѣромъ печальномъ воздухѣ.

Вдругъ онъ снова подошелъ ближе и, окидывая тоскующими тревожными глазами всѣ лица, увидѣлъ за катафалкомъ женщину въ черномъ и двоихъ дѣтей; онъ задрожалъ, скорчился точно подъ ударомъ.

— А можетъ, это его.

Шествіе отошло довольно далеко, но онъ все еще стоялъ подъ какимъ-то домомъ, терзаемый бурей ужасныхъ мыслей—онъ сорвались въ немъ, какъ ураганъ и завывли дикимъ ледянымъ крикомъ страха. Онъ не понималъ, что съ нимъ происходитъ, и напрасно старался понять; онъ точно хотѣлъ сморгнуть молніи, которыя ударяли ему въ глаза—и отъ этого слѣпнулъ все больше, погружаясь въ какой-то бездонный хаосъ, въ мучительный, неустойчивый водоворотъ. Мысли его расплывались и рассыпались точно сухой песокъ изъ лопнувшего горшка, а сердце медленно насыщалось страхомъ.

И онъ снова пошелъ за шествіемъ, такъ какъ долженъ былъ

итти, прикованный необъяснимой тревогой, точно какія-то страшныя руки протягивались къ нему изъ гроба и тащили его за волосы.

А когда пѣніе ксендзовъ зазвучало скорбью, посылая сердца пепельною пылью звуковъ, Ендрусь на минуту пришелъ въ себя, оглянулся по сторонамъ изумленными глазами и силился связать паутинныя нити сознанія:

— Что это за люди?

Но пѣсня утихла, толпа увлекала его за собой, а гробъ снова приковалъ его къ себѣ, и онъ снова погрузился въ мучительный сонъ на-яву. День былъ зеленовато-сѣрый, сухой; посвистывалъ вѣтеръ; небо висѣло низкое и блеклое, какъ глаза, выцвѣтшіе отъ слезъ; мрачные дома блестѣли туманными окнами, башни костеловъ рвались вверхъ, точно окаменѣвшій крикъ существъ, навѣки прикованныхъ къ землѣ, деревья гнулись въ одну сторону, точно шептали другъ другу что-то обнаженными вѣтвями, а съ боку шествія пролетали экипажи, тащились грузовыя телѣги, звенѣли трамваи; толпа шла по тротуару, а вокругъ кипѣла полная кипучая жизнь, какъ вспѣнная чаша; мощная обыденная жизнь дня, такая чуждая уже и такая далекая для этого умершаго тѣла, для этого праха, который скатился съ поля жизни и кануль по ту сторону—въ смерть.

И для души Ендруся, которая съ трудомъ поднималась подъ тяжестью жизни, распятая на крестѣ страданій, чуялась какая-то неясная, но страшная правда.

Она была все ближе, разрасталась, уже вползла въ него, какъ змѣя, оплетая сердце колючими тернами ужаса, даже стучалась въ его черепъ костлявой рукой неумолимости.

Но онъ еще защищался отъ нея мощнымъ инстинктомъ само-сохраненія; бывали минуты, когда онъ съ послѣдними условіями воли, со всѣмъ безуміемъ отчаянія вырывался на поверхность жизни и убѣгалъ изъ заколдованнаго круга.

Тогда къ нему возвращалось полное сознаніе своего я. Онъ прогонялъ призраки, преодолевалъ въ себѣ страхъ и думалъ презрительно:

— Чортъ бы побралъ такія мерзости. А, можетъ быть, это не онъ. А впрочемъ—что случилось? Я убилъ шпика, а не человѣка?—спрашивалъ онъ самого себя дерзко и вызывающе, поворачивая назадъ,—но прежде чѣмъ онъ успѣвалъ уйти изъ круга мрачнаго пѣнія, прежде чѣмъ успѣвалъ уцѣпиться за жизнь, совѣсть снова хватала его желѣзной рукой и тащила назадъ, къ катафалку—и онъ шель, все болѣе подчиняясь той таинственной волѣ,—и еще неосознанный ужасъ передъ собственнымъ преступленіемъ погружалъ его въ какую-то бездну.

Онъ шель автоматическими шагами неживого челоуѣка, глядя куда-то въ даль. Онъ не зналъ, когда перешель черезъ мость, когда они миновали послѣдніе дома, когда вошли на пустую широкую дорогу, онъ не видѣлъ ничего.

Сумерки застлалаи уже городъ пепельной тяжелою пылью, вѣтеръ крѣпчалъ, придорожныя деревья качались жалобнымъ стономъ, лѣніе раздавалось глухо, точно шумъ крыльевъ,—изъ пустынныхъ полей вѣяло грустью смерти, въ невидимыхъ домахъ загорались золотые огни, точно хороводъ погребальныхъ свѣчъ расплывались всѣ очертанія,—и вставали въ сумерки чудовищныя, непонятныя видѣнія.

А Ендрусъ шель все тяжелѣе и точно падалъ въ какую-то бездну, какъ дерево, вырванное ураганомъ, но когда шествіе остановилось у кладбища, онъ машинально спрятался за какимъ-то деревомъ и смотрѣлъ, забывъ обо всемъ...

Гробъ понесли на плечахъ, шествіе сплотилось и пошло по длинной, мрачной аллеѣ вслѣдъ за смолистыми факелами, что горѣли, терзаемые вѣтромъ; мрачная пѣсня загудѣла—и вдругъ раздались крики и плачь. Колокола застонали, все кладбище точно разрыдалось.

Ему стало страшно, дикій спазмъ болей рвануль сердце и жгучія слезы потекли изъ глазъ, странныя слезы невыразимой грусти и тоски. Онъ потащился вслѣдъ за всѣми.

Мутный, осенній вѣтеръ покрываль землю сѣрыми перегнившими листьями, песчаныя пространства блѣдно золотились, деревья тревожно шумѣли, а какія-то бѣлыя березки тряслись такъ отчаянно, точно вздрагивая отъ плача, точно каждую минуту должны были прильнуть къ могилѣ; кресты загораживали ему дорогу, зловѣще чернѣя, могилы вырастали и передъ нимъ безконечными рядами, какіе-то кусты хватали его за платье, какія-то плиты, деревья и памятники вставали передъ нимъ непроходимой стѣной, а колокола все еще, рыдали съ отчаяніемъ, точно каждая могила отдѣльно умоляла о пощадѣ.

Шествіе свернуло въ сторону и исчезло, точно расплылось во мракѣ.

Онъ беспомощно оглядывался по сторонамъ, гдѣ-то вдали раздалось заглушенное пѣніе и горѣли огни,—но онъ не могъ понять, гдѣ—и машинально шель за какой-то другой похоронной толпой.

Похоронныя шествія проходили одно за другимъ, какъ безконечный хороводъ гробовъ, плача, пѣнія и огней; онъ шель за каждымъ гробомъ, и когда раздавался плачь или срывался крикъ, или когда слышался стукъ земли, падающей на гробъ, онъ страдалъ, какъ

другіе, испытывалъ невыразимое мученье и плакалъ кровавыми слезами.

Ему казалось, что онъ потерялъ какое-то безконечно дорогое существо и теперь отдаетъ его во власть вѣчной ночи,—такъ же, какъ другіе, онъ становился на колѣни, молился, кричалъ и такъ же, какъ другіе ощущалъ всю огромность утраты, горечь пустоты и муку вѣчной разлуки,—отчаяніе сиротливости.

— Душа его блуждала точно птица, ослѣпшая въ безконечности, и онъ не зналъ даже, какъ очутился вмѣстѣ съ какой-то толпой въ ресторанѣ, полномъ людей, одѣтыхъ въ трауръ, съ заплаканными лицами.

Лакеи разносили пиво, сосиски и куски сыра, въ кухнѣ порой раздавался звонъ, а иногда въ разныхъ углахъ огромной залы слышлся плачь и безнадежная жалоба, смѣшанная со звономъ рюмокъ и заглушеннымъ говоромъ.

Нѣсколько людей въ траурѣ, стоя у буфета, весело шутили съ толстой хозяйкой, а въ углу на грудахъ верхняго платья спали какіе-то дѣти, уставшія отъ плача.

Ендрусь сидѣлъ передъ нетронутымъ бокаломъ, напрасно стараясь вспомнить, кого онъ похоронилъ.

Но когда трагическое настроеніе залы повысилось еще въ воздухѣ раздался судорожный плачь, онъ самъ начиналъ горько рыдать,—безмѣрная боль пронзала его сердце и валила на землю, точно на него обрушились всѣ эти гробы, всѣ трупы, всѣ могилы.

Онъ почувствовалъ себя какъ бы виновникомъ всего этого траура, всѣхъ жалобъ, и точно каждая слеза, которая проливалась здѣсь, падала на него огромной глыбой проклятій.

Онъ клонился все ниже отъ страшнаго ощущенія своей вины.

Иногда такая скорбь выступала у него на лицѣ и проглядывала въ глазахъ, что какіе-то сердобольные люди обращались къ нему съ соболѣзными словами:

— Нельзя такъ отчаиваться, Господь милосердъ и сжалятся надъ сиротой. И я сегодня похоронила мужа, я такая же сирота, какъ и вы. Я васъ понимаю.

И, утѣшая его, она разразилась безутѣшнымъ плачемъ. А съ другой стороны какой-то господинъ дружелюбно чекнулъ съ нимъ.

— Выдохнется, милый человѣкъ. Слезы — бабье дѣло, вы еще молоды... ну же...

Онъ даже не понималъ, что люди обращаются къ нему.

— Вы, должно быть, жену похоронили. Боже мой, такой молодой, такой красавецъ—и такой несчастный.

— Не нужно поддаваться. Голову вверхъ, сударь вы мой. Я,

изволите ли видѣть, похоронилъ уже вторую жену, а все живу... Что дѣлать, Божья воля. Рѣпа была а не женщина. Наплясалась выпила холодной воды и кончено,—шепталъ господинъ, утирая пальцами пиво на усахъ.

Онъ не разлышалъ и этого, смотрѣлъ на нихъ точно изъ какой-то бездны, куда уже не доходятъ голоса людей.

Въ ресторанаъ прибывало все больше народу, и едва замолкалъ чей-нибудь плачь, какъ слышался новый, зала неустанно дрожала отъ стоновъ и жалобъ, и въ каждомъ углу за каждымъ столикомъ рыдали скорбные голоса и причитало горе людское. Но лакеи все разносили пиво и водку, все еще звенѣли тарелки, и въ воздухѣ чуялся отвратительный запахъ выдохшагося пива и сосисекъ.

— Вы, должно быть, мать оплакиваете?—спросилъ чей-то ласковый голосъ.

Онъ услышалъ, наконецъ, долго смотрѣлъ въ чье-то доброе лицо и сказалъ.

— Я убилъ человѣка.

Онъ точно пришелъ въ себя послѣ этого признанья и почувствовалъ безконечное облегченье; посмотрѣлъ по сторонамъ смѣло, но немного грустно.

Но на него устремились взоры, полные жалости, кто-то многозначительно кивнулъ головой, кто-то похлопалъ себя по лбу. Иные отошли отъ него.

Ендрусъ поднялся и медленно вышелъ на улицу.

Была ночь, надъ городомъ горѣло зарево, въ непроницаемомъ мракѣ горѣли тысячи огней, точно смотрѣли со всѣхъ сторонъ нечеловѣчьи глаза; глухой отдаленный шумъ города кипѣлъ неустанно.

Ендрусъ только на мосту остановился, чтобы немного отдохнуть.

Онъ оперся о балюстраду и смотрѣлъ въ таинственный дрожащій мракъ, въ тихо плывущія волны,—влажный ветѣръ охлаждалъ горѣвшее лицо, вода тихо плескалась, усыпляя какимъ-то страннымъ сладкимъ чувствомъ. Онъ съ трудомъ оторвался отъ перилъ.

— Я виновень,—шепталъ онъ точно собственной душѣ.

Вдругъ онъ остановился, трупъ убитаго былъ передъ нимъ... онъ лежалъ словно поперекъ тротуара... и изъ пронзенной груди лилась кровь... Лицо было искривлено мукой агоніи...

Онъ не испугался ни на минуту, только протеръ глаза и пошелъ дальше; но не смѣлъ глядѣть впередъ, такъ какъ чувствовалъ, что тотъ долженъ быть тамъ, видѣть его сквозь закрытыя вѣки такъ отчетливо, какъ тогда въ аптекѣ... онъ лежалъ на диванѣ... весь въ крови... въ послѣднюю минуту агоніи... Слышался плачь дѣтей...

Но онъ не могъ выдержать этого и, дойдя до Краковскаго предмѣстья, бросился, какъ безумный, расталкивая прохожихъ.

Игнацовой дома не было, дѣти спали, одѣтые; когда онъ вошелъ, они проснулись, и мальчикъ заплакалъ, жалуясь, что голоденъ. Онъ успокоилъ ихъ, накормилъ заботливо, прочелъ вмѣстѣ съ ними молитву, уложилъ въ кровать, покрылъ одѣяломъ и сѣлъ близъ нихъ на кровать.

— Я виновень,—шепталъ онъ тихо и скорбно: острое чувство вины снова разрывало его сердце до боли, до безумія.

— Я виновень,—повторялъ онъ, корчась, и это слово точно камнемъ било по его головѣ и давило страшной тяжестью скорби.

— Такъ надо было. Вѣдь онъ былъ...—простоналъ онъ, оправдываясь передъ неумолимымъ судомъ совѣсти, но вдругъ всякое оправданіе, всякія причины показались ему такими ничтожными и такими смѣшными передъ безмѣрностью собственной вины, что онъ съ ужасомъ схватился за голову.

— Я убилъ, убилъ,—стонать онъ, склоняясь все ниже, точно подъ ударомъ ножа, и каждый разъ, когда онъ повторялъ это слово, его ужасъ становился все глубже, сердце терзаль невыразимый страхъ.

Онъ боялся тронуться съ мѣста, боялся открыть глаза, боялся громко дышать, такъ какъ ему казалось, что трупъ стоитъ тутъ же, около него, склоняется надъ нимъ... онъ чувствовалъ, какъ теплая кровь изъ его ранъ капала ему на лицо, проникала сквозь одежду и обливала его тѣло липкой, грызущей волной, прожигала насквозь его тѣло безконечной мукой страха и ужаса.

Онъ спряталъ голову въ подушку, и вдругъ все тѣло его потрясли такія неудержимыя и такія страшныя рыданія, что дѣти проснулись и съ тревожнымъ шопотомъ стали обнимать его и ласкать.

— Ендрусь. Мама тебя избила? Ендрусь,—тихо спросила дѣвочка.

— Больно. Мама... ѣсть хочу,—простоналъ мальчикъ.

— Тише, Ендрусь. Не плачь. Тише... Спи...—и она плачущимъ голосомъ затянула колыбельную, стараясь его убаюкать, и такъ какъ онъ не двигался, прижалась къ нему и, обнявши его за шею, гладила по головѣ ласковымъ материнскимъ движеніемъ и горячо цѣловала.

Но онъ все продолжалъ плакать, вздрагивая всѣмъ тѣломъ, заплакали понемногу и дѣти, какъ покинутые птенчики. Онъ прижалъ ихъ къ себѣ какимъ-то машинальнымъ сердечнымъ движеніемъ—и они стали плакать вмѣстѣ, слезы смѣшались, ритмически забились сердца: скорбѣли томящіяся души.

Долго плыли эти полные скорби потоки слезъ, долго звучали рыданія сиротъ и какія-то отдѣльныя сонныя слова, какія-то трусливыя жалобы—пока не затихли совсѣмъ.

Они заснули крѣпкимъ сномъ усталости.

Но Ендрусь черезъ нѣкоторое время проснулся и сѣлъ на кровати.

Въ комнатѣ была ночь. Дѣти спали спокойно, дождь барабанилъ въ окно, порою вѣтеръ со стономъ ударялъ въ окна и гудѣлъ въ тишинѣ скорбнымъ завываньемъ.

Ендрусь уже забылъ о страхѣ, словно забылъ обо всемъ, и только съ безконечнымъ вниманіемъ прислушивался къ какому-то голосу, къ какому-то властному голосу—и глядѣлъ безъ мысли въ мутныя глаза ночи. Онъ даже забылъ о себѣ и, точно колеблясь на грани невѣдомаго, медленно склонялся въ какія-то бездонныя глубины, утопалъ въ непроницаемомъ мракѣ.

Вдругъ онъ вскочилъ и вышелъ на улицу.

Часы пробили гдѣ-то полночь, глухимъ мучительнымъ голосомъ. Влажная холодная мгла покрыла намокшіе дома, городъ уже спалъ, только кое-гдѣ горѣли окна, затерявшіяся въ воздухѣ, и были похожи на засыпающіе глаза. Онъ немного наклонился, такъ какъ мелкій дождь попадалъ ему въ лицо—и машинально, автоматически пошелъ на свою фабрику. Но, остановившись передъ запертыми воротами, онъ не могъ вспомнить, гдѣ онъ и зачѣмъ сюда пришелъ.

И напрасно силился что-нибудь понять, какія-то несвязные обрывки воспоминаній проплывали у него въ мозгу, но такой бурной и пѣнной волной, что, прежде чѣмъ онъ могъ сознать ихъ, они исчезали неуловимо, разсыпались въ незримую пыль. Онъ почувствовалъ, точно погрузился въ какой-то пустой оцѣпенѣлый сонъ и какъ во снѣ бредеть по улицамъ, ни о чемъ не думая и ничего не зная.

Дождь шелъ, не переставая, и вѣтеръ шумѣлъ по крышамъ, рвалъ вывѣски, а водосточныя трубы бормотали въ тишинѣ вымершихъ и пустыхъ улицъ, гдѣ лишь иногда проходилъ запоздавшій прохожій по блестящимъ тротуарамъ.

Онъ медленно шелъ по Краковскому предмѣстью, шелъ глухой и нѣмой, глядя пустыми глазами въ пространство; подошелъ къ памятнику Сигизмунда и вернулся автоматически, какъ тогда... и такъ же, какъ тогда сталъ ходить взадъ и впередъ, какъ шаткая тѣнь, которая выплыла неизвѣстно откуда, ходилъ безъ мысли и безъ цѣли, даже не замѣтилъ того дома... не замѣтилъ тѣхъ мѣстъ... ничего не помнилъ... лишь иногда онъ съ глубокимъ вниманіемъ смотрѣлъ на извозчичьихъ лошадей, которыя грустно дремали на кри-

выхъ ногахъ, а потомъ, погрузившись въ тѣнь какого-то дома, стоялъ—безмысленно и долго, не чувствуя ни холода, ни дождя. Какая-то дѣвочка, тщетно охотившаяся на прохожихъ, подошла къ нему и стала что-то горячо шептать.

Его точно разбудилъ ея голосъ, онъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ и, схвативъ ее за руку, потащилъ къ фонарю.

Они тотчасъ другъ друга узнали.

— А, парененкъ съ ножичкомъ. А я тебя такъ искала. Ну, пойдемъ ко мнѣ, я думала, что тебя упрятали. Пойдемъ скорѣе, я замерзла, какъ собака,—радостно кричала она, страстно, прижимаясь къ нему. Онъ задрожалъ какъ въ лихорадкѣ, воспоминанія закружились въ мозгу кровавымъ вихремъ, и трупъ снова всталъ передъ его глазами.

— Знаешь, это я его убилъ,—шепнулъ онъ, указывая въ пустоту,—убилъ,—повторилъ онъ съ силой, вливаясь въ нее безумными дикими глазами. Дѣвушка вырвалась у него изъ рукъ и убѣжала въ ужасѣ.

Но и его пронизала ледяная дрожь страха, онъ тревожно оглянулся, дѣвушка исчезла, а трупъ стоялъ передъ нимъ въ нѣсколькихъ шагахъ.

Онъ быстро пошелъ впередъ, но тотъ шелъ слѣдомъ за нимъ.

Онъ летѣлъ, какъ вихрь, ударяясь о столбы и фонари, его гналъ дикій нечеловѣческій страхъ—но трупъ былъ точно привязанъ къ нему длинной крѣпкой цѣпью—и бѣжалъ за нимъ слѣдомъ.

Но какіе-то проблески сознанія вспыхивали иногда въ его темной душѣ, такъ какъ онъ съ нѣкоторой тревогой смотрѣлъ на городскихъ, что стояли на углахъ улицъ, пугливо проходилъ черезъ освѣщенные мѣста—и одно онъ зналъ и чувствовалъ навѣрное, что тотъ идетъ за нимъ шагъ за шагомъ... онъ слышалъ отголоски его тихихъ мертвыхъ шаговъ... они раздавались ровно и неустанно точно мѣрное паденіе горстей земли на крышку гроба.

Иногда онъ вдругъ останавливался и въ мгновенныхъ проблескахъ тишины слышалъ, что и тотъ останавливается... чувствовалъ на себѣ его могильное дыханіе.

И бросался бѣжать, какъ безумный.

Улицы, площади, люди, огни, дома—все стало для него какой-то непонятной пущей, непроходимой безконечной пущей, гдѣ онъ блуждалъ, преслѣдуемый мертвецомъ.

Пока не упалъ отъ смертельной усталости подъ какимъ-то деревомъ въ Лазенкахъ. Его нѣжно прижала къ себѣ осенняя страшная ночь.

Вѣтеръ свистѣлъ въ темнотѣ, зловѣще шумѣлъ, тяжело вол-

нуясь надъ его головой, а тихій плачь дождя, неутѣшный плачь ночи осенней раздавался надъ нимъ грустно и скорбно.

Онъ сидѣлъ, скорчившись, безпомощно прислонившись къ дереву,—а тотъ все ждалъ, какъ поймать его взгляды, какъ вползти въ его душу. Онъ сидѣлъ безъ движенія цѣлые часы. Онъ былъ какъ дерево, что зябнетъ отъ безжалостнаго холода, и какъ дерево мертвѣлъ понемногу. Порою рвался... а потомъ опять погружался въ безсильное оцѣпененіе. Быть можетъ, онъ и засыпалъ, какъ деревья, но самъ этого не зналъ—длинные минуты тишины пролетали надъ паркомъ, и деревья висѣли точно мрачныя тучи, и только дождь не переставалъ ни на минуту.

Весь міръ дрожалъ отъ холода, паръ вздрагивалъ порой отъ ледяной дрожи, метался безсильно и снова засыпалъ тяжелымъ сномъ оцѣпенѣнія.

Какая-то бездомная собака, подползла къ нему и съ жалобнымъ воемъ прижималась къ его груди.

Ночь шла медленно, тяжелыми шагами непогоды.

Ендрусь иногда просыпался, прислушивался къ чему-то и снова погружался въ мертвенную непамять.

Гнилой, зеленый разсвѣтъ уже началъ просачиваться изъ мрака, когда какіе-то прохожіе замѣтили его подъ деревомъ.

— Эй, панъ!—крикнулъ одинъ изъ нихъ, ударивъ его ногой въ бокъ.

Онъ слышалъ, его подняли, поставили на ноги, но онъ покачнулся и упалъ въ грязь, какъ бревно.

Наконецъ, его разбудили ударомъ ноги въ грудь.

— Кто ты такой? Кто?

Лицо его было синимъ, точно изъ льда, глаза горѣли лихорадочно, онъ не понималъ, что отъ него хотятъ, онъ оглядывался внимательно по сторонамъ, мертвецъ стаялъ на прежнемъ мѣстѣ, немного въ сторонѣ.

— Я убилъ его,—пробормоталъ онъ, не сознавая.—Убилъ,—повторилъ онъ шопотомъ, улыбаясь тупо и радостно, какъ ребенокъ.

Его привели въ участокъ, онъ хотѣлъ вырваться, но, прежде чѣмъ успѣлъ это сдѣлать, кулаки разбили ему въ кровь лицо, и онъ пошелъ уже спокойно, поглядывая порой на того... Тотъ шелъ не отставая.

Но Ендрусь былъ уже въ такомъ состояніи, что смотрѣлъ на него безъ страха и совершенно равнодушно; наконецъ, забылъ обо всемъ, чувствовалъ себя только больнымъ, часто хватался со стономъ за голову, которая страшно болѣла.

Его бросили въ какую-то тюремную нору, гдѣ онъ корчился

въ мукахъ безумія, проводя длинные дни на полу подъ стѣной и глядя пустыми глазами въ пустоту; или, охваченный лихорадкой, цѣлыми часами убѣгалъ отъ того, ударяясь о стѣны, и безумно кричалъ.

Онъ не отвѣчалъ на вопросы, не понималъ ихъ, но, увидѣвши мертвеца, указывалъ на него пальцемъ:

— Это я его убилъ,—смѣялся онъ тихо и такъ страшно, что всѣ отскаивали.

Но кто-то сжалился надъ нимъ и помѣстилъ его въ больницу.

И черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ снова очутился на улицѣ.

Но онъ потерялъ разсудокъ уже навсѣгда.

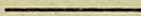
Ходилъ по городу тихій и омертвѣвшій, какъ тотъ.

Кто-нибудь кормилъ его изъ жалости, кто-нибудь давалъ мелочь—порой его били и палкой прогоняли отъ двери, онъ не обращалъ ни на что вниманія, улыбался блуждающей улыбкой, звалъ того, съ кѣмъ жилъ уже неразлучно, и они вмѣстѣ отправлялись бродить по городу.

И когда пришли дни урагана, когда на улицахъ раздалась кровавые гимны мести и затрещали залпы ружей, раздался дикій топотъ конныхъ отрядовъ, падали трупы сражающихся, Ендрусь былъ вездѣ, бродилъ, какъ безсмертная и неотступная тѣнь каждаго убійства, каждаго преступленія, каждой смерти, останавливался надъ трупами и со страшнымъ крикомъ внезапно проснувшейся совѣсти заявлялъ:

— Это я его убилъ.

А потомъ снова тихо и идиотически смѣялся и бѣжалъ, гонимый всѣми фуриями безумія и страха.



Ибаньесъ, Б.

КОШАЧЬЯ СЕРЕНАДА.

I.

Всѣ жители Бенимуслина встрѣтили эту новость съ удивленіемъ.

Женился дядя Сенто, одинъ изъ первыхъ тузовъ мѣстечка, первый плательщикъ податей въ округѣ; невѣстой же была Марьета, красивая дѣвушка, дочь извозчика, не приносившая мужу въ приданое никакихъ благъ, кромѣ своего смуглаго личика съ хорошенькими ямочками, проявлявшимися, когда она улыбалась, и большими черными глазами, которые какъ-будто дремали за длинными рѣсницами между двумя бандо густыхъ блестящихъ волосъ, украшенныхъ дешевыми шпильками и спускавшихся на виски.

Больше чѣмъ на недѣлю взволновало это извѣстіе спокойную деревушку, потонувшую въ необозримомъ просторѣ виноградниковъ и оливковыхъ роцъ, со своими потемнѣвшими крышами, обмазанными глиной плетнями безукоризненной бѣлизны, колокольной съ зеленой черепичной крышей и четырехугольной красной башней, оставшейся отъ временъ мавровъ и горделиво выдѣлявшейся на необъятной лазури неба, своей короной, съ разбитыми и осыпавшимися зубцами напоминающей беззубую челюсть старика.

Деревенскій эгоизмъ не могъ оправиться отъ изумленія. И влюбился же, должно быть, дядя Сенто, если женится, такъ скандально нарушая всѣ традиціонные обычаи! Гдѣ это видано, чтобы человѣкъ, который владѣетъ четвертой частью селенья, у котораго больше ста бурдюковъ въ бодегѣ и пять муловъ въ конюшнѣ, бралъ въ жены дѣвушку, въ дѣтствѣ воровавшую фрукты да помогавшую въ кое-какой работѣ въ богатыхъ домахъ, чтобы только ее накормили.

Всѣ были согласны въ мнѣніи на этотъ счетъ. Ахъ, если бы встала изъ гроба синья Томаса, первая жена дяди Сенто, да увидѣла, что ея большой домъ въ улицѣ Майоръ, ея поля и ея спальня съ монументальной кроватью, которую она такъ гордилась, должны

перейти къ этой сопливой дѣвченкѣ, которая не такъ еще давно выпрашивала у нея ломоть хлѣба!

Этотъ человекъ съ ума сошелъ. Нужно было видѣть его физиономію, полную обожанія, съ которой онъ смотрѣлъ на Марьету, идиотскую улыбку, съ которой онъ принималъ все, что бы она ни сказала, всѣ его позы и манеры юнца,—и это въ его годы, въ пятьдесятъ шесть лѣтъ! Болѣе всего протестовали противъ такого неслыханнаго поступка дѣвушки изъ достаточныхъ семействъ, которые сами, вѣрныя эгоизму и традиціямъ, не нашли бы ничего неудобнаго въ томъ, чтобы отдать свою смуглую ручку этому старому пѣтуху, подтягивавшему свое изрядное брюшко чернымъ шелковымъ поясомъ и поглядывавшему своими недобрыми сѣрыми глазами изъ-подъ широкихъ, нависшихъ бровей, въ которыхъ, по выраженію его враговъ, было болѣе полуаррабы шерсти.

Всѣ были согласны въ одномъ: дядя Сенто рехнулся. Все, что у него было до женитьбы, и все, что онъ получилъ по наслѣдству отъ жены, синьи Томасы, все должно было теперь достаться Марьетѣ, этой лицемѣркѣ, которая сумѣла помутить его умъ до такой степени, что богомолки въ церковныхъ дверяхъ даже шушукались между собой, будто дѣвченка вступила въ договоръ съ нечистой силой и подсыпала старику приворотныхъ порошковъ.

Что дѣлалось въ воскресенье, когда ихъ оглашали въ первый разъ, это просто скандалъ! Нужно было послушать разговоры родственниковъ синьи Томасы послѣ главной мессы. Это воровство, да, сеньоръ! Покойная оставила все свое состояніе мужу въ увѣренности, что онъ никогда ея не забудетъ, а теперь этотъ подлый воръ, не стѣняясь своими годами, добивается лакомага кусочка и отдаетъ ему все, что принадлежало той, другой. Нѣтъ справедливости на свѣтѣ, если такія вещи допускаются! Но попробуйте протестовать, суньтесь-ка въ судъ въ наше время! Совершенно справедливо сказалъ донъ Висенте, сеньоръ ректоръ, что теперь все идетъ у насъ шиворотъ-на-выворотъ. Пора бы сѣсть на престоль дону Карлосу: онъ одинъ только не потакаетъ мерзавцамъ.

Такъ судачили въ толпѣ на площади тѣ, кто считалъ себя несправедливо обиженнымъ этой предстоящей женитьбой, и почти всѣ жители Бенимуслина поддакивали имъ, сочувствуя ихъ ропоту.

Нѣкоторые соображенія говорили за то, что этотъ бракъ не приведетъ къ добру и что охваченный бѣшеной любовью старикашка долженъ будетъ оплакивать свою грусть. Хорошенькое получить онъ головное украшеньице, нечего сказать! Все селенье, какъ нельзя лучше, знало, что у Марьеты есть возлюбленный, Тони Десгарратъ, — бездѣльникъ, другъ ея дѣтства, вмѣстѣ съ нею бѣгав-

шій по виноградникамъ, а теперь, ставъ совершеннолѣтнимъ, любившій ее съ самыми честными намѣреніями; онъ только ожидалъ, чтобы жениться на ней, когда ему придетъ охота работать и онъ утратитъ привычку сидѣть въ тавернѣ, пропивая клочекъ земли, доставшійся ему по наслѣдству, въ компаніи со своимъ собутыльникомъ, гобоистомъ Димони, другимъ пропащимъ малымъ, который являлся за нимъ изъ сосѣдняго селенія, чтобы вмѣстѣ устраивать свои знаменитыя попойки, послѣ которыхъ они засыпали гдѣ-нибудь на копнѣ соломы.

Родственники синьи Томасы смотрѣли теперь на Десгаррата съ симпатіей: онъ долженъ былъ отомстить за нихъ.

И тѣ самые люди, которые раньше презирали его, богатѣи, противившіе отъ него носъ при встрѣчахъ, теперь заискивали передъ нимъ въ тавернѣ въ день перваго оглашенія, присосѣживаясь къ этому молодчику, который сидѣлъ на дроковомъ табуретѣ съ красивымъ плащомъ на колѣняхъ, съ окуркомъ сигары, прилипшимъ къ губамъ, и со взоромъ, устремленнымъ въ стаканъ, отбрасывавшій подъ солнечными лучами безпокойное красное пятно на обитую цинкомъ доску столика.

— Послушай, Десгарратъ, — говорили они ему съ дѣланной флегмой, — вѣдь Марьета-то выходитъ замужъ.

Но Десгарратъ встрѣчалъ насмѣшку пожатіемъ плечъ. Это мы еще посмотримъ! Никто не можетъ назвать себя счастливымъ раньше конца, и онъ... чортъ побери! — всѣмъ извѣстно, что онъ достаточно храбрый малый для того, чтобы сцѣпиться съ дядей Сенто, который тоже спуска давать не любить.

Да, дѣйствительно, оба были таковы, потому-то всѣ и ожидали знатной стычки.

Что-нибудь да случится непременно.

Дяди Сенто, какъ гласило общее мнѣніе, никто еще не одолѣлъ: онъ пользовался болишимъ вѣсомъ на выборахъ, имѣлъ вліятельныхъ друзей въ Валенсіи, нѣсколько разъ бывалъ алькадомъ и привыкъ съ полнѣйшей безнаказанностью награждать парой — другой палочныхъ ударовъ всякаго, кто вздумаетъ ему перечить.

II.

Наступилъ день составленія свадебнаго контракта. Дядя Сенто не умѣлъ дѣлать дѣла наполовину, и, кромѣ того, хороша была бы и сама Марьета и ея родня, если бы они упустили такой случай.

Женихъ давалъ невѣстѣ триста унцій, кромѣ одежды и драгоценностей, принадлежавшихъ его первой женѣ.

Домъ Марьеты, жалкую лачугу на краю селенія, съ единственнымъ инвентаремъ въ видѣ телѣги передъ порогомъ да двухъ—трехъ клячь въ хлѣвѣ, посѣтили всѣ дѣвушки селенія.

Это былъ настоящій израильскій день всеобщаго отпущенія грѣховъ! Обнявшись за талію или взявшись подъ руку, дѣвушки прогуливались группами мимо длинныхъ подмостковъ, покрытыхъ роскошными бѣлыми стегаными одѣялами, на которыхъ красовались свадебные подарки и наряды невѣсты, ослѣпляя своимъ великолѣпіемъ и вызывая восклицанія восторга.

Дѣва Пресвятая! Какая роскошь!

Бѣлье, сложенное по сортамъ въ высокія пачки, доходившія чуть не до самаго потолка, тщательно выглаженное, нѣсколько сѣроватое, такъ какъ было сдѣлано изъ прочнаго, плотнаго полотна, пахло чистотой и щелокомъ, въ которомъ было выварено. Тутъ были дюжины дюжинъ всего, начиная съ рубахъ и кончая кухонными полотенцами; все было помѣчено вышитыми мѣтками кричащихъ цвѣтовъ и обильно отдѣлано кружевами; платья изъ плотнаго, шелестящаго шелка блестяли живымъ металлическимъ блескомъ; отъ юбокъ изъ полосатаго перкаля вѣяло свѣжестью цвѣтущей весны; мантильи поражали тонкими, сложными узорами; бѣлые и черные корсеты съ продернутыми въ нихъ красными ленточками нескромно давали понятіе о фигурѣ невѣсты своими строгими контурами; въ картонкахъ лежали манильскія шали съ фантастическими птицами, парящими по небу изъ бѣлаго шелку, и съ группами китайцевъ, то длинноусыхъ и суровыхъ, то безволосыхъ и глуповатыхъ, изумляющихъ своими фарфоровыми лицами простодушныхъ дѣвушекъ, которыя видѣли себя затѣмъ во снѣ въ этихъ таинственныхъ странахъ, гдѣ мужчины носятъ юбки и косы и имѣютъ свинныя глазки. Далѣе шли подарки друзей; большею частью это были кропильницы для святой воды для спальни, съ фарфоровыми ангелами, и ящики съ ножами накладного серебра; два огромныхъ канделябра величественно возвышались среди остального,—это былъ подарокъ маркиза, кацика округа, самаго знаменитаго человѣка въ Испаніи, по мнѣнію дяди Сенто, который всякій разъ, какъ подымался вопросъ объ избраніи его въ депутаты отъ округа, выказывалъ готовность пустить въ ходъ палку и взяться за ружье.

И, достойнымъ образомъ завершая эту выставку приданаго, на самомъ видномъ мѣстѣ гордо помѣщались драгоценности, сверкая на шелковыхъ гранатоваго цвѣта подушечкахъ футляровъ; жемчужныя серьги и брошки съ самыми замысловатыми подвѣсками вродѣ кистей винограда, большія золотыя головныя шпильки для пышныхъ бандо на вискахъ, три большія булавки съ головками изъ

жемчужинъ, которыми долженъ былъ быть приколотъ воздушный вѣнокъ и парюра, знаменитая во всемъ Бенимуслинъ, которую синья Томаса купила за четырнадцать унцій на улицѣ де-ла-съ-Платеріасъ.

Ну, и счастливица же эта Марьета! Она жеманилась и краснѣла каждый разъ, какъ начинали толковать объ ея будущемъ счастьѣ, но нужно было видѣть обильныя слезы матери, незамѣтной, сухой, сморщенной маленькой женщины, и волненіе извозчика, который, какъ слуга, ходилъ по пятамъ за своимъ будущимъ зятемъ и выказывалъ къ нему крайнее уваженіе, подобающее высшему существу.

Вечеромъ состоялось чтеніе дарственной записи. Пріѣхалъ нотариусъ донъ Хуліанъ въ своей старой тартанѣ, въ сопровожденіи помощника, несчастнаго малаго съ голодной физиономіей, съ роговой чернильницей, торчащей изъ его кармана, и листомъ гербовой бумаги подъ-мышкой.

Донъ Хуліанъ, какъ настоящій триумфаторъ, вступилъ въ кухню, гдѣ уже былъ приготовленъ для писца столикъ и зажжена лампа съ четырьмя свѣтильнями.

Что это за ученый былъ человѣкъ! Онъ читалъ дарственную запись по-валенсіански и пересыпалъ сухой текстъ шуточками собственнаго изобрѣтенія... Во всемъ мірѣ не нашлось бы такого олуха, который могъ бы оставаться серьезнымъ въ присутствіи этого сеньора, никогда не смѣявшагося, имѣвшаго до извѣстной степени видъ духовнаго лица въ своемъ длиннополомъ черномъ сюртукѣ, похожемъ на сутану, съ пухлой, розовой, тщательно выбритой физиономіей и съ большими очками, поднятыми на лобъ, что въ глазахъ обитателей Бенимуслина было одной изъ необъяснимыхъ причудъ, свойственныхъ великимъ талантамъ.

Нотариусъ началъ диктовать въ полголоса, писецъ измарывалъ каракулями листъ гербовой бумаги, а тѣмъ временемъ появлялись одинъ за другимъ друзья дома съ курой и алькадомъ во главѣ и исчезли съ широкаго стола свадебные подарки, уступая мѣсто массивнымъ, посыпаннымъ сахаромъ печеньямъ, вазамъ съ вареньемъ, тонкимъ, сухимъ, точно картонъ, тортамъ и болѣе чѣмъ полдюжинѣ бутылокъ розы и мараскина.

Донъ Хуліанъ нѣсколько разъ прокашлялся, всталъ, обдернулъ свой сюртукъ, и все кругомъ погрузилось въ молчаніе, между тѣмъ какъ онъ взялъ исписанный листъ съ еще невысохшими чернилами и началъ читать по-валенсіански.

Ну, и забавникъ же былъ этотъ человѣкъ! Произнося имя жениха, онъ скорчилъ смѣшную гримасу, и дядя Сенто первый же привѣтствовалъ ее бурнымъ взрывомъ хохота; упомянувъ имя не-

вѣсты, онъ отвѣсилъ Марьетѣ бальный поклонъ, что снова вызвало смѣхъ; но когда началось перечисленіе условій брачнаго договора, всѣ стали серьезны; казалось, въ этой кухнѣ задулъ вихрь эгоизма и жадности, и даже невѣста подняла выше голову съ сверкающими глазами и раздувающимися отъ возбужденія ноздрями; когда пошла рѣчь объ унціяхъ, о виноградникѣ въ Эрмитѣ и объ оливковой рощѣ у Камино Ондо,—все это переходило теперь въ ея собственность. Дядя Сенто былъ единственнымъ человѣкомъ, который улыбался, довольный тѣмъ, что можетъ показать такому почтенному собранію, до какой степени доходить его щедрость.

Вотъ какъ дѣла дѣлаются! Родители Марьеты плакали навзрыдъ, а сосѣдки кивали головами въ знакъ одобренія. Да, за такого человѣка можно отдать дочку безъ всякихъ угрызений совѣсти.

Когда бумага была подписана, пошли въ ходъ сласти и вино. Нотариусъ такъ и блисталъ остроуміемъ, между тѣмъ какъ его голодный писецъ набивалъ себѣ желудокъ и за себя, и за своего принципала вмѣстѣ.

Донъ Хуліанъ былъ просто кладомъ для своей грубой аудиторіи. Вотъ посмотрите, что еще онъ будетъ выкидывать въ день свадьбы! Донъ Висенте, кура, и онъ напьются вдрызгъ, предлагая одинъ за другимъ тосты за счастье молодыхъ, честное слово!

Къ одиннадцати часамъ празднество чтенія брачнаго контракта кончилось. Кура поспѣшилъ удалиться, придя въ ужасъ отъ того, что онъ еще не въ постели въ такой поздній часъ, когда на слѣдующій день ему предстоитъ служить раннюю мессу; алькадъ составилъ ему компанію, и, наконецъ, ушелъ и дядя Сенто съ нотариусомъ и его писцомъ, которыхъ онъ повелъ къ себѣ ночевать.

На улицѣ было темно. За домомъ Марьеты стоялъ густой мракъ полей, изъ котораго долеталъ шелестъ листьевъ да стрекотанье кузнечиковъ; надъ крышами, на темномъ-темномъ синемъ небѣ мерцали звѣзды; во дворахъ заливались собаки, вторя ржанью рабочихъ лошадей. Селеніе спало, и нотариусъ и его помощникъ шли осторожно, боясь споткнуться о какой-нибудь камень на этихъ незнакомыхъ улицахъ.

Ave Maria purissima!—кричалъ вдали чей-то хриплый отъ простуды голосъ. Одиннадцать!.. Ясно!..

Донъ Хуліанъ начиналъ чувствовать себя нѣсколько жутко въ этомъ непроглядномъ мракѣ. Ему чудились поблизости какіе-то подозрительные силуэты, а на углу улицы онъ какъ-будто различалъ людей, сидящихъ тамъ въ засадѣ и наблюдающихъ за дверью дома Марьеты...

Идутъ!.. Раздался страшный трескъ, точно разорвали разомъ

всѣ бѣлье невѣсты, и на перекресткѣ улицы взвилась огромная линія пламени, которая стала быстро двигаться какъ-разъ на нихъ зигзагами и со страшнымъ свистомъ; у нотариуса волосы стали дыбомъ.

Это была большая ракета. Ай да шутка! Нотариусъ, весь дрожа, прижался къ двери, а писецъ почти свалился къ его ногамъ, и въ такомъ положеніи они пробыли нѣсколько секундъ, показавшіяся имъ столбтіями, съ тревогой глядя, какъ ракета носилась отъ одной стѣны къ другой, точно вырвавшійся изъ клѣтки звѣрь, размахивая огненнымъ хвостомъ, рассыпающимъ искры, и три, четыре раза прерывая свой свистящій хрипъ, пока, наконецъ, не разорвалась со страшнымъ грохотомъ.

Дядя Сенто храбро остался посреди улицы... Тысяча дьяволовъ! Онъ прекрасно знаетъ, чьи это продѣлки.

— Подлая сволочь!—крикнулъ онъ хриплымъ отъ бѣшенства голосомъ.

И, махая своей толстой палкой, онъ угрожающе двинулся впередъ, ожидая встрѣтить за угломъ Десгаррата со всей родней синьи Томасы.

III.

Съ ранняго утра колокола Бенимуслина были уже въ движеніи.

Сегодня была свадьба дяди Сенто,—эта новость циркулировала по всему округу, и изъ сосѣднихъ селеній прибывали друзья и родственники,—одни верхомъ на своихъ рабочихъ лошадяхъ, спины которыхъ были покрыты красивыми попонами, другіе въ телѣгахъ съ веревочными сидѣньями, привязанными къ продольнымъ жердямъ; въ телѣгѣ помѣщалась вся семья, начиная съ жены, съ лоснящимися, щедро вымазанными масломъ волосами и въ бархатной накидкѣ, и кончая малышами, хныкающими отъ материнскихъ потасовокъ, которыми ихъ угощали каждый разъ, какъ они посягали на чистоту своихъ праздничныхъ нарядовъ. Домъ дяди Сенто превратился въ настоящій адъ. Какая суматоха! Со вчерашняго дня въ немъ не знали покоя. Сосѣдки, пользующіяся славой хорошихъ стряпухъ, бѣгали по двору съ засученными рукавами и съ подколотыми сзади верхними юбками, изъ-подъ которыхъ виднѣлись бѣлыя, нижнія, а подъ большой смоковницей нѣсколько парней разжигали костры, подкидывая сухія виноградныя лозы.

Это была настоящая бойня. Деревенскій мясникъ съ ножомъ въ рукѣ перерѣзывалъ горла курамъ; мальчишки съ величайшимъ энтузіазмомъ занимались ихъ ошипываніемъ; на обгаренной кровью землѣ образовались цѣлые вороха слѣпленныхъ мокрыхъ перьевъ.

и нѣжная кожа птицъ, покрытая еще пухомъ, опаливалась на колеблющемся огнѣ; послѣ этого ихъ вѣшали на вѣтку смоковницы, откуда брала ихъ уже тетка Паскуала, старая служанка дома, чтобы выпотрошить; потроха, лакомые кусочки, должны были пойти на завтракъ кухоннымъ помощникамъ.

Даже пріятно было видѣть такое веселое оживленіе. Эти люди, осужденные на маханіе мотыкой въ теченіе круглаго года отъ зари и до зари, не видящіе другого утѣшенія, кромѣ сырого помидора, заплесневѣлой сардинки или твердой, какъ подошва, трески, пьянѣли отъ созерцанія приготовленій къ этому гигантскому, жирному обѣду. Ну, и ухлопано же тутъ деньжищъ! Какъ хорошо жить въ такомъ домѣ, какъ полная чаша, гдѣ есть все, что только сотворилъ Господь хорошаго!

Котлы щеголяли своими закопченными боками и блестящими, какъ серебро внутренностями, въ ожиданіи минуты, когда надо будетъ начать шипѣть на огнѣ; рису лежали цѣлые мѣшки; горныя улитки въ огромныхъ кастрюляхъ, наполненныхъ доверху солью, выползая изъ воды, выставляли свои подвижные рожки навстрѣчу входящему солнцу; въ одномъ углу цѣлая хлѣбная печь распространяла запахъ горячаго, мягкаго хлѣба; пряности цѣлыми фунтами лежали въ латунномъ ящикѣ; изъ бodeги таскали бурдюки за бурдюками, и они, трепеща, падали на землю, точно содрогающіяся тѣла; въ однихъ было красное вино къ обѣду, въ другихъ, поменьше, содержался нектаръ изъ «заповѣднаго бурдюка», этотъ патріархъ среди винъ, о которомъ всѣ въ селеніи говорили съ уваженіемъ и который своимъ чистымъ цвѣтомъ и своей пѣнящейся короной, сверкающей брилліантами, валилъ съ ногъ самаго крѣпкаго пьяницу.

А сластей-то Ave Maria! Дядя Сенто приволокъ цѣлую кондитерскую изъ Валенсіи. Въ мѣшкахъ лежали тянучки, засахаренный миндаль, корица, всѣ тѣ метательные снаряды изъ сахара и крахмала, твердые, словно пули, которые должны были покрыть шишками и синяками головы назойливой, безъ устали просящей дѣтвора; а въ домѣ, въ спальнѣ, хранились вещи болѣе тонкія: торты, покрытые сахарными цвѣтами и увѣнчанные дрожющими на проволокѣ бабочками, нѣжныя воздушныя печенья, монументальные подносы съ горами засахаренныхъ фруктовъ,—словомъ, лакомства, на которыя дѣти приглашенныхъ смотрѣли съ порога, блѣдныя отъ волненія и посасывая пальцы отъ жадности.

Праздникъ сулилъ много хорошаго. Радость свѣтилась на раскраснѣвшихся лицахъ; на дворѣ развязывали бурдюки, чтобы отвѣдать винца и набраться силъ, и если чего еще не доставало, то только музыки,—какъ вдругъ тамъ, на улицѣ, раздалась веселые

звуки гобоя, выдѣлывавшаго гаммы, похожія на прыжки: даже Димони былъ на праздникѣ, потому что, какъ говорили, женихъ не стоялъ за расходами. Нужно было поднести и Димони вина, чтобы онъ лучше игралъ, и огромный стаканъ замелькалъ, переходя изъ рукъ въ руки, по двору къ воротамъ, гдѣ Димони такъ и хлопалъ стаканъ за стаканомъ, оставляя опивки своему тамборилеро.

И вотъ настало время: донъ Висенте ожидалъ уже въ церкви; колокола смолкли, и свадебный кортежъ отправился за невѣстой,—женщины въ своихъ пышныхъ платьяхъ и надвинутыхъ на глаза мантильяхъ, мужчины—волоча свои новые синіе плащи съ длинными пелеринами и съ высокими воротниками, которые до-красна натирали имъ уши. Все селеніе ожидало у церковныхъ дверей. Нѣкоторые родственники синьи Томасы, нарушая семейное постановление, находились тутъ же, въ послѣднихъ рядахъ, не будучи въ силахъ побороть любопытства, подымались на цыпочки, чтобы лучше видѣть.

Впереди ватага мальчишекъ выдѣлывала козлиные прыжки вокругъ Димони, который, откинувъ голову назадъ, дулъ въ задранный кверху гобой, причемъ казалось, будто это огромный носъ, которымъ онъ нюхаетъ небо, а за ними шли женихъ и невѣста, — онъ въ бархатномъ сомбреро и въ плащѣ, надѣтомъ въ рукава, такъ что отъ жары кровь прилиwała къ его потному лицу, а изъ-подъ плаща виднѣлись ноги въ расшитыхъ чулкахъ, и тонкихъ альпаргатахъ.

А она? Женщины не могли глазъ оторвать отъ нея, восхищаясь ею. Царица небесная! Она казалась вжной сеньорой, пріѣхавшей изъ Валенсіи, въ своей кружевной мантильѣ, въ манильской шали, которая своей длинной бахромой мела пыль, въ шелковомъ платьѣ, раздушемся отъ безчисленнаго множества нижнихъ юбокъ, съ перламутровыми четками, намотанными на руку, съ цѣлымъ кускомъ золота и кучей брилліантовъ на груди въ видѣ броши и въ огромныхъ, тяжелыхъ жемчужныхъ серьгахъ, которыя оттягивали ея покраснѣвшія отъ этого уши и которыя столько разъ украшали ту, другую.

Послѣднее обстоятельство до глубины души возмущало родственникововъ покойной.

— Воръ! Хуже вора!—рычали они, глядя на дядю Сенто.

Но послѣдній вступилъ въ церковь съ самодовольнымъ видомъ, сверкая своими глазками изъ-подъ широкихъ бровей, а за нимъ потянулись шафера, алькадъ со своимъ патрулемъ съ ружьями на плечо и всѣ приглашенные, обливаясь потомъ, который крупными каплями катился съ нихъ подъ тяжестью церемоніальныхъ плащей и большихъ шалей, перевязанныхъ на груди, крестъ-на-крестъ; всѣ были нагружены сластями, которыя предстояло бросать при выходѣ изъ церкви.

Любопытные, оставшіеся въ дверяхъ, посматривали на таверну на площади: туда пошелъ гобоистъ, какъ-будто его уши не выносили звуковъ органа, и тамъ встрѣтился съ Десгарратомъ и его пріятелями, забубенными головами селенія, самымъ подозрительнымъ людомъ, который молча пилъ, обмѣниваясь лишь улыбками, да подмигиваніями съ врагами дяди Сенто.

Очевидно, что-то подстраивалось; женщины о чемъ-то таинственно переговаривались, озабоченныя, точно боялись, что селеніе вдругъ загорится разомъ съ четырехъ концовъ.

Свадебный кортежъ показался въ дверяхъ церкви. Боже великій, какая тутъ поднялась кутерьма! Точно изъ-подъ земли выросшая грязная, растрепанная дѣтвора толпилась вокругъ и напирала на дверь, крича: «Сластей! Бросайте сласти!..» Въ то же время Димони приближался, играя королевскій маршъ.

Пора! И самъ дядя Сенто бросилъ въ толпу первую горсть конфетъ, точно выпустилъ зарядъ картечи; конфеты, ударяясь о твердыя головы и отскакивая отъ нихъ, падали въ пыль, гдѣ и подбирала ихъ мелюзга, ползая на четверенькахъ и показывая спины и грязныя ноги.

И съ этой минуты до самаго дома молодыхъ бомбардировка не прекращалась: участники кортежа безъ устали швыряли конфеты, а патруль, приведенный алькадомъ, прокладывалъ имъ дорогу пинками и палками.

Проходя мимо таверны, Марьета опустила голову и поблѣднѣла, когда увидѣла, какъ нсамѣшливо улыбнулся ея мужъ, взглянувъ на Десгаррата, который отвѣтилъ на его улыбку непристойнымъ жестомъ. Господи Боже! Этотъ каторжный, навѣрно, постарается испортить ей сегодняшній праздникъ!

Приглашенныхъ ожидалъ шоколадъ. Но не слѣдовало надеяться до отвалу,—таковъ былъ совѣтъ дона Хуліана, нотариуса: нужно было помнить, что черезъ какихъ-нибудь два часа будетъ большой обѣдъ. Однко, не взирая на столь благоразумные совѣты, толпа яростно напала на напитки и закуски, на корзины съ бисквитами, на блюда со сладями, и въ короткое время огромный столъ, вокругъ которго было болѣе сотни стульевъ, оказался чистъ, какъ ладонь.

Невѣста перемѣнила платьѣ въ спальнѣ, одѣвшись въ свѣженькій ситецъ, и съ обнаженными смуглыми руками, сверкала жемчугами своихъ булавокъ въ блестящихъ волосахъ.

Нотариусъ болталъ съ курой, который явился въ маленькомъ бархатномъ беретѣ и баландранѣ. Приглашенные рыскали по двору, интересуясь приготовленіями къ обѣду; женщины искали про-

клады въ тѣни и, составивъ нѣсколько кружковъ, толковали о своихъ семейныхъ дѣлахъ; дѣтвора шныряла пососѣдству съ спальней, привлекаемая запертыми тамъ сокровищами, а во входныхъ дверяхъ раздавался неутомимый гобой Димони, между тѣмъ какъ оборванные ребятишки, награждая другъ друга подзатыльниками, боролись и ползали въ пыли, подбирая конфекты, горстями, летѣвшія изъ оконъ.

Наконецъ, наступилъ торжественный моментъ, и сковороды, шипящія, съ выющимъ надъ ними синеватымъ дымкомъ, были поставлены на столъ.

Гости поторопились занять мѣста. Ну, и зрѣлище! Правъ быдъ кура, съ изумленіемъ нѣсколько разъ повторившій, что самому пиршеству Валтасара далеко до этого обѣда. А нотариусъ, не желая отстать отъ куры, сталъ сравнивать эту свадьбу со свадьбой какого-то Камачо, о которой читалъ въ какой-то книгѣ,—онъ самъ не помнилъ, въ какой.

Люди попроще обѣдали на дворѣ.

Тамъ же за небольшимъ столикомъ въ родѣ тѣхъ, какіе бываютъ у сапожниковъ, сидѣлъ Димони, ежеминутно посылавшій своего тамборилеро туда, гдѣ лежали бурдюки съ виномъ, съ порученіемъ наполнить ему кружку.

— Господи Боже, какъ усердно работалъ весь этотъ людъ! Зубы, окрѣпшіе на ежедневныхъ обѣдахъ, состоящихъ изъ жесткой солонины, весело жевали, а глаза съ нѣжностью устремлялись на эти кастрюли, огромныя, точно котлы, въ которыхъ кусковъ курицы, разбухшихъ отъ питательнаго соуса, было такое же множество, какъ зернышекъ риса.

Съ носовыми платками на груди, вмѣсто салфетокъ, мужчины уписывали за обѣ щеки, какъ настоящія чудовища прожорства, между тѣмъ какъ женщины жеманно подносили ко рту кончикъ ложки съ двумя—тремя зернышками риса, вѣрныя предрасудку деревенскихъ жителей, которые считаютъ неприличнымъ, если женщина много ѣстъ на людяхъ.

Это былъ вполне господскій банкетъ: ѣли не прямо со сковороды, на которой подавали кушанье, а на тарелкахъ, и пили каждый изъ отдѣльнаго стакана, что нѣсколько стѣсняло сотрапезниковъ, привыкшихъ втыкать корку хлѣба въ рисъ, чтобы подать сигналъ, что пора кружкѣ начать переходить изъ рукъ въ руки.

Простонародная учтивость проявлялась во всей своей несносности и нечистоплотности: съ одного конца комнаты на другой предлагались особенно мягкіе и сочные куски и доходили по назначенію, переходя изъ однихъ пальцевъ въ другіе. Это было лишь выраже-

ніемъ высшей любезности: точно у каждаго не было уже на тарелкѣ того же, что ему предлагали.

Марьета почти не ѣла. Она сидѣла подлѣ мужа съ опущенной головой. Она была блѣдна, ея лобъ хмурился, отражая тягостныя думы, и она съ тревогой посматривала на входную дверь, видимо, боясь появленія Десгаррата.

Этотъ проклятый былъ способенъ на все. Въ ея ушахъ еще раздавались послѣднія слова, сказанныя имъ въ ту ночь, когда они простились навсегда: она еще вспомнить о немъ, если изъ жадности выйдетъ за дядю Сенто. И она знала, что этотъ негодяй, съ лицомъ еретика способенъ выкинуть все, что угодно. Но что было всего удивительнѣе, такъ это то, что, несмотря на весь ея страхъ, ярость Десгаррата вызывала въ ней какое-то необъяснимое чувство удовольствія. Что же тутъ подѣлаешь, если этотъ каторжный такъ ее любить? Недаромъ же они росли вмѣстѣ.

Обѣдъ оживлялся. Кастрюли были уже пусты; теперь на сцену явились шедевры тетки Паскуалы, и гости приналегли на жареныхъ и фаршированныхъ цыплятъ, на огромныя блюда жирной свинины въ томатѣ, на всѣ эти произведенія туземной кухни, плотныя и тяжелыя, которыя такъ и исчезали въ незакрывающихся пастяхъ этихъ обжоръ.

Остряки заботились о томъ, чтобы обѣдъ шель весело. Кура объявлялъ, что не въ силахъ больше ѣсть, и тогда нотариусъ принимался уминать его круглое брюшко, чтобы найти свободное мѣстечко, и убѣждалъ куру, что онъ непременно долженъ заполнить его. Нѣкоторые, видимо, выпили уже лишнее и заплетаящимся языкомъ говорили молодымъ такія вещи, которыя заставляли дядю Сенто моргать глазами, а Марьету краснѣть.

Явилось послѣднее сладкое блюдо съ знаменитымъ виномъ изъ «завѣтнаго бурдюка», а изъ спальни принесли печенье, пастилу и изящные торты.

Точно мухи налетѣли со двора ребятишки съ перемазанными жиромъ и рисомъ лицами и грудью, чтобы укрыться на колѣняхъ у матерей, не сводя глазъ съ искусительныхъ сластей.

Марьета встала и съ блюдомъ въ рукахъ начала обходить столъ: гости должны были подарить что-нибудь молодой женѣ на булавки,—таковъ былъ обычай. И родственники дяди Сенто, которымъ желательно было сохранять съ нимъ хорошія отношенія, бросали на круглое фаянсовое блюдо поль-унціи или альфонсидоры, блестящія монеты, заранѣе очищенныя отъ чернаго налета, приобрѣтеннаго вслѣдствіе лежанія подъ замкомъ.

— На булавки!—говорила Марьета жеманнымъ голоскомъ.

Просто наслажденіе было видѣть этотъ золотой дождь, пада-

ющій на блюдо. Всѣ дали; даже нотаріусъ положилъ пять дуру, поймавъ при этомъ, что надо будетъ возмѣстить ихъ при получкѣ гонорара за составленіе брачнаго контракта, а кура съ видомъ страдальца бросилъ двѣ песеты, сославшись въ видѣ оправданія на бѣдность церкви, обнищавшей по милости либераловъ. О, если бы у власти стояли ихъ сторонники!...

Раскрывъ объемистый карманъ своей юбки, Марьета сыпала въ него съ блюда золото, издавшее при этомъ веселое, радующее слухъ звяканье.

Дѣло шло превосходно. Всѣ говорили въ одинъ голосъ, и прохожіе останавливались на улицѣ, чтобы полюбоваться весельемъ приглашенныхъ.

Свѣтлое вино, искрящееся брилліантами, оказывало свое дѣйствіе. Всѣ такъ и горѣли желаніемъ произносить тосты.

— Тостъ!.. Еще тостъ!..—ревѣли весельчаки

И какой-нибудь хитрецъ, вставъ со стаканомъ въ рукѣ и окинувъ столъ лукавымъ, многообѣщающимъ взглядомъ, раздражался слѣдующими виршами:

Провозглашаю тостъ и пью за ваше здоровье,

Потому, что для чего-нибудь да пригласили же меня.

И, всѣ несмотря на то, что слышали эту шутку еще отъ дѣдовъ, принимали ее съ громкимъ хохотомъ и кричали, хлопая въ ладоши: «Молодецъ! Молодецъ!».

Вслѣдъ за этимъ доказательствомъ остроумія шли другія, всѣ столь же прогоркляя, и не было ни одного человѣка, который не сунулся бы съ импровизаціей длиннохвостаго четверостишія въ честь новобрачной четы.

Нотаріусъ былъ въ своей стихіи. Онъ увѣрялъ, будто дядя Сенто только-что отдалъ ему ногу подъ столомъ, вообразивъ, что это нога Марьеты; онъ говорилъ о ночи, которая наступитъ вслѣдъ за этимъ днемъ такъ, что вгонялъ въ краску стыда молодыхъ дѣвушекъ и вызывалъ улыбку у матерей, а весельчакъ кура съ влажными, блестящими глазами пытался сохранить серьезность, добродушно бормоча:

— Ну, ну, донъ Хуліанъ! Постыдитесь! Въ моемъ присутствіи...

Вино пробудило въ обѣдающихъ грубые инстинкты. Они кричали, повскакавъ съ своихъ мѣстъ, сбрасывая на полъ своими яростно размахивающими руками бутылки и стаканы; пѣли подъ аккомпаниментъ гобоя Димони, подъ звуки котораго на дворѣ топталось нѣсколько паръ танцующихъ, и, наконецъ, инстинктивно раз-

дѣлившись на два лагеря, принялись швырять другъ въ друга, съ одного конца стола въ другой горсти конфектъ во всю силу своихъ здоровенныхъ рукъ, привыкшихъ къ борьбѣ съ неблагодарной землей и упрямымъ рабочимъ скотомъ.

Ай да забава! Дядя Сенто, въ высшей степени довольный, но кура съ женщинами поспѣшилъ укрыться въ спальнѣ, а нотариусъ подлѣзъ подъ столъ.

Стекла вдѣланныхъ въ стѣну шкафовъ со звономъ разлетались въ дребезги, разбивалась посуда, стукъ ея черепковъ раздавался непрерывно, а бойцы разгорячились до того, что, не находя больше конфектъ подъ рукою, швыряли уже остатки печенья и осколки битыхъ тарелокъ.

— Будеть, будеть!—кричалъ дядя Сенто, уставъ получать удары.

И, такъ какъ никто его не слушался, то онъ вскочилъ и пинками выпроводилъ всѣхъ во дворъ, гдѣ разгоряченные парни продолжали перестрѣлку, принявшись уже за менѣ чистые метательные снаряды.

Тогда женщины, а съ ними и струсившій кура вернулись въ столовую. Дѣва Пресвятая! Какъ нехорошо! Какая грубая игра! И женщины принялись оказывать помощь контуженнымъ участникамъ игры, которые со смѣхомъ вытирали кровь, текущую изъ ихъ головъ, не переставая утверждать, что превосходно повеселились.

Всѣ опять усѣлись кругомъ стола, на которомъ все было вверхъ дномъ, вино пролито, а остатки отъ обѣда образовали пренепріятныя пятна.

Но и тутъ дѣло не обошлось безъ испуга: нѣкоторыя почтенныя матроны, испуская пронзительные крики отъ страха, повскакивали со своихъ мѣстъ, увѣряя, будто что-то ползаетъ подъ столомъ и щекочетъ ихъ толстыя икры.

Это были мальчишки, которые, еще не пресытившись конфектами, ползали на четверенькахъ подъ столомъ и подбирали то, что осталось отъ битвы.

Вотъ чертенята! Проваливайте!.. Ну, маршь! Маршь!

И градъ пинковъ и подзатыльниковъ изгналъ безсовѣстныхъ любителей сластей, положивъ конецъ ихъ нашествію.

О, Господи, ну, и свадьба! Ужъ подлинно можно сказать, что всѣ повеселились въволюшку!

А за дверьми гнусавилъ гобой, выдѣлывая безумные, головокружительные скачки, точно и онъ заразился этимъ весельемъ, такимъ же грубымъ, какъ и наивнымъ.

IV.

Къ десяти часамъ вечера въ домѣ новобрачныхъ оставалось уже только нѣсколько человѣкъ.

Съ наступленіемъ сумерекъ изъ сарая начали выѣзжать телѣги и выводиться осѣдланныя верховыя лошади: большинство гостей пустилось въ обратный путь въ свои селенія, распѣвая во всю глотку и желая молодоженамъ пріятной ночи.

Обитатели Бенимуслина тоже расходились по домамъ, и на темныхъ улицахъ можно было видѣть не одну женщину, съ трудомъ тащившую своего качающагося муженька, который былъ неспособенъ на излишество въ обыкновенные дни, но въ праздникъ веселился, какъ подобаетъ мужчинѣ.

Старая тартана нотариуса прыгала по выбоинамъ дороги, а въ ней съ очками, съѣхшими на кончикъ носа, дремалъ донъ Хуліанъ, предоставивъ править своему писцу, не взирая на то, что послѣдній былъ въ не менѣе растрепанныхъ чувствахъ, чѣмъ его принципаль.

Въ домѣ оставались только родители Марьеты да нѣсколько родственниковъ.

Дядя Сенто обнаруживалъ признаки нетерпѣнія. Каждому филину своя маслина: послѣ такого хлопотливаго дня пора бы уже и ложиться спать. И его глазки подъ густыми бровями блестѣли жаднымъ выраженіемъ.

— До свиданія, дочь моя! — кричала мать Марьеты.—До свиданія!...

И она такъ рыдала и обнимала дочь, точно той грозила смертельная опасность.

Что касается отца, стараго извозчика, уносившаго въ своемъ брюхѣ добрую половину бodeги, то онъ протестовалъ заплетающимся языкомъ, но съ насмѣшливымъ негодованіемъ. Тысяча дьяволовъ! Этакъ дѣвченкѣ, чего добраго, представится, что ее осудили на смерть и ведутъ на эшафотъ! Ей-Богу, есть отъ чего помереть со смѣху! Неужели ея мать считаетъ такимъ ужасомъ то, что она вышла замужъ?

И онъ подталкивалъ свою старуху, желая оторвать ее отъ Марьеты, которая тоже заливалась слезами; и такъ, среди вздоховъ и всхлипываній, они дошли до двери, которую дядя Сенто и заперъ, наконецъ, за ними на засовы и на цѣпь.

Наконецъ-то, они остались одни. Тамъ, наверху, на чердакѣ, спала тетка Паскуала; въ людской спали слуги, но въ нижнемъ этжѣ, въ главной части дома, были лишь они одни среди безпорядка,

оставшагося послѣ банкета, при колеблющемся свѣтѣ монументальной лампы.

Наконецъ-то, она была его! Она сидѣла въ драковомъ креслѣ, съезжившись, точно стремясь уменьшиться до того, чтобы совсѣмъ исчезнуть.

Дядю Сенто била лихорадка отъ нетерпѣнія, и въ пылу своей старческой страсти онъ не зналъ, о чемъ говорить. Тысяча чертей! Ничего подобнаго съ нимъ не бывало, когда онъ женился на Томасѣ. Вотъ, что дѣлають годы.

Но съ чего-нибудь да надо же было начать, и онъ предложилъ Марьетѣ перейти въ спальню. Но хороша оказалась красотка, нечего сказать! Болѣе упрямаго и неприступнаго созданія дядя Сенто въ жизни не видалъ!

Нѣтъ, она не двинется съ мѣста; она не пойдетъ въ спальню, хоть убейте ее; она желаетъ провести ночь здѣсь, на этомъ креслѣ.

И какъ только мужъ дѣлалъ попытку къ ней приблизиться, она въ страхѣ вся съезживалась, точно улитка, чуть-чуть-что не свертываясь въ клубокъ на своемъ дроковомъ креслѣ.

Дядя Сенто усталъ просить. Прекрасно! Если у нея явилась такая фантазія, онъ желаетъ ей доброй ночи.

И, сердито схвативъ лампу, онъ ушелъ въ спальню.

Марьету охватилъ безотчетный страхъ въ темнотѣ. Этотъ большой, незнакомый домъ пугалъ ее; ей почудилось во мракѣ широкое, покрытое старческими веснушками лицо сини Томасы, и, вся дрожа, она сломя голову, точно кто-то гнался за нею, брсилась въ спальню вслѣдъ за мужемъ.

Она окинула взглядомъ эту комнату, лучшую во всемъ домѣ, съ креслами изъ Виторіи, съ гравюрами религіознаго содержанія на стѣнахъ, съ маленькими, незажженными лампадками передъ ними и огромными платяными шкафами сосноваго дерева.

На пузатомъ комодѣ съ бронзовыми ручками возвышался большой кіотъ, полный статуей святыхъ и засохшихъ цвѣтовъ; его окружали стеклянные канделябры съ желтыми восковыми свѣчами, искривившимися отъ времени; подлѣ постели висѣла кропильница со святой водой, съ прикрѣпленной надъ ней пальмовой вѣтвью отъ Вербнаго Воскресенія, а подлѣ висѣло на гвоздѣ ружье дяди Сенто, двустволка, съ дулами, какъ у мушкетона, всегда заряженная крупной дробью на всякій случай, потому что мало ли что могло случиться.

Но высшій образецъ великолѣпія, завершающій собой убранство, представляла знаменитая кровать сини Томасы,—сложное сооруженіе изъ рѣзнаго, крашеннаго дерева, имѣющее въ головкахъ добрую половину представителей небснаго двора и снабженное цѣ-

лой грудой тюфяковъ, покрытыхъ краснымъ парчевымъ одѣяломъ.

Мужъ улыбался, довольный своей побѣдой.

А-а, пришла небось! Всегда нужно слушаться и не быть душой. Онъ же ей хочетъ добра, потому что сильно любитъ ее.

Несмотря на свою грубость, старикъ говорилъ это такимъ сладенькимъ голоскомъ, точно у него во рту еще оставалась конфетка отъ обѣда, и въ то же время смѣло протягивалъ къ ней руки.

— Потише!—сказала Марьета задыхающимся отъ страха голосомъ.—Не подходи!

И она стала перебѣгать съ мѣста на мѣсто, спасаясь отъ мужа. Она бѣгала изъ угла въ уголь, съ тревогой оглядывая стѣны, точно надѣясь увидѣть въ нихъ отверстіе, въ которое она могла бы улизнуть.

Если бы только она не боялась темноты, она сейчасъ же выскользнула бы за дверь спальни, чтобы положить конецъ нестерпимой борьбѣ.

Дядя Сенто оставилъ ее въ покоѣ и началъ раздѣваться съ покорнымъ видомъ.

— Однако, какъ ты еще глупа,—сказалъ онъ философскимъ тономъ.

И онъ повторялъ эту фразу безчисленное множество разъ, пока снималъ съ себя альпартасъ и плисовые панталоны и развязывалъ черный поясъ, вслѣдствіе чего его животь снова приобрѣлъ свою вздутую форму и эластичность.

Издали донесся бой церковныхъ часовъ, бьющихъ одиннадцать. Пора было покончить съ этимъ смѣшнымъ положеніемъ; ляжетъ Марьета въ постель или нѣтъ?

Дядя Сенто задалъ свой вопросъ такимъ властнымъ тономъ, что молодая женщина поднялась, точно автоматъ, отвернулась лицомъ къ стѣнѣ и начала медленно раздѣваться.

Она сняла съ шеи платокъ, затѣмъ послѣ долгихъ колебаній, на кресло упалъ ея лифъ.

Показался зашнурованный корсетъ ослѣпительной бѣлизны съ продернутыми по краю красными ленточками, а надъ нимъ смуглая спина теплаго янтарнаго тона, съ нѣжной кожей зрѣлаго персика, а еще выше божественный изгибъ затылка съ пышными завитками волосъ.

Дядя Сенто сталъ крадучись приближаться къ ней, раскачивая на-ходу большимъ мягкимъ животомъ. Пусть она броситъ глупости: онъ поможетъ ей раздѣваться.

И онъ пытался зайти между нею и стѣной, чтобы увидѣть ее

спереди и отвести эти руки, судорожно скрестившіяся на пышной, упругой груди, стянутой корсетомъ.

— Не тронь! Не хочу!—съ тоской кричала дѣвушка.—Уходи! Убирайся!

Съ неожиданной силой она толкнула этотъ животъ, загораживавшій ей дорогу, и, все попрежнему закрывая грудь, поспѣшно укрылась между постелью и стѣной по другую сторону.

Дядя Сенто совсѣмъ разсердился: это ужъ переходило границы шутки, и онъ не чувствовалъ себя способнымъ на одно созерцаніе. Онъ хотѣлъ-было кинуться за Марьетой въ ея убѣжище, но едва тронулся съ мѣста, какъ,—тысяча чертей!...—казалось, будто все селенье проваливается, будто на домъ напали всѣ дьяволы изъ ада, или наступило свѣтопредставленіе.

Раздался взрывъ. Это колотили палками въ жестянки отъ керосина; уздечки трясли всѣми своими безчисленными бубенчиками; огромныя матраки и колокольчики съ шеи скота всѣ звонили сарзу, а черезъ секунду стали взлетать ракеты, шипя и разрываясь подлѣ самаго окна спальни. Черезъ щели жалюзи проникалъ красноватый отблескъ пожара.

Онъ догадывался, кому былъ этимъ обязанъ. Если бы его не пугало наказаніе, если бы не существовало на свѣтѣ тюрьмы, ужъ онъ бы показалъ этой свблочи.

И онъ бранился и топалъ ногами, забывъ свой любовный пылъ, не помня о Марьетѣ, которая вначалѣ испугалась этого адскаго грохота, а теперь рыдала, точно ея слезы могли что-нибудь уладить.

Недаромъ предупреждали ее подруги: она выходитъ за вдовца, и ей устроить кошачью серенаду.

Да еще какую кошачью серенаду, сеньоры! По всѣмъ правиламъ, съ полными намековъ куплетами, которые слушатели (цѣлая толпа народа) привѣтствовали хохотомъ и ржаніемъ, а какъ только эти куплеты умолкали, моментально подымался грохотъ жестянокъ и колокольчиковъ, гнусаво и насмѣшливо игралъ гобой и простуженный голосъ, который Марьета знала,—и еще какъ знала!—снова пѣлъ о старости новобрачнаго, о давно утратившей невинность новобрачной и о грозящей дядѣ Сенто опасности завтра же отправиться на кладбище, если только онъ посмѣетъ исполнить сегодня свой супружескій долгъ.

— Мерзавцы! Подлецы!—ревѣлъ новобрачный: и, какъ безумный, носился по спальнѣ, размахивая руками, точно лоя и давя въ воздухѣ эти куплеты, долетавшіе съ улицы.

Но его одолевало болѣзненное любопытство, онъ желалъ ви-

дѣтъ, кто эти молодчики, которые его задирають, и онъ задулъ лампу, а затѣмъ открылъ форточку въ жалузи.

Вся улица была запружена народомъ. Нѣсколько пучковъ пакли горѣли красноватымъ пламенемъ, и ихъ огонь озарялъ свѣтомъ пожара кучку главныхъ исполнителей кошачьей серенады, оставляя во мракѣ остальную толпу.

Зачинщики были на-лицо: впереди—Десгарратъ, а за нимъ—вся родня синьи Томасы. Но что больше всего привело въ негодованіе дядю Сенто, такъ это то, что здѣсь же былъ и Димони: этотъ негодный воръ аккомпанировалъ на своемъ гобоѣ непристойнымъ куплетамъ, когда всего лишь нѣсколько часовъ назадъ, получилъ за свою работу на свадьбѣ цѣлыхъ два дура, блестящихъ, какъ два солнца! И какъ смѣялся этотъ еретикъ каждый разъ, какъ его пріятель Десгарратъ откалывалъ какую-нибудь новую непристойность!

Что больше всего мучило дядю Сенто,—хотя онъ объ этомъ и умалчивалъ,—это то, что при нанесеніи ему этого оскорбленія присутствовала половина селенія, тѣ самые люди, которые раньше боялись его и заискивали передъ нимъ, униженно вымаливая его благосклонность. Его звѣзда закатывалась. Всѣ потеряли къ нему уваженіе послѣ сдѣланной имъ глупости—женитьбы на дѣвченкѣ.

Въ немъ проснулась гордость грубаго человѣка, привыкшаго, чтобы его воля исполнялась, и онъ дрожалъ съ головы до ногъ отъ жестокой обиды.

Онъ былъ согласенъ терпѣть шумъ,—пусть колотятъ и звонятъ, сколько душѣ угодно, но пусть не поетъ этотъ негодяй, потому что отъ его куплетовъ кровавый туманъ застилаетъ его глаза.

Но Десгарратъ былъ неистощимъ, и толпа выла отъ восторга послѣ cadaго куплета. Старикъ, окончательно выведенный изъ себя, отскочилъ отъ окна и сталъ, точно искать чего-то во мракѣ спальни.

Однако, онъ вернулся и еще нѣкоторое время стоялъ у форточки; онъ видѣлъ, какъ толпа раздвинулась, давая дорогу нѣсколькимъ друзьямъ Десгаррата, которые тащили на плечахъ что-то большое и черное.

— Вѣчная память! Вѣчная память!—ревѣла толпа, подражая похоронному пѣнію.

И новобрачный увидѣлъ двигающіеся мимо, какъ хоругвь, огромные, изогнутые деревянные рога, привязанные къ концу палки, а затѣмъ гробъ, въ которомъ лежало чучело съ двумя большими жлоками шерсти на мѣстѣ бровей.

Господи, вѣдь это они его хоронятъ! Уже осмѣливаются бро-

сать ему въ лицо эту кличку бровастый, которую никто не посмѣлъ бы раньше произнести въ его присутствіи.

Онъ взревѣлъ и, отшатнувшись отъ окна, пошелъ въ темнотѣ ощупью вдоль стѣны, ища чего-то, потомъ приложилъ что-то къ своему искаженному отъ бѣшенства лицу, и раздалось два выстрѣла, которые мгновенно прекратили бурный кошачій концертъ. Онъ выстрѣлилъ не цѣлясь, но его желаніе убить было такъ сильно, что онъ былъ вполне увѣренъ, что не промахнулся.

Красные факелы потухли, послышался топотъ поспѣшно убѣгающей толпы, и раздалось нѣсколько голосовъ, кричавшихъ съ улицы:

— Негодяй!... Убійца! Бровастый! Покажутъ тебѣ теперь, мерзавецъ!

Но дядя Сенто не слышалъ криковъ. Онъ стоялъ, какъ вкопанный, посреди спальни, точно ошеломленный тѣмъ, что сдѣлалъ, съ теплымъ еще ружьемъ, которое жгло ему руки.

Марьета билась въ припадкѣ на полу. Ея мучительное хрипѣнье, было единственнымъ, что онъ слышалъ, и, изливая свое бѣшенство на того, кто былъ всего ближе къ нему, онъ прошипѣлъ свирѣпо:

— Молчи!... Чортъ тебя побери! Молчи, не-то я убью тебя, какъ собаку!...

Дядя Сенто вышелъ изъ своего столбняка лишь тогда, когда раздалось громкіе удары во входную дверь.

— Отворите! Именемъ закона!

Очевидно, слуги проснулись задолго до этого, потому что двери тотчасъ были открыты, и къ спальнѣ сталъ приближаться стукъ ружейныхъ прикладовъ и топотъ подбитыхъ гвоздями сапоговъ.

Когда дядя Сенто вышелъ на улицу между двухъ жандармовъ, онъ увидѣлъ трупъ Десгarrата, весь усѣянный ранами: зарядъ дроби не пропалъ даромъ.

Пріятели убитаго грозили ему издали навахами; даже Димони, шатаясь и оттого, что былъ пьянъ, и отъ волненія, грозно и гордо цѣлился въ него своимъ гобоемъ, но онъ никого не видѣлъ и удалился съ опущенной головой, бормоча съ горечью:

— Хороша ночь новобрачныхъ!

Гарборгъ, А.

РАСПЛАТА.

Осульвъ и Берглиотъ любили другъ друга. Въ одинъ прекрасный вечеръ они взялись за руки и обѣщали никогда не разставаться, прежде чѣмъ смерть не придетъ и не разлучитъ ихъ. Съ тѣхъ поръ они часто встрѣчались. Въ другой вечеръ — это было недавно — они съ плачемъ и печалью обмѣнялись новымъ обѣщаніемъ, что прежняя ихъ клятва остается ненарушимой, что бы ни произошло на свѣтѣ.

Дѣло въ томъ, что Таральдъ, отецъ Берглиотъ, не хотѣлъ. Ему не нравился Осульвъ. Совсѣмъ не нравился. Онъ видѣть его не хотѣлъ. А ужъ если кто ему не понравится, этому Таральду Гаукенэсу, пиши пропало.

— Ты выйдешь за Павла Бротэ, — сказалъ онъ Берглиотъ.

— Нѣтъ, — отвѣтила Берглиотъ.

— Да, — заявилъ Таральдъ.

— Посмотримъ.

— Ты у меня подожди.

Однажды вечеромъ Павелъ Бротэ пришелъ на Гаукенэсъ. Онъ былъ славный парень, но не молодой и очень молчаливый.

— Вотъ твой женихъ, — сказалъ Таральдъ.

— Никогда онъ не будетъ моимъ, — отвѣтила Берглиотъ.

— Не противорѣчь! — воскликнулъ Таральдъ, весь побѣлѣвъ.

Это было всегда дурнымъ признакомъ.

Берглиотъ не посмѣла отвѣтить.

— Прими его хорошо и любезно, понимаешь?

— Постараюсь, — сказала Берглиотъ.

Таральдъ и Павелъ сидѣли весь вечеръ и пили, водки истребили они немало. Разговоръ ихъ становился все громче. Наконецъ, Таральдъ позвалъ свою дочь, и она должна была притти.

— Моя воля и желаніе въ томъ, — сказалъ Таральдъ, — чтобы ты весною пошла съ этимъ славнымъ парнемъ сначала къ вѣнцу, а затѣмъ въ его домъ. Что ты скажешь на это?

Она хотѣла дать рѣзкій отвѣтъ, но отецъ такъ грозно посмо-

трѣль на нее, что она только склонила голову. Она опустила взоръ, подумала немного, затѣмъ тихо отвѣтила:

— Если ты хочешь принудить меня, хотя знаешь, что я не желаю... то я пойду съ нимъ... въ церковь... но не дальше. — Она выпрямилась, ея лицо было блѣдно.

Таральдь готовъ былъ вспылить, но Павелъ сказалъ:

— Да, да, Бергліотъ, если ужъ мы зайдемъ такъ далеко, то объ остальномъ можно будетъ послѣ поговорить.

— Правильно! — воскликнулъ Таральдь и ударилъ ладонью по столу. — За здоровье Павла Бротэ и Бергліотъ, дочери Таральда Гаукенэса!

Они выпили. Бергліотъ ушла.

Вотъ въ этотъ вечеръ она и встрѣтила Осульва, какъ уже было сказано. Онъ узналъ о новомъ женихѣ и бродилъ возлѣ дома Таральда. Влюбленные остановились въ печали и тоскѣ и стали шептаться при свѣтѣ луны. Они рѣшили, что Бергліотъ пойдетъ съ Павломъ въ церковь, но громко скажетъ тамъ «нѣтъ», когда ее спросятъ. Они знали, что пастору нельзя будетъ тогда вѣнчать. Потомъ все уладится.

Весною состоялась свадьба, большая и пышная, съ двумя музыкантами и всѣмъ, что полагалось. Народу было много. Пригласили самого пастора, онъ сидѣлъ за столомъ, ѣлъ и пилъ въ обществѣ самыхъ лучшихъ крестьянъ своего прихода.

Но когда кончилось угощеніе, Таральдь отозвалъ пастора въ сторону на пару словъ.

— Надо быть насторожѣ сегодня, батюшка, — сказалъ Таральдь.

— Насторожѣ? — удивился пасторъ и посмотрѣлъ на него.

— Да, — сказалъ Таральдь, — я боюсь, какъ бы дочь моя не выкинула какую-нибудь штуку сегодня.

— Ха-ха-ха, — засмѣялся пасторъ, — неужели дѣла плохи? Я вижу, дѣйствительно, невѣста совсѣмъ не весела, но не думаю, чтобы это было опасно? Я знаю такія вещи. Все уладится, когда она очутится подъ вѣнцомъ. Тутъ всѣ онѣ смягчаются, какъ бы раньше ни сердились. Онѣ больше заливаются слезами, а потомъ все забывается.

— Это мнѣ все равно, — сказалъ Таральдь, — но если моя дочь выкинетъ какую-нибудь штуку сегодня, ты сдѣлай видъ, будто не слышишь, и продолжай вѣнчать! Обѣщай мнѣ это! Ты не пожалѣешь.

— Да, да, я знаю, ты мужикъ хорошій, Таральдь... а дочь твоя, вотъ увидишь... мнѣ еще никогда не приходилось видѣть дѣвушку, которая долго горевала бы послѣ вѣнчанія. У молодежи вѣдь всегда такъ: съ глазъ долой, изъ сердца вонъ. Если что-нибудь случится, я

поступлю такъ, какъ ты говоришь, Таральдъ, а потомъ, я увѣренъ, ты меня не обидишь.

— Да, ужь конечно, — отвѣтилъ Таральдъ и далъ пастору руку.

Пришли въ церковь. Пасторъ произнесъ длинную рѣчь, въ которой главнымъ образомъ проповѣдовалъ о томъ, что мы должны укрощать и распинать нашу собственную волю, и быть увѣренными, что тотъ, кто первый ведетъ къ вѣнцу, назначенъ самимъ Богомъ въ супруги. И великій грѣхъ противиться Божьей волѣ. Можетъ случиться, что кто-нибудь по слѣпотѣ своей вообразить, будто другой лучше и милѣе. Но такое мнѣніе исходитъ отъ плоти и Сатаны, и надо остерегаться, чтобы не склониться къ нему. Если же послушаешься его голоса, то попадешь въ адъ.

— Таральду рѣчь показалась превосходной. Павелъ былъ того же мнѣнія. Но Берглиотъ даже не слышала ея. Она стояла и вся дрожала, какъ въ лихорадкѣ.

Пасторъ приступилъ къ обряду вѣнчанія. Пока онъ задавалъ вопросы Павлу, все шло хорошо. Но когда пасторъ перешелъ къ Берглиотъ, вышла заминка. Она произнесла «нѣтъ» такъ громко и рѣзко, что все услышали. Пасторъ смутился и обвелъ присутствующихъ взглядомъ. Таральдъ стоялъ и смотрѣлъ на него такъ сурово и рѣшительно, что онъ исполнился мужества и продолжалъ, какъ ни въ чемъ не бывало.

Съ другими вопросами вышло то же самое. Въ церкви поднялась тревога, но присутствующіе были не совсѣмъ трезвы, большинство ихъ думали, что на невѣсту нашло затменіе. Старый пономарь сидѣлъ, выпучивъ глаза, и удивлялся. «Невѣста выпила водки должно быть», подумалъ онъ. Таральдъ стоялъ и такъ пристально смотрѣлъ на пастора, словно готовъ былъ съѣсть его. Пасторъ продолжалъ.

Берглиотъ была испугана и ошеломлена. Она настолько трепетала, что Павелъ долженъ былъ ее поддерживать, хотя онъ самъ чувствовалъ, что у него слабѣютъ колѣни. Третій отвѣтъ былъ произнесенъ такъ тихо и неразборчиво, что никто въ церкви не могъ его слышать. Пасторъ торопился и читалъ молитвы съ такой поспѣшностью, словно стоялъ на раскаленныхъ угольяхъ.

Подъ конецъ Берглиотъ ничего не видѣла и не слышала. Въ чемъ здѣсь дѣло? Развѣ она не достаточно громко отвѣчала? Или она не поняла вопросовъ и отвѣтила не то, что нужно? Невыразимый ужасъ охватилъ ее. Ей хотѣлось закричать, но она не могла, хотѣлось убѣжать, но она не въ силахъ была двинуть ногою; она чувствовала безсиліе, вокругъ нея все вертѣлось, шумъ, жужжаніе и крики доносились откуда-то издалека, алтарь поднимался и опу-

скался, словно на волнахъ, образа колыхались и подскакивали... Пасторъ такъ спѣшилъ, что даже вспотѣлъ, и какъ разъ въ то мгновеніе, когда она упала безъ чувствъ на коверъ, онъ кончилъ свое благословеніе. Павелъ сталъ возлѣ нея на колѣни, пасторъ сложилъ надъ ними руки и благословилъ... Такъ они были повѣнчаны предъ Богомъ и людьми. Таральдъ самъ подскочилъ и помогъ привести въ чувство невѣсту.

— Что Богъ соединилъ, то человекъ не можетъ разъединить, — закончилъ пасторъ. Потъ выступилъ у него на лбу.

— Не относись ко всему этому такъ тяжело, дитя мое, — шепнулъ Таральдъ, — зато ты всегда будешь помнить, что у тебя хорошій мужъ!

Однажды осенью пастору нужно было отправиться въ Стелэ. Гальвардъ Стелэ былъ при смерти и хотѣлъ пріобщиться св. Таинъ. Его батракъ явился за пасторомъ въ лодкѣ, такъ какъ надо было проѣхать водою съ полмили, чтобы попасть въ Стелэ. Погода была неважная, но пасторъ все-таки пустился въ путь.

Когда онъ кончилъ свое дѣло, наступили уже сумерки, погода стала еще хуже. Пасторъ очень торопился. Онъ вскочилъ въ лодку, закутался хорошенько въ свою шубу и крикнулъ: «эй, парень, трогай!»

Парень оттолкнулъ лодку отъ берега.

Немного спустя пасторъ увидѣлъ, что лодкой управляетъ, совсѣмъ не тотъ батракъ, который привезъ его сюда. Новый гребъ гораздо лучше. Впрочемъ, теперь въ темнотѣ онъ не могъ разобрать его лица. Его занимали совсѣмъ другія мысли. Этотъ Гальвардъ Стелэ былъ страннымъ человекѣмъ. Твердый, какъ камень, и крижистый, какъ старая ветла, онъ оказывался иногда гораздо умнѣе, чѣмъ можно было бы подумать. Гм... Онъ обманывалъ нѣсколько разъ пастора, оставляя его безъ вознагражденія, уплачивалъ десятину плохимъ зерномъ, кралъ лѣсъ въ чужомъ лѣсу, вообще, за нимъ числилось много мошенническихъ продѣлокъ. Но теперь онъ былъ сломленъ. Немного теперь осталось отъ этого черстваго человекѣа. Онъ былъ мягокъ, какъ дитя.

— Какъ ты полагаешь, я попаду въ адъ? — сказалъ онъ, — или быть можетъ, есть какое-нибудь средство помочь этому? Что, по-твоему, случилось съ Ларсомъ Волленамъ? Ты думаешь, онъ вознесся въ царство небесное?

— Надо на это надѣяться.

— Тогда и мнѣ, быть можетъ, удастся избѣжать ада, я не скажу, чтобы я былъ хуже его.

— Ты долженъ покаяться, Гальвардъ. Можешь ты это сдѣлать?

— Покаяться, а что это значить?

— Пожалѣть о своихъ грѣхахъ...

— Пожалѣть. Я, конечно, жалѣлъ! Видить Богъ — это правда.

Мнѣ многого не слѣдовало бы дѣлать. Теперь, когда приходитъ конецъ мой, я это вижу. Больше всего я жалѣю, что принудилъ Кари Гаугенъ стать моей женой. Съ тѣхъ поръ у нея не было ни одного веселаго дня. Мнѣ кажется, какъ будто я убилъ человѣка... Господи Боже, не надо думать объ этомъ.

Шель дождь, дулъ вѣтеръ. Наступила ночь, но парень правилъ хорошо, и пасторъ чувствовалъ себя спокойно. Онъ сидѣлъ и думалъ. Его удивили слова умирающаго о женѣ, у которой не было ни одного веселаго дня. Неужели это правда? Онъ никогда не замѣчалъ ничего особеннаго за женою Гальварда Стелэ, у нея былъ такой же видъ, какъ и у всѣхъ остальныхъ женщинъ. Быть можетъ, у многихъ на душѣ творится то же самое? — Ахъ, нѣтъ, конечно, нѣтъ. Не можетъ этого быть. Гм! а вѣдь онъ мнѣ вѣнчалъ насильно. Если это все равно, что убить человѣка, значить онъ участвовалъ во многихъ убійствахъ. Чепуха! Нѣтъ. Но въ одномъ вѣнчаніи онъ глубоко раскаивается. Ахъ, какая ужасная погода... «Греби, парень!..» Да, эта Берглиотъ... онъ поступилъ съ нею не такъ, какъ надо было. Но... но... во всемъ виноватъ Таральдъ...

Вдургъ лодка остановилась. Парень поднялъ весла. Пасторъ вдрогнулъ.

— Что случилось? — спросилъ онъ.

Парень всталъ и шагнулъ по направленію къ нему.

— Готовъ ли ты къ смерти, пасторъ? — спросилъ онъ.

Пасторъ откинулся назадъ и недоумѣвающе посмотрѣлъ на парня.

— Ты рехнулся? — пробормоталъ онъ.

— Я спрашиваю, готовъ ли ты къ смерти? — сказалъ парень и схватилъ пастора за воротникъ шубы.

Пасторъ весь съежился при видѣ его кулака.

— Нѣтъ! — простоналъ онъ.

— Такъ умирай неготовымъ, — сказалъ парень и поднялъ его.

Пасторъ нагнулся и судорожно ухватился за край лодки:

— Вспомни, что я пасторъ! — взмолился онъ. — Убить пастора — ужасный грѣхъ!

— Ты еще болтаешь о грѣхахъ? — крикнулъ парень и рванулъ пастора такъ, что лодка затряслась.

— Подумай о Господѣ, подумай о Господѣ! — застоналъ пасторъ.

— А о комъ ты думалъ, когда стоялъ передъ алтаремъ и вѣнчалъ Берглють Гаукенэсъ съ Павломъ Бротэ?

Пасторъ вздрогнулъ, такъ, что руки его опустились.

— Такъ это ты?... Ты, который...

— Да.

— Требуй отъ меня все, чего хочешь, но оставь меня въ живыхъ. Оставь въ живыхъ. Не убивай своего пастора! — Онъ протрясъ, какъ ребенокъ.

Но Осульвъ взялъ его обѣими руками и поднялъ надъ краемъ лодки:

— Отправляйся въ адъ! — сказалъ онъ.

— Пусти... пусти меня... дай прочесть... Отче нашъ, — прошепталъ пасторъ, обезумѣвшій отъ страха.

— Читай скорѣе, — сказалъ парень и опустил его. Было темно, какъ въ могилѣ. Вѣтеръ все усиливался. Маленькая лодка неслась по волнамъ.

— Отче нашъ... иже еси... — говорилъ пасторъ, не отдавая себѣ отчета въ томъ, что онъ произноситъ. — Не убивай меня, Осульвъ! Я сдѣлаю тебя богатымъ человѣкомъ! Во всемъ виноватъ Таральдъ...

Читай, — приказалъ Осульвъ.

— Отче нашъ... иже еси... Я куплю тебѣ хуторъ, Осульвъ!

— Если хочешь читать Отче нашъ, то поспѣши, — сказалъ Осульвъ и схватилъ пастора снова.

— Да... придетъ царствіе твое... Да... да... будетъ воля твоя...

Тутъ налетѣлъ сильный порывъ вѣтра. Въ воздухъ засвистѣло и завыло, брызги пѣны полетѣли во всѣ стороны. Волны поднимались одна выше другой... лодка накренилась, и Осульвъ съ пасторомъ упали въ воду.

Осульвъ пытался освободиться отъ пастора, но тотъ въ ужасѣ крѣпко вцѣпился въ него. И оба пошли ко дну. Вѣтеръ завывалъ въ горныхъ ущельяхъ, черныя волны плясали съ гребнями пѣны на хребтахъ, ни криковъ, ни призывовъ о помощи не было слышно. Только лодка неслась, подскакивая, по волнамъ, затѣмъ ее загнало въ бухту, прибило къ берегу, и здѣсь она остановилась.

ГОРНЫЙ ВОЗДУХЪ.

Ола Брюнъ, художникъ, иначе Ола Гутенъ, и я пришли къ тому убѣжденію, что во время такого страшнаго зноя лучше будетъ спать днемъ, а путешествовать ночью. И вотъ, выспавшись въ Эвстему Сэтри, мы при заходѣ солнца пустились въ путь съ намѣреніемъ достигъ озера Дюршѣ раннимъ утромъ. Солнце ежедневно поднималось изъ-за горъ такъ высоко, что воздухъ сталъ густой и стлался сѣрой пеленой.

— Теперь горять лѣса въ Эстердаленѣ, нужно тебѣ знать, — сказалъ Ола Гутенъ.

Небо было подернуто сѣро-фіолетовой дымкой, которая сгущалась вдали на самомъ горизонтѣ въ темно-фіолетовую мглу и облака. Высоты горъ погрузили въ нихъ свои хребты и вершины и отливающіе серебромъ снѣжные пики, напоминающіе собою призраки — небо и земля слились въ одно.

Въ этомъ мгlistомъ ложѣ далеко за послѣдними горами, исчезавшими въ облакахъ, на сѣверо-востокѣ выдѣлялись изъ сѣрой глубины свѣтлыя, обрамленныя желтыми краями тучи, предвѣщавшія дождь.

Вдругъ сорвался западный вѣтеръ и промчался долгими живыми струями по скатамъ горъ, гдѣ шелестѣли горныя березы, скорченныя отъ вѣтра и жизненной борьбы. Ниже, въ дольнихъ спускахъ, раздавался временами голосъ кукушки; онъ слышался сквозь шумъ вѣтра сдавленный, но отчетливый, спокойный и мягкій, какъ вечерній звонъ изъ скрытой въ лѣсу церкви.

Но вскорѣ вѣтеръ утихъ. Въ двѣнадцать часовъ мы лежали надъ ручьемъ и варили себѣ кофе. Вокругъ царила тишина, только гдѣ-то въ тростникѣ или въ береговой рощицѣ чирикала какая-то испуганная птица.

Время отъ времени вдали раздавался мягкій, слабый звонъ колокольчиковъ — должно быть паслись лошади. Дождевыя тучи на сѣверѣ исчезли, оставалась только блѣдная, сѣровато-синяя мгла, окутывавшая горы мягкими облаками.

На сѣверѣ, внизу, виднѣлась матовая бронзовая полоса.

— Полнощное солнце, — сказалъ Ола Гутень.

Мы становились все менѣе разговорчивы...

Такое величіе и такая святость осѣняли міръ. Какъ въ сказкѣ! Это была не ночь, а гаснущій день. День чудесъ, день призраковъ — какой-то странный свѣтъ, точно ты видѣлъ его когда-то во снѣ. Не разберешь — солнце или луна? Можно было повѣрить въ эту минуту въ того великана съ верстовыми ногами, который обходилъ всѣ эти горы и, какъ тѣнь, исчезалъ далеко-далеко...

Мы сидѣли такъ за кофе, покуривая въ короткихъ трубочкахъ мелко нарѣзанный табакъ. Вдругъ въ воздухѣ произошла какая-то перемѣна. Мы ее скорѣе почувствовали, чѣмъ увидѣли; оба мы одновременно оглянулись по сторонамъ и въ одну и ту же минуту у насъ обоихъ сорвалось слово «день!»

Кажется, что оба мы точно очнулись, вдругъ почувствовали измѣненіе въ гармоніи нервовъ, какое-то озареніе въ крови. Точно проснувшись вдругъ, оба мы вскочили на ноги, потушили костеръ и отправились въ дальнѣйшій путь.

Минуту спустя я шель, не будучи въ состояніи дать себѣ отчета, спалъ я или нѣтъ? Я должно быть дремалъ, если не глазами, то остальными частями тѣла, — вѣдь все, что я дѣлалъ, думалъ и видѣлъ до этого вечеромъ, стало для меня вдругъ такимъ далекимъ. Это было такъ давно! Меня окружала совсѣмъ другая обстановка. Я вспоминалъ все, точно сквозь легкую мглу сонныхъ грезъ.

День медленно и незамѣтно поднимался. Легкіе, нѣжные лучи свѣта приближались къ намъ, дрожа надъ маячившими горами, отъ свѣтлѣвшаго на сѣверо-востокѣ неба; все, что оставалось еще въ вечернемъ туманѣ и въ ночной пеленѣ, — на небѣ и въ урочищахъ гигантовъ — все это исчезло, какъ сонъ, передъ днемъ, развѣялось, улетѣло. Вершины, гребни и длинные хребты горъ, которыя виднѣлись отсюда на сѣверѣ — не то какъ блѣдныя тѣни, не то какъ пустое пространство въ воздухѣ, — стали выдѣляться все отчетливѣе съ наступленіемъ разсвѣта.

Мы были уже въ долину, которая вела надъ взгорьемъ Дюршѣ къ маленькому горному поясу надъ самымъ озеромъ. Въ одной изъ расщелинъ съ веселымъ шумомъ и плескомъ бѣжалъ съ сѣверо-запада ручеекъ. Мы пошли по его восточному нагорному берегу. Онъ красиво вился по открытой болотистой долину сь металлическимъ шумомъ, блестя нѣжнымъ голубымъ свѣтомъ, и впадалъ потомъ въ озеро, окруженное болотами.

Дальше, надъ водой, показался красивый фіолетовый шалашъ, точно дворецъ гномовъ. То тутъ, то тамъ на склонахъ по солнечной

сторонѣ зеленѣли большія и маленькія березовыя рощи. Птицы всюду просыпались.

Вдругъ свѣтъ началъ наплывать большими волнами, и каждая волна несла съ собой новые тона. Тамъ были всѣ оттѣнки бронзы, золота и розоваго цвѣта; блѣдный, блѣднорозовый — надъ высокими лазурными вершинами, окутанными блестящей серебряной пеленой снѣга; еще блѣднѣе — надъ горами, поросшими зрѣлымъ желтымъ мохомъ, — и сильный, живой — надъ сочными, зелеными лугами, покрытыми холодной росой.

Какъ чудесна та минута, когда сѣрыя горы и лазурь неба преобразуются въ утренней зарѣ, какъ въ радужной сказкѣ; когда онѣ смотрятъ въ зеркало освѣженныхъ водъ озера съ ихъ волшебной, влекущей красотой, надъ которой стоишь, какъ околдованный, и думаешь, что попалъ въ царство чудесъ!

Врядъ ли вамъ приходилось видѣть такія прозрачныя, такъ дивно отражающія въ себѣ міръ озера! Врядъ ли вамъ приходилось видѣть красоту такихъ мягкихъ отраженій въ ласковомъ свѣтѣ мечты и обмана.

А день росъ, и тонъ свѣта становился все болѣе мощнымъ. Оттѣнки все прибывали: это было точно музыка, составленная изъ нѣсколькихъ голосовъ и инструментовъ — пока все не слилось въ одинъ могучій аккордъ. Взошло солнце, и наводненіе бѣлаго свѣта залило небо и землю.

И міръ точно былъ созданъ вновь.

Это минута, когда все стихаетъ, каждый воробей, каждая кушечка, когда лисица и медвѣдь стоятъ въ оцѣпенѣніи, а заяцъ останавливается на бѣгу. Міръ забываетъ о себѣ, видя такое всемогущество; кажется, точно передъ нимъ въ утреннемъ свѣтѣ, подъ дискомъ солнца, предстало видѣніе божества.

И послѣ этой игры свѣтовыхъ тоновъ, послѣ этого чуда природы настанетъ рабочій день — тяжелый и длинный.

Мы продолжали путь въ заросляхъ, а солнце грѣло больше, чѣмъ надо — по крайней мѣрѣ меня.

Кусались всевозможные оводы и комары. Мухи ударялись съ жужжаніемъ то объ уши, то о щеки, безъ перерыва, безъ конца...

Потомъ мы пустились бѣжать — по крайней мѣрѣ, я. Голова отяжелѣла, ноги ослабѣли, котомка все мучительнѣе давить мнѣ плечи. Заросли Дюршѣ тянутся далеко. И кажется, что они густѣютъ по мѣрѣ того, какъ усиливается зной. Лѣсъ былъ маленькій и рѣдкій; онъ состоялъ изъ горной березы мѣстами она была въ футъ выши-

ной; тѣни не было и слѣда, а солнце на небѣ жгло, какъ раскаленная добѣла печь. Жаромъ пышатъ камни и земля—всюду было душно.

Воздухъ напоминалъ туманъ, состоящій изъ горячихъ дыханій. Запахъ луговъ, скота, чудныхъ горныхъ цвѣтовъ, мха и горячаго вереска, смолистыхъ сосенъ, молодой сладкой березы, стѣнь шалаша, спаленныхъ солнцемъ—сливался и расплывался вокругъ по зарослямъ, словно въ степи. Онъ былъ такъ силенъ, что ударялъ въ голову; я стоялъ—отяжелѣвшій и сонный.

— А! —воскликнулъ Ола Гутенъ, потягиваясь.— Вотъ это горный воздухъ! Ничего даже, что парить!—прибавилъ онъ и вздохнулъ полной грудью.

Я не сталъ ему вторить и пробормоталъ:

— Ну, и горный воздухъ... а говорятъ еще, что онъ ободряетъ... гм!.. гм!..

Онъ взглянулъ на меня и слегка поморщился.

— Ты усталъ? —спросилъ онъ.— Пройдетъ, когда хорошенько вспотѣешь.

Мнѣ не нравилось его спокойствіе, полное превосходства, и я ничего не отвѣтилъ.

Но я былъ совершенно правъ. Когда я вспотѣлъ, какъ слѣдуетъ, мнѣ стало легче. Это не былъ тотъ влажный, тяжелый, липкій, клейкій потъ, отъ котораго дѣлаешься слабымъ, безсильнымъ и который знакомъ намъ по городской жизни и по утреннимъ прогулкамъ въ низинахъ. Нѣтъ, этотъ потъ ѡспадалъ со лба, какъ градъ, мелкими каплями. Черезъ минуту я былъ уже снова бодрымъ и чувствовалъ себя такъ легко, что могъ бы даже танцевать.

Вскорѣ мы очутились на открытомъ мѣстѣ.

Внизу, среди острововъ и полуострововъ, лежало блестящее свѣжее озеро.

Теперь повѣялъ прохладный, отрезвляющій вѣтерокъ. Ахъ, какъ тутъ хорошо, какъ свѣжо! Ола Гутенъ былъ правъ: вотъ это горный воздухъ! Тутъ человѣкъ можетъ жить цѣлые вѣка!

За горами, лежавшими по ту сторону озера, стало темнѣть—подвигались тучи. Слава Богу, насъ промочить хорошенько! Я чувствовалъ, какъ все вокругъ жаждетъ этого.

Мы быстро пошли лѣсомъ. Черезъ полчаса мы были въ самой высокой деревнѣ. Земля тутъ была суха, ей нуженъ былъ дождь, солнце, солнце выжгло ее дотла.

— Только бы это не было слишкомъ поздно,—вздохнулъ я.

— Ахъ, нѣтъ! —успокоилъ меня Ола Гутенъ.— Когда сгоритъ старая трава, взойдетъ свѣжая.

Большой дворъ былъ загроможденъ запряженными повозками. Ворота были превращены въ подобіе триумфальной арки, украшенной березовыми вѣтками. У стѣны дома и въ дверяхъ стояли группы людей, одѣтыхъ въ праздничные темно-синіе или свѣтло-сѣрые кафтаны. Они разговаривали тихо и спокойно. Въ домѣ суетились женщины; за амбаромъ и дровянымъ сараемъ нѣсколько мальчиковъ играли съ дѣвочками.

— Похоже на то, что мы попали на свадьбу, — замѣтилъ Ола Гугенъ.

— Да, кажется!

Мы вошли во дворъ и поздоровались съ тѣми, кого раньше встрѣтили. Сейчасъ же подошли и остальные, заинтересовавшись пришельцами. Тотчасъ начался живой разговоръ, изъ котораго мы узнали, что попали на похороны, а не на свадьбу. Здѣшній хозяинъ растался съ этимъ міромъ.

— Да, да, — говорили они, — это ждетъ всѣхъ насъ. Ну, онъ довольно пожилъ... хотя онъ былъ и не такъ ужъ старъ, нѣтъ...

Они высчитали, что ему было лѣтъ 86, а это вѣдь не Богъ вѣсть какая старость! Но за послѣдніе годы онъ впалъ уже въ дѣтство.

— Болѣлъ?

— Нѣтъ. Совсѣмъ не болѣлъ. За всю свою жизнь онъ не болѣлъ ни единого дня... хотя жизнь его была нелегкая. Хозяинчалъ и работалъ самъ долгіе годы, пока сыновья не подросли. О, онъ не былъ изъ тѣхъ людей, которые умѣютъ беречь деньги про черный день! Ахъ, а то время, когда онъ и плотничалъ, и жегъ уголь, и возилъ дрова въ самые страшные морозы... это было тогда, когда жгли уголь для фабрикъ... А, кромѣ того, и домъ былъ у него на шеѣ — да, тяжело ему приходилось, но онъ никогда не жаловался и никогда, никогда не болѣлъ, — самъ даже часто говорилъ объ этомъ. У прежнихъ людей было больше силъ, чѣмъ у теперешнихъ. Но въ послѣдніе годы онъ сталъ слабъ разсудкомъ и совсѣмъ потерялъ память. Прошрое помнилъ, но то, что видѣлъ и слышалъ въ послѣднее время, никакъ не держалось у него въ головѣ — точно онъ опять сталъ ребенкомъ, такъ сказать... Послѣднее время онъ и людей уже не помнилъ. Его внукъ женился въ прошломъ году.

— Вы, вѣрно, хотите сказать сынъ?

— Сынъ? Нѣтъ, молодой Гогенъ, что сидитъ теперь въ избѣ. А сынъ — это Сименъ, котораго вы видите въ дверяхъ, лысый.

— Этотъ старикъ съ сѣдой бородой?

— Да, съ сѣдой бородой, — только онъ совсѣмъ не старикъ.

— Въ этой избѣ, значить, жили три поколѣнія?

— Да. Прадѣдъ, дѣдъ и самъ Гогень, а теперь еще маленькій Симень, сынъ Гогена.

— Значить четыре поколѣнія! — воскликнулъ я.

— Горный воздухъ! — многозначительно кивнулъ мнѣ головой Ола Гутень.

Тутъ возникъ маленькій споръ насчетъ горнаго воздуха. Младшій изъ мужчинъ, съ которыми мы разговаривали, утверждалъ, что воздухъ не имѣетъ такого большого значенія; теперь, несмотря на тотъ же горный воздухъ, люди не живутъ такъ долго — большая часть умираетъ совсѣмъ молодыми отъ чахотки, дифтерита и отъ всевозможныхъ другихъ болѣзней, появившихся недавно.

— И занесенныхъ сюда желѣзной дорогой, — добавилъ Ола Гутень, — изъ города. Вотъ единственное благо, которое доставила вамъ желѣзная дорога; и вы должны научиться запирать насъ, горожанъ, въ санаторіяхъ и пансіонахъ, чтобы мы лежали тамъ и умирали сами для себя.

Всѣ разсмѣялись и снова вернулись къ прежнему разговору.

— Старикъ впаль въ дѣтство, повторили намъ. — Этой молодой женщины, которая вошла въ домъ, онъ никакъ не могъ запомнить. Каждый день, когда она входила, онъ съ удовольствіемъ смотрѣлъ на нее, недоумѣвая, кто же она такая.

— Не знаю я этой женщины, — повторялъ онъ всегда.

И такъ постоянно. Все, что свершалось за послѣднее время, онъ запоминалъ съ большимъ трудомъ.

— Ахъ, да я ужъ слишкомъ старъ, — говорилъ онъ часто, — попросту, я ужъ слишкомъ старъ.

Охотнѣе всего сидѣлъ онъ послѣднее время у огня и думалъ. И подолгу лежалъ и спалъ, какъ маленькій ребенокъ. Иногда ему казалось, что не стоитъ вставать.

— Скоро придутъ за мной съ этой лодкой, я знаю! — говорилъ онъ.

— Съ какой лодкой? — спрашивали его.

— Да съ этой чашкой? — говорилъ онъ.

— Съ чашкой?

— Чтобъ и мнѣ можно было, наконецъ, лечь въ землю...

— Ты о гробѣ говоришь, — спрашивали его.

— Ну да, развѣ я не такъ сказалъ? — отвѣчалъ старикъ.

Смерти онъ не боялся, совсѣмъ не боялся. Скорѣе, онъ ждалъ ея, говоря, что достаточно потрудился въ жизни. И этотъ день насталъ. Барбру заглянула къ нему. Когда она вошла, онъ ложился въ кровать и лежалъ тамъ, ждалъ и молился. Въ этотъ день онъ

лишился языка. Потомъ спалъ, насколько могли замѣтить. Ночью отъ него не отходили, а утромъ замѣтили, что онъ умеръ.

— Такъ должны умирать всѣ!—замѣтилъ Ола Гутенъ, который выпытывалъ у нихъ этотъ рассказъ, отвѣчая имъ за это на разспросы о погодѣ, о вѣтрѣ, о состояніи земли въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ мы проходили. Они спрашивали у него, кто мы такіе и куда идемъ.

Эти люди не видѣли въ смерти ничего необыкновеннаго—для нихъ это было чѣмъ-то такимъ простымъ и естественнымъ, что не о чемъ было особенно распространяться.

Мы вошли въ избу взглянуть на тѣло. Тихо, спокойно, какъ восковая фигура, лежалъ усопшій съ высокимъ лбомъ съ такимъ величественнымъ выраженіемъ лица, точно онъ былъ изъ королевскаго рода.

Простой черный гробъ былъ составленъ изъ шести досокъ. Онъ былъ украшенъ рогомъ изобилія, крестомъ съ надписью: «Спи съ миромъ»—и другими украшениями деревенскихъ художниковъ. Онъ стоялъ на скамьѣ на самой срединѣ избы. На стульяхъ и скамьяхъ вокругъ сидѣли люди, безъ которыхъ не могъ совершиться обрядъ—съ одной стороны мужчины, съ другой—женщины. Многія изъ женщинъ держали на колѣняхъ маленькихъ дѣтей; одна изъ нихъ кормила малютку. Каждый разъ, когда она хотѣла отнять у него грудь, ребенокъ начиналъ кричать. Въ дверяхъ стоялъ мужчина небольшого роста, съ продолговатымъ кривымъ лицомъ и густой бородой. Онъ былъ или взволнованъ или страдалъ насморкомъ, такъ какъ часто сморкался.

Но такъ какъ въ эту торжественную минуту онъ хотѣлъ вести себя какъ можно изящнѣе, то онъ каждый разъ наклонялся и вытиралъ палецъ о подошву. За нимъ въ сѣняхъ стояла молодежь, прислуга и тѣ, кто не принадлежалъ къ похоронной процессіи. Мы, незнакомцы, нашли себѣ мѣсто въ углу... Вообще же съ нами обращались здѣсь лучше, чѣмъ мы, непрошенные гости, могли ожидать.

Мѣстный учитель, высокій блѣдный мужчина въ свѣтло-синемъ шевіотовомъ костюмѣ, пѣлъ надъ тѣломъ. Кое-кто изъ устраивавшихъ похороны вторилъ ему. Это напомнило общую молитву или небольшое собраніе съ цѣлью взаимнаго укрѣпленія въ вѣрѣ.

Псаломъ былъ длинный. Спокойно, мѣрно плылъ онъ однообразными, отчетливыми звуками и, тяжело вибрируя, смѣшивался съ шумомъ вѣтра, который все крѣпчалъ. Время отъ времени, точно въ созвучной гармоніи съ пѣніемъ, слышалось жужжаніе мухъ, крикъ дѣтей, тихія причитанья плакавшихъ женщинъ, уговоры и ласки матерей. Какой-то очень старый человекъ сидѣлъ на первомъ мѣстѣ

за столомъ и качалъ маленькой сѣдой головой, повидимому удивляясь, что эта «лодка» пришла не за нимъ, чтобы взять его съ собой.

По мѣрѣ того, какъ псаломъ росъ и становился мощнѣе, начало казаться, точно на всѣ эти сильныя, рѣшительныя лица ложится какой-то свѣтъ, какое-то дуновение, легкое и теплое, точно лучи какого-то высшаго озаренія, какого я на нихъ раньше не замѣчалъ. Звуки псалма и спокойныя, серьезные мысли такъ завладѣли этими людьми, что они стали иначе смотрѣть на свою жалкую жизнь; казалось, они ее понимали. Черный гробъ перевоплотился въ ихъ глазахъ и сталъ уютнымъ, спокойнымъ ложемъ, которое украшала крестъ,—ложемъ, куда не проникаетъ ни печаль, ни ссора, ни забота.

Бѣдному, старому, впавшему въ дѣтство дѣдушкѣ будетъ тутъ хорошо; онъ можетъ тутъ спать спокойно, ему не нужно будетъ вскакивать на работу. И душѣ его будетъ хорошо у Господа Бога. Туда и мы уйдемъ когда-нибудь, съ Божьей помощью...

И головы были наклонены, глаза у многихъ наполнились слезами, когда псаломъ кончился молитвой, полной простой вѣры:

Помоги намъ въ борьбѣ,
дабы, когда она кончится,
намъ досталъ съ пальма
и корона жизни!

Помоги намъ въ борьбѣ, дабы, когда она кончается, намъ досталась пальма и корона жизни!

По окончаніи псалма учитель сказалъ маленькую проповѣдь, въ которой представилъ въ простыхъ ласковыхъ словахъ то, что всякому можетъ притти на умъ въ такой день.

— Мы должны помнить,—говорилъ онъ,—что мы, какъ трава и сѣно. Когда она растеть—она молода и сильна, и кажется ей, будто весь міръ открытъ для нея настезь. Но вотъ она должна завянуть, и на томъ мѣстѣ, гдѣ росла она, вырастетъ новая трава. Мы не должны считать себя осѣдлыми здѣсь, но должны знать что эта жизнь—только ступень къ высшей жизни. Съ этой мыслью и должны мы жить, чтобы намъ легче было нести бремя жизни.

Старикъ, спавшій въ гробу, послѣ столькихъ лѣтъ труда, заслужилъ такихъ словъ, какъ заслужилъ трогательнаго прощанія со стороны родственниковъ и близкихъ.

Тѣло вынесли съ пѣніемъ псалма, помѣстили его на большой повозкѣ, которая должна была повезти старика въ послѣднюю дорогу.

На дворѣ поднялся шумъ. Люди суетились, запрягали лошадей,

искали своихъ. Въ серьезности слышалась и радость, однимъ глазомъ посматривали на хмурое небо.

Во всемъ послѣ смерти чувствовалась жизнь.

Вокругъ повозки, на которой стоялъ гробъ, бѣгали нѣсколько маленькихъ дѣвочекъ и догоняли другъ друга. Онѣ кружились, прыгали и опять исчезали, а прадѣдъ въ гробу такъ хорошо загоразживалъ имъ дорогу, что имъ трудно было ловить другъ друга. Въ дверяхъ на ступенькахъ стояли матери, старшіе хозяева и глядѣли на игру дѣтей, скрывая улыбку.

— Да, мы были въ горахъ.

Это не была смерть. Это была великая юная жизнь, жизнь природы, жизнь на свободѣ, съ вѣчнымъ рожденіемъ и увяданіемъ, съ молодой травой, пробивающейся изъ-подъ гніющаго сѣна.

Іенсенъ, І.

НЬЮ-ІОРКСКІЕ МАЗУРИКИ.

Былъ холодный вѣтряный день; внизу, глубоко подѣ Бруклинскимъ мостомъ вода мчалась сѣрыми, какъ бы подхлестываемыми вѣтромъ волнами, а плоты и буксирныя суда должны были маневрировать изъ стороны въ сторону, чтобы противъ теченія достигнуть цѣли. Башневидные дома Нью-Іорка—безцвѣтные упирались въ прозрачный воздухъ и спускали со своихъ крышъ бѣлоснѣжныя облака дыма, которыя вырывались на свободу, въ ту же минуту улетучивались и снова появлялись. Висячій мостъ, какъ ежедневно, гудѣлъ и дрожалъ отъ городскихъ трамваевъ и желѣзныхъ дорогъ. Я на одну минуту пріостановился у перилъ близъ башни; стоялъ я не долго и когда собирался уже уходить, за мной сталъ молодой человекъ и, вынувъ изъ кармана и протянувъ вдаль руку, спросилъ:

«Какъ зовутъ вотъ тотъ островъ—тамъ?»

«Говернорсъ Айлэндъ»—отвѣтилъ я.

«Такъ, такъ»...

Онъ медленно кивнулъ мнѣ и запряталъ снова руки въ карманъ потертаго пальто, не переставая смотрѣть на островъ.

«Вотъ это круглое зданіе, которые вы видите—это Castle William», продолжалъ я объяснять, не безъ желанія пуститься въ разговоръ, тѣмъ болѣе, что на меня смотрять, какъ на человека осѣдомленнаго. Затѣмъ я замѣтилъ, что погода бурная—и на это онъ отвѣтилъ, что это вѣрно, онъ даже готовъ дать на отсѣченіе голову. Я указывалъ разные находящіеся вдали предметы и давалъ къ нимъ объясненія, и молодой человекъ утвердительно кивалъ головой, продолжая ясными глазами смотрѣть на воду—необыкновенно ясными, живыми глазами, слишкомъ беззаботными... вообще это юнецъ, деревенскій парень, ...право же—не взглянувъ на меня больше и даже не подумавъ сдѣлать это, онъ какъ-то безсознательно, совсѣмъ по крестьянски засопѣлъ и сказалъ:

«Вы должны знать, я—изъ Миссури...»

«Такъ», сказалъ я и засмѣялся, такъ какъ это тоже одна изъ американскихъ манеръ выражаться... Да онъ и выглядѣлъ такъ. Онъ

былъ высокаго роста, широкоплечъ, и платьѣ его было деревенскаго покроя, кромѣ того, всюду слишкомъ коротко такъ, словно онъ получилъ его въ переходномъ возрастѣ; на головѣ у него была войлочная шляпа съ узкими опущенными полями, настоящій фермерскій головной уборъ. Молодое, чистое лицо было почти темно-краснаго цвѣта, какъ у юношей, которые, несмотря ни на какую погоду, проводятъ время на дворѣ, и при этомъ цвѣтъ лица еще больше выдѣлялись его бѣловато-голубые глаза.

Мы разговорились и прошли черезъ мостъ въ Нью-Йоркъ. Онъ смотрѣлъ все передъ собой и, повидимому, вовсе не считалъ нужнымъ присмотрѣться ближе къ своему новому знакомому; дышалъ онъ, какъ здоровый человѣкъ, громко и носомъ, такъ что можно было замѣтить нѣсколько волосковъ, которые торчали изъ ноздрей. Въ немъ было что-то такое, что возбуждаетъ любопытство, онъ располагалъ къ довѣрію открытымъ видомъ, свойственнымъ молодымъ людямъ Америки, которые такъ и пышутъ здоровьемъ. Онъ долженъ былъ нравиться. Да, въ Нью-Йоркѣ онъ проѣздомъ, хотеть ознакомиться съ нимъ, онъ ѣдетъ въ Германію навѣстить одну родственницу, которую онъ совсѣмъ не знаетъ... между прочимъ, не нѣмецъ ли я?

Тутъ онъ обращаетъ ко мнѣ свое красное, какъ огонь, невинное лицо; но кажется не видитъ меня. Я отвѣтилъ не сразу, и онъ началъ говорить по-нѣмецки, на какомъ-то старомъ, неупотребляемомъ уже крестьянскомъ діалектѣ, который я понималъ лишь на половину. Скоро онъ переходитъ опять на англійскій, и прежде чѣмъ мы успѣваемъ пройти мостъ, показываетъ круглый свертокъ бумажныхъ денегъ, которыя находятся у него въ боковомъ карманѣ и которыя, казалось, изрядно зудятъ его, и приглашаетъ меня вечеромъ въ ипподромъ. Не правда ли, замѣчаетъ молодой человѣкъ, Нью-Йоркъ—городъ, который нужно посмотреть, но и котораго нужно остерегаться, и мысль, что ему придется одному погрузиться въ тайны его для него не очень пріятна... во всякомъ случаѣ, и онъ слыхалъ кое-что о беззаконіяхъ, творящихся на улицахъ Нью-Йорка, особенно съ чужими; самъ же онъ изъ деревни—честный фермеръ. А потому онъ очень радъ (снова борьба), что встрѣтился съ такимъ порядочнымъ человѣкомъ и—въ это время мы поднимаемся по лѣстницѣ и завертываемъ въ Бовери, гдѣ мой пріятель безъ всякаго соблюденія формальностей толкаетъ дверь какого-то Saloon'a и вводитъ меня туда—что разрѣшу я ему предложить себѣ? Пива.

Шумъ съ улицы передъ Saloon'омъ отъ ѣзды трамваевъ, дребезжаніе мостовъ отъ проѣзжающихъ по нимъ L-поѣздовъ и гулъ гоологовъ вдоль тѣсно заполненныхъ трактирныхъ столиковъ такъ оглу-

шали, что мы, стоя рядомъ, должны были кричать другъ другу прямо въ ухо. Повидимому, моему деревенскому другу это понравилось, онъ потребовалъ себѣ пѣнящійся стаканъ пива, дружески улыбнулся хозяину бара, выпилъ за мое здоровье и что-то промычалъ...

«Что вы говорите?» крикнулъ я.

Онъ приложилъ ко рту руки и прорычалъ мнѣ изо всѣхъ силъ:

«Вильямъ»...

«Вильямъ, ваше имя Вильямъ?» проревѣлъ я въ отвѣтъ.

«Да!» крикнулъ онъ; «glad to meet you!»

Мы оставались тамъ съ четверть часа и отвѣдали разныхъ напитковъ. Сначала поставилъ онъ, затѣмъ, конечно, я, при этомъ онъ, со сверткомъ ассигнацій въ рукахъ, сдѣлалъ какой-то таинственный знакъ хозяину, и тутъ появилась бутылка хорошаго шампанскаго. Я отвѣтилъ ему; мы чокнулись съ весьма занятой особой, стоящей за прилавкомъ въ бѣломъ передникѣ, а потому стали неустрашимы и направились въ Free-Lunch, находящемуся у противоположной стѣны, подъ двумя огромными картинами, изображающими восхитительныхъ дѣвицъ въ купальнѣ; Вильямъ воспользовался случаемъ удовлетворить себя солиднымъ завтракомъ. Онъ запихивалъ въ ротъ сухіе ломтики хлѣба, кислую капусту или что-то въ этомъ родѣ, что находилось въ глубокой мискѣ, съ торчащими въ ней деревянными вилками; но такъ какъ отъ этого аппетитъ разыгрался въ немъ еще больше, то онъ съ весьма серьезной миной устремился къ кастрюлѣ съ дымящимися сосисками, которыя кипѣли въ ней для общаго употребленія и распространяли на всю залу запахъ лука. Эти колбасы весьма остроумно назывались «hot dog», что значитъ «горячая собака», и даже увѣряютъ, что въ кастрюлѣ онѣ виляютъ хвостомъ, а когда ихъ укусишь, способны гавкнуть; но Вильямъ одинаково справлялся съ ними, лаяли-ли онѣ или виляли хвостами. Преодолевъ это, мы закурили сигары, которыя были съ Вильямомъ, повидимому, также изъ Миссури, и вышли на улицу, при чемъ Вильямъ рыгнулъ и затѣмъ по пріятельски кивнулъ на прощаніе содержателю бара.

Итти въ ипподромъ было еще рано, а потому на углу почты мы остановились, уговорились встрѣтиться вечеромъ въ восемь часовъ и разстались.

Я былъ пунктуаленъ, пришелъ, какъ было условлено, и засталъ Вильяма. Уже издали я могъ узнать въ давкѣ подъ канделябрами его цвѣтущую физиономію. Увидѣвъ меня, не здороваясь и ничего не объясняя, онъ прямо направился куда-то, я молча слѣдовалъ за нимъ,

и мы угодили снова въ баръ и тамъ выпили нѣсколько стакановъ пива. Вильямъ былъ какъ-то немного задумчивъ. Во время всей дороги черезъ городъ, въ вагонѣ трамвая, мы разговаривали мало, а когда очутились, приблизительно на двадцатой улицѣ, онъ предложилъ вдругъ выйти и итти пѣшкомъ. Времени было еще много, и мы могли послѣдній кусокъ пройти пѣшкомъ. Мы не сдѣлали и нѣсколькихъ шаговъ, какъ Вильямъ снова увидѣлъ передъ собой вертящуюся дверь, толкнулъ ее и вошелъ первымъ. Это было въ Бовери, и Salon, въ который мы вошли, мнѣ не понравился. Весь баръ былъ полонъ публики, болѣе сомнительной, чѣмъ обыкновенно; я думаю, эта публика произвела отталкивающее впечатлѣніе и на Вильяма, ибо, перебравъ, какъ казалось, глазами гостей, онъ направился прямо черезъ все помѣщеніе въ комнату, лежащую позади. Гости здѣсь было немного, мы усѣлись за маленькій столикъ и получили по пѣнящемуся коктэлю. Вильямъ разошелся, онъ быстро и много тараторилъ по-англійски, съ нездѣшнимъ акцентомъ, что сразу можно было замѣтить; намъ подали еще по одному коктэлю, и Вильямъ совсѣмъ развеселился... внезапно онъ бросаетъ на столъ монету въ четверть доллара и, прикрывая ее рукой, спрашиваетъ, что сверху. Я говорю «рѣшка», и, когда Вильямъ отнимаетъ руку, оказывается, что я угадалъ.

«Она принадлежитъ вамъ», говоритъ Вильямъ. «Отгадайте-ка еще разъ».

Я выигралъ еще четверть доллара, затѣмъ еще, и это было пріятно. Но въ общемъ суть дѣла мнѣ не нравилась. Мои глаза упали на маленькаго господина, который сидѣлъ за сосѣднимъ столомъ, за половиной коктэля и внимательно прислушивался къ намъ! О, это мнѣ не по душѣ! Со стороны Вильяма очень неосторожно играть тутъ. Не могъ онъ удержать въ карманѣ свой свертокъ денегъ? Мы обратили на себя вниманіе; вѣдь мы—изъ Миссури... Какъ было сказано, это мнѣ было не по душѣ... Между тѣмъ я снова взглянулъ на сосѣда, который сидѣлъ за нами, и пытался составить себѣ о немъ какое-нибудь мнѣніе. Это былъ совсѣмъ маленькій господинъ, старательно, почти съ женской заботливостью, одѣтый. Но у него была опасная голова, форма ея производила даже страшное впечатлѣніе. Задняя часть была такъ непропорціонально велика, что круглая прямая шляпа подъ крутымъ угломъ помѣщалась почти на лицѣ. Тонкія черты лица говорили о сильной испорченности, передаваемой изъ поколѣнія въ поколѣніе; это былъ настоящій «порядочный» жуликъ... Боже, какъ подмывало меня познакомиться съ нимъ! Уже я смотрѣлъ на него дольше, чѣмъ это допускается безнаказанно... и тутъ онъ элегантно взмахнулъ шляпой и спросилъ меня гнусавя, не

имѣть ли который изъ милостивыхъ государей папирось. Къ сожалѣнію, мы ихъ не имѣемъ, за сигару же благодарить. Онъ не курить сигаръ, и въ то время, какъ онъ обстоятельно рассказываетъ это съ специфическимъ шотландскимъ акцентомъ—онъ незамѣтно придвигается ближе, пока, наконецъ, не оказывается у нашего стола—кельнеръ приносить три свѣжихъ коктейля, въ то время, какъ никто изъ насъ не слышалъ заказа, онъ дѣлаетъ красивое движеніе рукой—прошу джентльмены!—и ясные глаза Вильяма съ любопытствомъ устремлены на изящнаго денди; мы церемонно подносимъ стаканы къ губамъ и пьемъ—продѣлавъ это, мы тѣмъ самымъ принимаемъ его въ свою компанію.

Съ этой минуты маленькій модникъ не умолкаетъ ни на секунду. Онъ отрекомендовался намъ мистеромъ Бурке и быстро погрузился въ разговоръ о женщинахъ; при этомъ онъ обнаружилъ такую раннюю ознакомленность и говорилъ съ такой наглостью, что мнѣ это представилось прямо-таки чѣмъ-то сверхъестественнымъ для Америки, въ которой о такихъ вещахъ предпочитаютъ молчать,—даже свиньи. Поразило меня и то, какъ попалъ я въ такую душную атмосферу. Вильямъ же, казалось, совсѣмъ растаялъ. Онъ дышалъ, какъ рыба, и взгляды его дѣлались совсѣмъ маслянымъ—при всемъ, что бы онъ ни услышалъ. Бурке же, обезпечивъ себѣ въ этомъ, нельзя сказать, чтобы обыкновенномъ, поприщѣ первенство, съ такимъ же знаніемъ дѣла совершилъ послѣдній пробѣгъ. Мы и здѣсь отъ него отстали. Мистеръ Бурке, какъ настоящій виртуозъ, рассказывалъ намъ о чудесныхъ лошадахъ, именъ которыхъ мы, къ нашему стыду, никогда не слыхали; затѣмъ, между прочимъ, онъ далъ намъ понять, что какъ разъ вчера онъ выигралъ на Мэбель II, и потому осмѣлился подарить вниманіемъ маленькую игру, которой мы забавлялись, какимъ-то ничтожнымъ серебрянымъ шилингомъ. Какъ бы для того, чтобы снизойти до того общества, въ которое онъ попалъ, онъ соизволилъ сдѣлать нѣсколько попытокъ угадать и проигралъ. Затѣмъ онъ самъ ударилъ четверть-долларомъ о столъ, взглянулъ на Вильяма и предложилъ ему отгадывать.

Но прежде чѣмъ Вильямъ открылъ ротъ, мистеръ Бурке воскликнулъ съ тѣмъ грубымъ воодушевленіемъ, по которому тотчасъ же можно узнать игрока:

«Бьюсь объ закладъ на пять долларовъ, что вы проиграете!»

Вильямъ рѣшился въ ту же минуту. Его глаза прямо прилипли къ маленькой, выхоленной рукѣ Бурке, покрывшей монету. «Рѣшка», пролепеталъ онъ. Бурке отдернулъ руку, и лицо Вильяма, когда онъ увидѣлъ, что выигралъ, стало еще краснѣе. Бурке не произнесъ ни слова, но сію же минуту весьма предупредительно извлекъ толстый,

толщиной въ руку свертокъ денегъ и принялся въ немъ перелистывать. Наружныя ассигнаціи были всё по сто долларовъ; перелистывалъ онъ долго, пока, наконецъ, нашель кредитку въ пять долларовъ и протянулъ ее Вильяму. Черезъ минуту Бурке забылъ уже объ игрѣ, онъ оглянулся, почмокалъ губами и снова выразилъ желаніе выкурить папиросу. Спросили кельнера; къ сожалѣнію, въ кафе папирось не держатъ. Тогда Бурке поднялся и объяснилъ, что выйдетъ на улицу и купить себѣ коробку—онъ надѣется, что мы еще посидимъ. Онъ оставилъ свой стаканъ и засѣменилъ къ выходу; и тутъ-то я замѣтилъ, что мистеръ Бурке носить дамскіе башмаки, маленькіе и на высокиихъ каблукахъ!

Не успѣлъ онъ скрыться за дверью, какъ Вильямъ схватилъ меня за руку: «Чортъ возьми, а этого молодца мы должны ограбить!»

Я разсмѣялся, думая, что Вильямъ шутитъ или немного подвыпивши. Какъ ни горько, но это было всерьезъ; онъ потѣлъ отъ дрожи, онъ клялся мнѣ, что это наше счастье, теперь или никогда; онъ помахалъ въ воздухѣ рукой, положилъ одну монету предо мной, другую передъ собой и торопливо принялся объяснять мнѣ «систему», по которой проиграть мы никакъ не можемъ! Только я долженъ стараться, чтобы монета всегда ложилась орломъ кверху, когда онъ будетъ называть рѣшетку. Такимъ образомъ Бурке долженъ проиграть всегда или же во всякомъ случаѣ такъ часто, какъ это намъ угодно! О, это самая простая вещь на свѣтѣ, мы можемъ обыграть его до послѣдняго цента, если только я захочу.

Я смотрѣлъ на Вильяма недовѣрчиво и сердито. Неужели же онъ воображаетъ, что такимъ приемомъ мы можемъ перехитрить Бурке? Возможно ли, чтобы Бурке не понялъ, не видѣлъ, съ какой опасной личностью мы имѣемъ тутъ дѣло? Значить, безнадежно; онъ—изъ Миссури, ничего не подѣлаешь, не просвѣтишь его. Онъ шипѣлъ отъ алчности, какъ раскаленное желѣзо, блисталъ своей деревенской невинностью. Я постарался холодно отклонить его предложеніе участвовать въ преступленіи. Между тѣмъ, онъ продолжалъ настаивать, заклинять и просить меня—но вдругъ замолчалъ: въ дверяхъ показался Бурке. Бурке подошелъ къ намъ маленькими кошачьими шажками по усыпанному опилками полу, сѣлъ и пустилъ облако дыма. Наконецъ-то, онъ получилъ папирасы. Онъ смотрѣлъ то на одного, то на другого безконечно вѣжливо, предупредительно—онъ былъ нашъ лучшій другъ. Такимъ я представлялъ себѣ Лантье въ романѣ Золя «L'assommoir». Но сравненіе съ Лантье не совсѣмъ подходило. Въ то время, какъ онъ садился и подтягивалъ прекрасно разутюженные панталоны, я замѣтилъ на его бедрѣ подъ платьемъ большую непонятной формы выпуклость—этотъ маленькій и стара-

тельно надушенный молодець носилъ при себѣ тяжелый револьверъ. По этому затылку, разбухшему, какъ ядовитыя железы тремучей змѣи, можно было видѣть, что этотъ человекъ безъ особеннаго повода вытянется, ужалить и убить кого угодно. О, съ нимъ надо быть на сторожѣ!

Я по возможности держался пассивно. Вильямъ пропаль, онъ съ открытыми глазами шелъ навстрѣчу своей гибели. Онъ предложилъ играть въ карты. У Бурке карты оказались при себѣ, и онъ охотно сыграетъ. Маленькая партія, по его мнѣнію, вещь недурная, уютный покеръ втроемъ... прошу, снимите!

«Я не играю», вѣжливо отказался я.

«Ну, что вы!?» Бурке сдалъ, и когда я все-таки не пожелалъ принять карты, онъ открытыми положилъ ихъ передо мной; на нихъ игралъ Вильямъ и онъ. Дѣло шло со сноровкой. Мои карты выиграли. Бурке положилъ восемь долларовъ на мое мѣсто. Теперь сдавалъ Вильямъ.

«Я не играю», объяснилъ я взволнованно.

«Нѣтъ», сказалъ Вильямъ, «вы играете!»

Тонъ его былъ такъ черствъ, что я невольно взглянулъ на него. И вотъ, прошло нѣсколько секундъ, въ теченіе которыхъ я сидѣлъ не шевелясь, почти безъ признаковъ жизни—много пришлось мнѣ вдругъ думать. И тутъ, въ то время, какъ я взглянулъ на Вильяма, я встрѣтился съ нимъ взглядомъ и прочелъ въ немъ отвратительную правду: онъ былъ заодно съ Бурке.

Прошло немало времени, пока я сообразилъ все это! Правъ же это былъ не Вильямъ, смуглый парень изъ Миссури, толстокожій пройдоха изъ тѣхъ мѣстностей Нью-Йорка, которыя населены преступниками. У него были не беззаботные, ясные глаза,—а бѣлый, твердый, какъ камень, взглядъ, въ которомъ безслѣдно исчезалъ такой пустякъ, какъ то, что онъ заманивалъ меня въ западню. Вы играете! Это нью-йоркскій жуликъ, ловець простяковъ-крестьянъ, которому пришлось туго! Низкій рабъ, руки котораго навѣрное обогрѣлись бы моей кровью, если бы я не улинулъ во-время. Какъ страшно хорошо сыгралъ онъ свою роль инстинктомъ хищнаго животнаго, какъ тонко работалъ онъ заодно съ тѣмъ другимъ. Откуда брали они для этого силъ и охоту? Вѣдь они не могли даже знать, сколько дастъ имъ заработать, эта длинная, необыкновенно тонко исполненная игра—какъ они были умны, какіе неподобные психологи!—Ахъ ты, Боже мой, вѣдь я ходилъ съ какими-нибудь десятью долларами въ карманѣ, это было все! Значитъ, вся эта тонкая работа, эта нить шпіонажа, энергія и масса потраченныхъ силъ—все напрасно.

И я сидѣлъ тутъ; я, считающій себя знатокомъ людей! А я былъ

тоже не совсѣмъ несвѣдущимъ въ этой области. Я не забылъ еще случаевъ въ Мемфисѣ, Теннесси, когда въ теченіе одного часа я два раза попадалъ въ пасть такихъ ловцовъ, хотя меня и предостерегли раньше. Я сидѣлъ на скамейкѣ, въ маленькомъ паркѣ въ центрѣ города и смотрѣлъ на ручныхъ бѣлокъ, когда рядомъ сѣлъ какой-то человѣкъ и завязалъ со мной разговоръ. Я, конечно, былъ насторожѣнъ отъ жуликовъ, какъ меня учили, но не порядочныхъ людей. Этотъ разговорчивый человѣкъ былъ очень милъ, это былъ фермеръ изъ Техаса, онъ тотчасъ же выкопалъ, что я—страстный охотникъ и пригласилъ меня къ себѣ въ Техасъ охотиться на медвѣдей. Чудный человѣкъ! Не выпьемъ ли для новаго знакомства? Онъ повелъ меня черезъ улицу—двадцать шаговъ—прямо въ лапы какого-то одноглазаго индивидуума, который извлекъ сейчасъ же карты и все заманивалъ въ поккеръ. Я повернулся къ моему фермеру спиной и сѣлъ на прежнее мѣсто—въ паркѣ—такъ гораздо умнѣе. Черезъ пять минутъ ко мнѣ подходитъ человѣкъ и рассказываетъ, что онъ наблюдалъ за всей этой сценой, что въ Мемфисѣ надо быть очень осторожнымъ, и что онъ не одного такого простяка спасалъ знакомъ... Мы стали очень хорошими друзьями. Онъ повелъ меня въ какое-то помѣщеніе гдѣ 20 или тридцать типовъ преступнаго вида, сидя за зелеными столами съ рулетками, обирали проѣзжающихъ... Я ушелъ оттуда и вернулся на свою скамейку, къ своимъ бѣлкамъ. Тамъ за это время успѣлъ водвориться какой-то человѣкъ и какъ только меня увидѣлъ, сейчасъ вступилъ со мной въ разговоръ. Это былъ хорошо одѣтый, образованный господинъ; въ рукахъ у него была газета, и я рѣшилъ, что онъ юристъ или докторъ. Но я былъ раздраженъ, вскочилъ и хотѣлъ отвѣтить ему грубостью. Онъ огорчился, этого онъ не заслужилъ. Этотъ господинъ, какъ оказалось, былъ порядочный обыватель. Вотъ что случилось со мной. Я сижу теперь здѣсь въ полной безпомощности—несмотря на всю свою опытность и знаніе людей.

Бурке и Вильямъ сыграли нѣсколько туровъ съ неизмѣннымъ для меня счастьемъ. Двадцать пять долларовъ лежали на моемъ мѣстѣ.

«Возьмите, это ваше», сказала Бурке съ злымъ выраженіемъ глазъ.

«Я не играю», отвѣтилъ я коротко.

Бурке положилъ карты, посмотрѣлъ сначала на меня, потомъ на Вильяма, откинулся на спинку и покачался на ножкахъ стула.

«Мамаша запретила ему», пояснилъ онъ тономъ, словно въ моемъ лицѣ сдѣлалъ курьезную находку. Этимъ онъ хотѣлъ меня обидѣть, и Вильямъ по правиламъ долженъ былъ захохотать до смерти.

Но Вильямъ мрачно взглянулъ на меня, грозно повелъ плечами и, повидимому, имѣлъ намѣреніе принять совсѣмъ другія мѣры. Онъ протянулъ руку и безъ всякихъ разговоровъ потянулъ къ себѣ деньги, которыя я «выигралъ». Никакой пользы не было бы повторять эту комедію. Онъ прорычалъ, строго взглянулъ на Бурке и, повидимому, рѣшилъ не особенно церемониться.

«Будете вы играть?» спросилъ онъ грубо. И когда я покачалъ отрицательно головой, то твердые узлы образовались у него на челюстяхъ, и все мясо вздулось отъ желанія перейти въ наступленіе...

Бурке однимъ взглядомъ сдержалъ его. Повидимому, они ждали повода; они не должны были начинать, а только защищаться. Онъ трясъ стуломъ, долго осматривалъ меня. Какъ были злы его глаза! Затѣмъ сбросилъ пепель со своей папирасы.

«Скажите-ка», замѣтилъ онъ гнусава, «не вамъ ли это я подалъ вчера вечеромъ три цента, чтобы дать возможность пройти Бруклинскій мостъ? Мнѣ кажется, я знаю васъ...»

Это было тяжелое оскорбленіе. Меня, чортъ возьми, меня обвинить въ попрошайничествѣ! Я полагаю, что настоящій американецъ за такую обиду тотчасъ же пустилъ бы въ ходъ кулаки, будь противникъ вооруженъ до самыхъ зубовъ. Я же смотрѣлъ на Бурке съ интересомъ, даже съ удивленіемъ, почти не дыша отъ напряженія—что онъ прибавить еще къ своей характеристикѣ. И дѣйствительно—онъ не дѣлалъ секретовъ, но старался представить таинственной свою личность. На мой счетъ онъ откапывалъ все самое скверное (онъ бросилъ свой шотландскій акцентъ), импровизировалъ долго, я,—настоящая скандальная хроника, онъ неслыханно дразнилъ меня. Въ одну изъ такихъ тирадъ онъ сдѣлалъ въ сторону Вильяма движеніе головой и замѣтилъ:

«Ну и поддѣлъ же ты черствый кусочекъ».

Вильямъ совсѣмъ посинѣлъ отъ желанія броситься.

Но я не подавалъ имъ повода; пожалуй, съ такимъ мягкимъ человѣкомъ, какъ я, имъ не приходилось имѣть дѣла, они никакъ не могли вывести меня изъ терпѣнія. Среди одной изъ такихъ обидныхъ, затрагивающихъ честь рѣчей Бурке, имѣющихъ цѣлью довести меня до бѣлаго каленія, я безпрепятственно поднялся и пошелъ своей дорогой.

Еще было не поздно, шумъ близкой улицы врвался въ двери кафе, половинки ихъ не совсѣмъ достигали до земли, и надъ порогомъ можно было видѣть ноги проходящихъ—все время чья-нибудь пара ногъ снаружи на улицѣ. Поэтому-то Бурке и Вильямъ не рѣшились на открытое нападеніе. Будь это позже, ночью... я вспоминалъ потомъ не безъ нѣкотораго раздумья маленькія дырочки въ

украшенныхъ зеркалами стѣнахъ, звѣздоподобныя трещины въ стеклахъ, которыя вдругъ бросились мнѣ въ глаза—несомнѣнно отъ револьверныхъ выстрѣловъ.

Когда я уходилъ, Бурке все еще качался на своемъ стулѣ и утомленно смотрѣлъ мнѣ вслѣдъ. Вильямъ же стоялъ, вытянувшись во весь свой ростъ, словно хотѣлъ ударить—огромная, страшная фигура, отъ которой при другихъ обстоятельствахъ можно было бы всего ожидать—въ ту же минуту благословенная суতোлка улицы поглотила меня.

МАЛЕНЬКІЙ АГАСФЕРЪ.

На восточной сторонѣ Мэнгаттана, квартала, бѣдныхъ къ Нью-Йоркѣ, всегда кишать дѣти всѣхъ національностей, безчисленное количество маленькихъ созданій, которыя или родились въ Новомъ Свѣтѣ или привезены переселившимися родителями. Теперь они должны стать американцами—забыть свой языкъ, происхождение и прошлое.

Въ Америкѣ дѣти занимають совсѣмъ особенное мѣсто; они съ младенчества пользуются всѣми преимуществами американцевъ. Кто знаетъ, не будущій ли это президентъ удостоился только что получить снѣжкой въ затылокъ? Нигдѣ дѣти не пользуются такой свободой, какъ въ Америкѣ, имъ все позволено, республика принадлежитъ имъ. За ними присматриваютъ всѣ; но ходить они могутъ всюду, куда хотятъ. Они могутъ сидѣть въ трамваѣ и мурлыкать себѣ пѣсенку, и ничего не подѣлаешь. Имъ даютъ свободу, и потому они довольно безпокойны; но американцы могутъ позволить себѣ это. Въ Америкѣ не знаютъ застѣнчивыхъ дѣтей съ пальцемъ во рту и со стѣсненностью, проявляющейся во всѣхъ движеніяхъ. Ихъ легкія развиваются на свободѣ; какъ только они въ состояніи ходить, они уже у дѣла. Поэтому-то можно видѣть въ Нью-Йоркѣ столько дѣтей, которые такъ рано и добровольно приискиваютъ себѣ работу.

Большую частью они начинаютъ свою карьеру газетчиками, ихъ можно видѣть едва научившихся правильно говорить, съ истрепаннымъ галстукомъ на шеѣ, на сквозномъ вѣтрѣ на Бруклинскомъ мосту, въ томъ мѣстѣ, гдѣ сходятся всѣ городскіе трамваи, оглушительно скрипя на рельсахъ, а поѣзда проносятся съ грохотомъ надъ головой. Здѣсь, гдѣ вы не разберете своихъ собственныхъ словъ, гдѣ всѣ спѣшатъ по своимъ дѣламъ, но гдѣ каждый долженъ имѣть газету, здѣсь этотъ кричащій малышъ ныряетъ сряду пять или шесть лѣтъ, со свѣжими, еще не просохшими газетами подъ мышкою; и онъ не молчитъ, онъ не ждетъ, когда кто-нибудь, тронутый милой крошкой, пожелаетъ дать ему заработать, нѣтъ, онъ дѣйствуетъ энер-

гично, онъ бросается, какъ баранъ рогами впередъ, въ то время, какъ изъ горла его все вылетаетъ навязчивое рычание: «Djörn!.. Waajid... all about horrible murder!».

Одной рукой, окрашенной печатной черной краской, вырываетъ онъ изъ пачки газету и протягиваетъ ее проѣзжающему въ трамваѣ господину, въ другой дѣтскій уже огрубѣвшій отъ нью-іоркской мѣди кулачекъ зажимаетъ полученный центъ и въ ту же секунду бросается прочь, летитъ за новымъ, стрѣлой черезъ улицу, на перерѣзъ подъ ногами двухъ лошадей, маневрируетъ передъ болѣе взрослымъ конкурентомъ, заграждаетъ путь какому-нибудь коллегѣ ровеснику и съ черствымъ, посинѣвшимъ лицомъ подставляетъ ножку своему «пріятелю», съ которымъ онъ играетъ обыкновенно въ городки... Djörn!.. Waajid! Онъ еще младенецъ, у него еще цѣлы всѣ молочные зубы, и несмотря на это, онъ уже зашелъ такъ далеко, что своей маленькой персоной не только принимаетъ участіе въ лихорадкѣ большого города, но увеличиваетъ ее, усиливаетъ темпъ, перебиваетъ заработокъ, реветъ—впрочемъ, совсѣмъ хладнокровно, такъ какъ въ противномъ случаѣ его жизнь не была бы долговременной; онъ знаетъ, что долженъ мелькать то здѣсь, то тамъ, чтобы видѣли его; газеты въ его рукѣ, новость должна быть животрепещущей... horrible, horrible... и такимъ образомъ маленькій будущій американецъ пріучается съ дѣтства быть въ какомъ-то вѣчномъ напряженіи, которое быстро погубило бы европейца. Онъ похожъ на кусокъ разумнаго безумія, иначе говоря—на дьявола, особенно, когда стоитъ на краю тротуара, и, не пропуская мимо носа ни одного покупателя, оглашаетъ воздухъ воинственными криками... Waajid! Онъ одержимъ. Но это судьба человѣка будущаго: того, кто безуменъ и въ силахъ перенести это. Бываютъ случаи, что такому переѣдутъ ногу, и онъ въ раннемъ дѣтствѣ становится инвалидомъ; но пока въ немъ теплится жизнь, вы можете увидѣть, какъ онъ подкрѣпляетъ свои семь или восемь лѣтъ костылемъ и выдерживаетъ конкуренцію на площади Sity-Hall.

Эдиссонъ началъ свою карьеру газетчикомъ.

Въ роли газетчика стоитъ и маленький Агасферъ на краю тротуара Sity-Hall, въ самой серединѣ этого узла людей и экипажей, у подножія огромнаго башнеподобнаго зданія «World'a». Выглядитъ онъ, какъ обыкновенный news-boy, но онъ удивительный экземпляръ, его можно было бы показывать за деньги, самый маленький газетчикъ въ мірѣ; ему, быть можетъ, всего четыре года. Его маленькая рука едва можетъ обхватить пачку сложенныхъ вдвое газетъ, въ то время, какъ его другая рука предназначена для продажи. Можно бы подумать, что этотъ карапузикъ разыгрываетъ газетчика и по всѣмъ правиламъ искусства, чтобы пережить только

чувство участія въ работѣ большого брата; но онъ самъ большой братъ, это—горькая истина. Иногда, когда движеніе становится особенно ожесточеннымъ и шумъ все растетъ, онъ находитъ, что и ему нужно стать болѣе замѣтнымъ; тогда онъ становится съ наружнаго края тротуара, прямо противъ теченія, вытягиваетъ газету и кричить: «Waajid!» Онъ надрывается, чтобы ревътъ, какъ старый и опытный газетчикъ; маленькая грудь втягивается почти до живота, такъ что спереди онъ совсѣмъ сжимается: «Waajid!» Конечно, маленькій голосокъ тонетъ въ грохотъ уличнаго шума, но все-таки онъ продѣлалъ то, что должно быть продѣлано, затѣмъ онъ отступаетъ на шагъ назадъ, на свое мѣсто, стоитъ и отвѣчаетъ на каждое требованіе. Случается, что люди покупаютъ у него потому, что онъ такъ малъ; тогда онъ съ необыкновенной быстротой протягиваетъ вверхъ номеръ и ловитъ центъ, и въ ту же минуту вырываетъ изъ пачки другой, чтобы удовлетворить другое требованіе; онъ видитъ, что такъ дѣлаютъ другіе: «Waajid!» Онъ знаетъ, что, распродавъ свою кучу, онъ долженъ направиться въ ближайшее опредѣленное мѣсто, гдѣ сидящій за рѣшеткой человекъ, ничего не говоря, быстро отсчитываетъ ему другую пачку, поменьше. И такъ проходитъ день, пока наконецъ не явится отецъ или мать и, разсчитавшись съ человекомъ, не возьметъ его домой.

Во всемъ же прочемъ онъ предоставленъ себѣ въ огромномъ Нью-Йоркѣ. Онъ зазубрилъ наизусть фразу по англійски, которую заблудившись долженъ пролепетать и изъ которой вы узнаете, что зовутъ его Лео, съ какой-нибудь славянской фамиліей, и что живетъ онъ въ Бовери, и еще долженъ онъ назвать номеръ, выговорить который такъ трудно. Что собственно думаетъ Лео, когда слѣдитъ за теченіемъ своихъ дѣтскихъ мыслей на еврейскомъ жаргонѣ, которому онъ научился отъ матери, и еще болѣе интимномъ діалектѣ, на которомъ онъ говоритъ со своей сестренкой, Маріей, которая еще моложе его. Къ ней непрерывно обращается Лео, она ему такъ же сладка, какъ молоко матери, которое онъ тянулъ когда-то и которое успѣлъ между прочимъ забыть. Стремленіе къ сестрѣ, какъ боль какая-то, застряла въ его маленькомъ тѣлѣ, въ которомъ жарко, какъ въ цвѣточной почкѣ; на своемъ тяжеломъ посту онъ слишкомъ тоскуетъ по ней. И все другое, о чемъ думаетъ Лео, возвышается тѣмъ, что внутри его что-то разбухаетъ и обнажается, какъ въ почвѣ принимающійся ростокъ: все его существо одно сплошное, темное стремленіе; его сердце бьется возвышенно и громко заодно съ прежнимъ отреченіемъ. Въдъ родина Лео не здѣсь; онъ родился безконечно далеко отсюда, въ городѣ, который называется Лодзью, и его отечество ограничено заднимъ дворомъ и стѣной, надъ которой торчитъ фабричная труба и дымъ, который совсѣмъ мѣняетъ день своими без-

покойно ползущими клубами, смѣной синяго неба и полумрака. Здѣсь, при этомъ переменчивомъ освѣщеніи, у окна, по которому бѣжитъ дождевая вода, на которой онъ пальцемъ рисуеътъ какія-то фигуры и пробуетъ ее языкомъ, пробудилось сознание Лео, его первое ощущение влажности неба и пыльности земли, горькое, но незабываемое, какъ изначальное море творения. Позднѣе его водворяютъ въ сосѣдство мокрой плиты и сточной трубы, изъ которой иногда вылетаютъ картофельныя скорлупы—въ ржавчинѣ; глубокая и высокая тайна, постигнуть которую онъ никакъ не можетъ. Потомъ появляется Марія, съ которой онъ можетъ неумоимо строить изъ кусковъ дерева на землѣ желѣзную дорогу. Пуффъ! пуффъ!

Затѣмъ онъ припоминаетъ ворота, ведущія на улицу, на улицу, съ которой идетъ все; и вотъ однажды все заполняется людьми и всадниками, съ обнаженными саблями, выстрѣлы и топотъ, заставляющій дрожать землю; это конецъ свѣта, всѣ мечутся туда и сюда, вопять, звенять разбиваемыя оконныя стекла, и люди съ окровавленными головами врываются въ ворота... Затѣмъ Лео ѣдетъ въ настоящемъ, большемъ поѣздѣ, пуффъ-пуффъ, и больше онъ не знаетъ ничего, кромѣ одного, что для матери и отца настали тяжелыя времена, вѣчно въ дорогѣ, все дальше, пока наконецъ они не оказываются на пароходѣ и не видятъ ничего, кромѣ воды, каждый, каждый день. Они ѣдутъ и ѣдутъ, и Лео кажется, что это путешествіе по морю никогда не придетъ къ концу, онъ будетъ всегда вѣрнымъ ему, такъ какъ съ этимъ для него началась жизнь, его дѣтское сердце связано съ кораблемъ и тяжелыми волнами, какъ со страной, изъ которой онъ ушелъ и которую никогда больше не увидитъ.

Солнце усмѣхается сквозь вечернія облака, и на передней палубѣ, гдѣ сбившись въ кучу, эмигранты смотрятъ на пустой горизонтъ океана, изъ-подъ толстаго одѣяла высунулась дѣтская головка, кажется, что она виситъ въ небѣ, ибо форъ-тевень парохода висится надъ волнами: это Лео, онъ на рукѣ матери, самое маленькое существо на кораблѣ, сказка на борту. Пароходъ медленно пробивается впередъ, и волны, какъ голые воины, держащіе въ зубахъ мечи, карабкаются на стѣнки корабля; но ихъ давятъ и онѣ превращаются въ пѣну, которая одно мгновение держится въ воздухѣ—при этомъ вѣчный символъ, радуга, скользитъ въ соляной пыли, а пѣна исчезаетъ. Въ этой игрѣ есть что-то общее съ душой Лео, здѣсь онъ—дома.

Лео скоро сталъ чуждымъ своему дѣтству, бѣглецомъ, еще не умѣющимъ ходить—искателемъ вѣчности, какъ неприютный вѣтеръ. А теперь нѣтъ уже ни двора со сточнымъ желобомъ и ползущими облаками, ни волнъ—на Бовери много черныхъ лѣстницъ и масса цвѣтного бѣлья для просушки, развѣшаннаго на веревкахъ передъ

окнами, война красокъ среди вѣтра и непогоды. И здѣсь, куда поставили Лео на работу, тянутся эти головокружительно высокіе дома съ дымомъ, вырывающімся изъ ихъ верхушекъ подъ лучами солнца; дома глядятъ тысячами глазъ оконъ, и тѣни, какъ небесныя лѣстницы, спускаются отъ крышъ до улицъ. Лео продаетъ газеты и тоскуетъ, тоскуетъ—по прошедшему, котораго, въ сущности, совсѣмъ и не было.

Жизнь научила его только тоскѣ. Онъ словно погруженъ въ грезы. Испытанія уже наложили свою печать на личность маленькаго человѣка, а наслѣдственность еще сильнѣе опредѣлила его судьбу, сохранивъ въ его крови неувѣренность и скитанія его предковъ. Маленькая голова, съ восточными чертами лица, слѣплена какъ маска, на которой отразились и запечатлѣлись всѣ переживанія Израиля. Одухотворенные, большіе глаза свѣтятся всей таинственностью допотопной Азіи, много тысячелѣтій до того, когда Авраамъ снялъ свой шатеръ съ долинъ Месопатаміи и перекочевалъ въ Ханаанъ, гдѣ потайной фонарь исторіи пролилъ на него свой свѣтъ; эти глаза еще полны сладости и незнанія счета времени пастушеской жизни. Извѣстныя линіи ноздрей напоминаютъ произведенія египетскаго искусства и рассказываютъ о тѣхъ временахъ, когда сыны Израиля обтешивали на берегахъ Нила камень, а вечеромъ встрѣчались въ тростникахъ со смуглыми дочерьми Озириса; курчавые негритянскіе волосы и иногда что-то мерцающее въ чертахъ говорятъ о прелестной рабьнубійкѣ, кровь которой вошла нѣкогда въ родъ; четырехугольный ассирійскій ротъ напоминаетъ о годахъ плача у рѣкъ Вавилонскихъ. Онъ похожъ на картины Фаюма—полугреческія, полуафриканскія—и все-таки іудейскія; и теперь въ Нью-Йоркѣ, какъ польскій эмигрантъ, едва умѣющій самъ высморкаться, онъ стоитъ на улицѣ и продаетъ «The-World». Онъ не умѣетъ читать и не понимаетъ того, что говоритъ, поэтому то это звучитъ въ его устахъ какъ произвольный символъ, какъ храбрый и болѣзненно комичный вызовъ жестокому свѣту, въ которомъ онъ превратился въ лишеннаго отечества,—иногда онъ набираетъ воздуху и изо всей силы поверхъ шума улицы выкрикиваетъ свое «Waajid»! Таковъ маленькій Агасферъ.

Однажды отецъ ушелъ и не вернулся въ маленькую жалкую комнату въ Бовери, съ окномъ, которое черезъ каждыя двѣ минуты затемняется грохочущимъ снаружи и заставляющимъ дрожать весь домъ поѣздомъ. Проходитъ день за днемъ, а отецъ все не появляется, мать плачетъ, убивается надъ двумя малышами, которые спрашиваютъ ее и сами себѣ отвѣчаютъ и выглядятъ такими сиротками, и все-таки ничего не соображаютъ.

Исчезновеніе еврея было непонятно и находилось въ связи съ

большой демонстраціей нью-іоркскихъ евреевъ въ день годовщины одного русскаго погрома.

Сто пятьдесятъ тысячъ эмигрантовъ-евреевъ прошли въ этотъ день по улицамъ Нью-Йорка, историческое зрѣлище, которое могло бы заставить окаменѣть и которое, въ то же время, представляло собою лишь одинъ круговоротъ людей въ потокахъ массъ на Менгтанѣ. Они собрались въ одномъ изъ самыхъ жалкихъ кварталовъ Бруклина и пошли черезъ Вилліамсъ-бургъ на востокъ Нью-Йорка, по дорогѣ къ нимъ примкнуло много другихъ участниковъ изъ гетто, пока, наконецъ, они не обогнули Бродвэя и сомкнутымъ маршемъ не направились въ сѣверную часть города. Между отрядами процессіи шли духовые оркестры, они находились близко другъ отъ друга, а потому одинъ глухой мотивъ съ ужасающей дисгармоніей смѣшивался съ другимъ. Древнееврейскіе тяжелые и мрачные гимны плелись въ немилосердномъ разладѣ съ похороннымъ маршемъ Шопена.

Такъ прошли они по главнымъ улицамъ Нью-Йорка, гдѣ со своей жалобной музыкой, производя впечатлѣніе старыхъ привидѣній подъ разорваннымъ небомъ, они шли рядъ за рядомъ, одинъ за другимъ, всѣ въ изношенныхъ котелкахъ, сползающихъ на затылокъ, этихъ котелкахъ, которые всюду, куда его ни заброситъ судьба, слѣдуетъ за евреемъ, въ старыхъ пальто, болтающихся у нихъ между пятками и въ костюмахъ, которые до нихъ носили люди большого роста. Такъ, сгорбившись и вытянувъ впередъ лица, черты которыхъ одинаково не похожи на лица другихъ народовъ свѣта, и взглядъ которыхъ всегда останется іудейскимъ и пылающимъ, прошли они безъ такта, нестройно, каждый самъ по себѣ, но сегодня какъ будто объединенные одной общей цѣлью—надолго ли?

На нижнемъ Бродвэѣ процессія теряется на днѣ пропасти, между небоскребами и обычнымъ будничнымъ движеніемъ. По обѣимъ сторонамъ тротуара человѣческой массѣ приходится немногостѣсниться, полиція направляетъ экипажи въ сторону, но въ общемъ на процессію не обращаетъ особеннаго вниманія: на Бродвэѣ привыкли къ такого рода «парадамъ» и ради нихъ не отрываются отъ своихъ занятій. Вверху, вдоль фасадовъ можно увидѣть нѣсколько человѣкъ, вышедшихъ на балконы и смотрящихъ внизъ. Пѣшеходы останавливаются на нѣсколько секундъ и освѣдомляются: ахъ, вотъ какъ, евреи устроили «парадъ».

Здѣсь между этими башневидными сомкнутыми фасадами музыка звучитъ страшно рѣзко, съ двойнымъ отзвукомъ вблизи и совсѣмъ глухо въ нѣкоторомъ отдаленіи, какъ подземные, мрачные звуки погибающей вселенной, словно это идутъ мертвые! И, какъ всегда, когда нѣсколько оркестровъ сливаются, образуются какъ бы

сами по себѣ свободные и дикіе тоны, невѣроятные крики, высокіе звуки флейтъ, которые словно обязаны своимъ появленіемъ не инструменту, а далеко отстоящему невѣроятному скрипу, который заставляетъ предполагать близкое присутствіе труповъ и пространство, наполненное плачущими душами.

Процессія не достигла своей цѣли,—скопленія массъ съ рѣчами, резолюціями и т. д. Проведя въ порядкѣ и съ музыкой свой живой протестъ по Бродвэю, гдѣ огромныя вывѣски съ исполинскими золотыми—Stern Bros, Haurowitz & Co—смотрѣли на походъ съ небоскребовъ королей торговли—она вдругъ сбилась на Union Square въ кучу и, объятая непонятной паникой, разсѣялась во всѣ стороны.

Какъ возникла паника и что было ея причиною, такъ никогда и не выяснилось; она, повидимому, не имѣла никакого основанія; по всей вѣроятности, это былъ взрывъ того, что вообще можно назвать «еврейскимъ страхомъ», внезапнымъ безуміемъ отъ ощущенія находиться въ большомъ количествѣ въ одномъ мѣстѣ. Кучка желѣзныхъ опилокъ, заряженная однороднымъ электричествомъ, не могла бы разлетѣться лучше, чѣмъ эта процессія. Это началось съ взвинчивающей рѣчи участниковъ на площади, гдѣ всѣхъ охватила паника; масса сучилась, всѣ рвались въ центръ, и вдругъ словно налетѣлъ вихрь и всѣхъ размелъ въ одну секунду.

Раздались одиночные предсмертные крики; но въ общемъ бѣгство было безмолвное, безцѣльное, какъ приливъ и отливъ моря или какъ землетрясеніе. Тутъ же на площади стояла шаткая сажень дровъ; на ней стоялъ человѣкъ съ кинематографическимъ аппаратомъ, онъ полетѣлъ внизъ вмѣстѣ съ нимъ и своей дровяной подставкой, одну минуту онъ плылъ по волнамъ челоуѣческихъ головъ и потомъ погрузился на землю. Фонари и желѣзныя рѣшетки падали, какъ стебли соломы, полицейскіе были растоптаны. Масса, сначала бессмысленно топчущаяся на одномъ мѣстѣ, понеслась къ сѣверному концу Бродвэя съ такой силой, что нѣкоторые были буквально расплющены о стѣны домовъ; другія волны раздѣлились на четыре стороны свѣта и вскорѣ, потерявъ совсѣмъ голову, разсѣялись по всѣмъ направленіямъ. Было похоже на то, словно о стѣны Мэнгантана ударились черная волна, взбилась въ пѣну, и дневной свѣтъ всѣми своими семью красками исполнился отчаянія. Никто изъ присутствовавшихъ при этомъ новомъ разрушеніи Иерусалима не забудетъ, что онъ видѣлъ радугу преисподней.

Не вернулся съ этой процессіи и отецъ Лео. Мѣсто у фонаря на улицѣ № 23, гдѣ онъ стоялъ въ русскихъ сапогахъ съ длинными голенищами и въ мѣховой шапкѣ, съ пучкомъ шнурковъ для ботинокъ на шеѣ, предлагая свой товаръ прохожимъ, было пусто и

другой peddler, могъ занять его. Стулъ въ Astor Library оставался въ теченіе нѣсколькихъ дней не занятымъ, и бібліотекаръ былъ весьма удивленъ, что русскій, приходящій каждый вечеръ изучать американское государственное право, не показывается больше. Впрочемъ, отсутствіе его замѣчалось только въ этомъ маленькомъ уголкѣ Бовери.

Это совсѣмъ сломило мать. Она уже до того была очень больна, долго страдала сквернымъ кашлемъ и тяжестью въ ногахъ, словно какая-то невѣдомая сила хотѣла стянуть ее въ землю. Теперь кашель соединился съ постоянными потоками слезъ, и скоро совсѣмъ разбилось сердце. Казалось, въ ея тѣлѣ рычало какое-то чужое, не имѣющее ничего общаго съ человѣкомъ, существо, когда она до тѣхъ поръ воевала со своимъ кашлемъ, пока не показывалась кровь, и слезы стекали по жалкому, истощенному лицу. Мать была раньше очень красива: голова ея, какъ у Торнадо, осѣнялась черными, какъ вороново крыло, дѣвичьими волосами; теперь глаза стали безумны, и румянецъ смерти пылалъ на заострившихся скулахъ. Она ходила теперь совсѣмъ сгорбленная, ея грудь глубоко впала, словно ее ударили концомъ тяжелой балки. Ноги, казалось, приростали къ землѣ, она не могла больше ходить. Вечеромъ и ночью она теряла сознаніе и бредила, и каждый разъ, когда днемъ приносился поѣздъ и чернымъ налетомъ покрывалъ окно, въ ея глазахъ загоралась искра безумія. Она уже начала умирать и каждый разъ съ наступленіемъ темноты она чувствовала это.

Она сохранила еще улыбку, съ которой встрѣчала всѣ свои несчастья; своего рода насмѣшливое настроеніе, которое подбодряло ее во всѣхъ случайностяхъ жизни—словно все, что постигло ее, было не ея Судьбой. Она была изъ числа тѣхъ, которыя смѣются въ самыя тяжелыя минуты жизни. И когда въ сумерки загорались ея глубокіе глаза, съ длинными, широкими рѣсницами—глаза Фаюма, унаслѣдованные и Лео—тогда отчаянье вступало въ борьбу съ таинственной, зло дразнящей улыбкой, какимъ-то остаткомъ веселости всему на зло. Даже когда она плакала, а плакала она непрерывно послѣ исчезновенія мужа, и тогда къ ея страданіямъ примѣшивалась доля смѣха—насмѣшки. Она была дочерью Скорби, душа ея питалась нищетой, сама она могла погибнуть; но ея существо—никогда.

Идите до мой, лепечетъ она въ послѣдній день чуть слышнымъ шопотомъ и смотритъ на дѣтей широко раскрытыми въ предсмертной агоніи глазами. Она лежитъ и кричитъ въ безсиліи, но не можетъ поддаться ему до тѣхъ поръ, пока крошки у нея на рукахъ—мученіе видѣть ихъ—они привязываютъ ее къ жизни.

Бредъ прошелъ, она думаетъ со все сжигающей ясностью и уже не плачетъ—теперь долженъ прійти какой-нибудь конецъ.

Идите до мой, идите, просить она неестественно настойчиво и улыбается Лео и Маріи, которые, взявшись за руки, стоятъ у дверей. Она можетъ улыбаться только глазами, ротъ и носъ уже оцѣпенѣли; но дѣти все-таки узнаютъ ее по удивительнымъ глазамъ матери, которые улыбаются, какъ звѣзды и окутываютъ ихъ свѣтомъ и любовью. Они однако не знаютъ уже, что имъ подумать, это почти не мать; она такъ перемѣнилась, словно это лающее чудовище, которое за послѣднее время сдѣлало ее столь чужой имъ, совсѣмъ заняло ея мѣсто; но глаза ея еще сохранили материнское выраженіе. Въ концѣ концовъ они чувствуютъ, что должны повиноваться ей и собираются итти. Они не понимаютъ всего, но въ виду того, что она такъ добра—они не могутъ ей противорѣчить. Глаза матери покоятся на нихъ, въ то время, какъ они, робкіе и послушные, стоятъ, круглыми рученками оцупываютъ дверь и тянутся на цыпочкахъ; они еще медлятъ и оглядываются...

Уходите, стонетъ она. И они уходятъ, послушно семеня ножками, уступая другъ другу мѣсто, рука объ руку черезъ порогъ и тихо тянуть за собой дверь. Тогда глухой смѣхъ раздается у нея въ груди,—они такъ милы,—одинъ единственный отрывистый хрипъ раздается въ безсознательный уже борьбѣ съ мракомъ.

Лео съ сестренкой медленно подвигались рука объ руку по улицѣ, вдоль элегантныхъ магазиновъ Бовери съ револьверами въ окнахъ, мимо мрачныхъ ресторановъ съ вертящимися зеркальными дверями, которыя каждый разъ, когда приводились въ движеніе, бросали пестрые отблески на дома и улицу и небо... Окружающее казалось сквозь слезы довольно мрачнымъ двумъ лишеннымъ крова малюткамъ.

Но они были дѣти и плакали лишь до тѣхъ поръ, пока у нихъ было желаніе плакать. Сестренка скоро ободрилась и принялась уничтожать чеснокъ, послѣднее даяніе матери, которое она сунула ей въ руку. Лео, который былъ болѣе дальновиденъ—сохранилъ свой. Досыта наплакавшись, онъ принялся серьезно обдумывать свое положеніе. Они должны итти домой, сказала имъ мать: но въ виду того, что Марія была такъ мала и глупа, всю отвѣтственность долженъ былъ взвалить себѣ на плечи онъ.

Что подразумѣвалось подъ словомъ домой,—для Лео было не совсѣмъ ясно. У него было довольно тошнотворное представленіе о волнуемомъ вокругъ морѣ и безконечности странъ и государствъ. Онъ видѣлъ какъ въ туманѣ негостепріимный залъ четвертаго класса на станціи Германіи, которая мимоходомъ была его родиной, высокую и пустынную залу съ переселенцами, появляющимися вмѣстѣ

со сквознымъ вѣтромъ и оставляющими двери широко раскрытыми; онъ пытался вспомнить обстановку переселенцевъ на Эллисъ-Айлэндъ, гдѣ масса людей расположилась на землѣ на своихъ узлахъ и гдѣ его убѣжищемъ былъ вполне опредѣленный узелъ въ одномъ изъ угловъ, въ которомъ сидѣла его мать, и каждый разъ, когда онъ убѣгалъ слишкомъ далеко, у нея загорались глаза. Одно воспоминаніе было крѣпко—это скамейка подь окномъ, по которому ползъ все время фабричный дымъ, и затѣмъ милая сточная труба и сажа внизу на дворѣ, эта картина, находящаяся въ центрѣ, была такъ сжата и такъ удалена, что онъ воспроизводилъ ее только, какъ нѣчто принадлежащее къ чему-то неопредѣленному, далеко, далеко—на Божьемъ свѣтѣ. Руководимый этими смутными представленіями, Лео отправился въ путь; онъ крѣпко сжалъ руку Маріи и замаршировалъ. Главное же было то, что онъ могъ теперь не разставаться съ Маріей, вѣдь тоска по отчизнѣ была главнымъ образомъ связана съ нею. Значить теперь надо было повиноваться приказанію матери и отправиться съ сестренкой въ безопасное мѣсто.

Марія успокоилась, она уплетала свой лукъ и была очень довольна, что можетъ гулять съ братомъ по улицѣ. Ей не было еще и трехъ лѣтъ, и она находилась пока въ состояніи того счастливаго сна, который приносится отъ рожденія; выглядѣла она цвѣтуще, съ розовыми щечками отъ хорошаго сна, и слезы сдѣлали только еще краснѣе ея губки,—посолили и придали аппетита. Сестренка не была такъ смугла, какъ Лео, у нея были ярко-рыжіе волосы, цвѣта желѣзистаго источника. Глаза у нея были свѣтлые съ бѣловатыми ободками и черными рѣсницами—глаза Медузы, и кожа была у нея, какъ козье молоко—сѣровато-бѣлая и чистая. Маленькое заспанное личико само по себѣ улыбалось—хотя она была довольно сосредоточена и серьезна. Такъ за руку съ Лео подвигалась она, эта маленькая Саломея, всѣмъ довольная и пышущая здоровьемъ.

Они все странствовали. День былъ солнечный, но холодный, и лица крошекъ опухли немного. Лео давно пересталъ ориентироваться и придерживался только стараго правила, что нельзя сходить съ тротуара. Когда они подходили къ проѣзду, пересѣкающему ихъ дорогу, они быстро перебѣгали на другую сторону, такимъ образомъ они достигли центра города. Не разъ случалось, что громадина кучеръ, сидя высоко на грузовой телѣгѣ, громко выругавшись, осаживалъ надъ самыми головами малютокъ пару страшныхъ лошадей; это происходило тогда, когда Лео, несмотря на всѣ свои расчеты, попадалъ изъ одной опасности въ другую—они отдѣльвались только страхомъ, вѣдь всегда былъ кто-нибудь, кто бодрствовалъ надъ ними, когда не хватало ихъ собственной осторожности.

Такъ прошло нѣсколько часовъ, которые въ дѣтскомъ воображеніи Лео превратились въ цѣлую вѣчность, и рѣшеніе итти домой принимало все больше и больше видъ бѣгства, состязанія въ бѣгѣ на жизнь. Понемногу, когда ими все больше овладѣвала усталость, возбужденіе перешло въ тихую грусть.

Наконецъ, они остановились. Тутъ было маленькое строеніе все изъ металла съ зелеными украшеніями, выглядѣвшее такъ привѣтливо, что здѣсь они искали себѣ пріюта. Отдохнувъ немного. Лео принялся внимательнѣе осматривать домикъ и замѣтилъ, что одна сторона его была совсѣмъ открыта, какъ ворота, и что каменная лѣстница ведетъ вглубь, глубже того, что можно видѣть. Многие люди спускались по этой лѣстницѣ, которая по всей вѣроятности ведетъ въ очень хорошее мѣсто. Снизу доходило тепло—воздухъ, сильно пахнувшій печенымъ, и Лео вообразилъ, что тамъ внизу большая кухня или пекарня, вообще, мѣсто, откуда доставляется всякая ѣда. Не долго думая, Лео убѣдилъ сестрицу слѣдовать за нимъ и принялся спускаться внизъ по лѣстницѣ—о, это былъ путь прямо домой. Сестренка повернулась и спускалась задомъ на всѣхъ четырехъ. Послѣ продолжительнаго карабканія, которое въ особенности для сестренки было утомительно, такъ какъ она все время клала руки на платье, они спустились на станцію подземной желѣзной дороги. Этимъ началось полное приключеній путешествіе, которое на слѣдующій день было описано во всѣхъ газетахъ и которое сдѣлало нашихъ малютокъ въ теченіе одной минуты знаменитостями Нью-Йорка, самага любопытнаго и забывчиваго города въ мірѣ.

Внизу, въ самой глубинѣ, куда привела ихъ лѣстница, было все какъ въ прекрасномъ дворцѣ, паркетный полъ и бѣлые изразцы на стѣнахъ. Что касается ѣды, то о ней не было даже намека; казалось, эта была только большая передняя, въ которой люди ждали—а Лео замѣтилъ, что какъ будто и раньше онъ былъ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ ждутъ. Здѣсь также были столбы съ калильными лампами, больше же не было никакихъ удобствъ, и люди или стояли у будокъ съ газетами и книгами, или безпокойно ходили взадъ и впередъ такъ, словно были голодны и окидывали другъ друга враждебными взглядами. Теперь не достаетъ еще только, чтобы подошелъ пухъ-пухъ—поѣздъ... и въ самомъ дѣлѣ онъ пришелъ, огласилъ воздухъ своимъ рѣзкимъ дыханіемъ, такъ хорошо знакомымъ Лео, и изъ мрака подземелья показалось множество вагоновъ, которые заскрипѣли и такъ внезапно остановились, что находящіеся за окнами люди закачались и должны были схватиться за петли у оконъ. Масса людей высыпала оттуда и другіе полѣзли на ихъ мѣста, подъ торопящіе окрики кондукторовъ, желѣзныя дверцы позаклопывались, и нѣсколько минутъ позднѣе поѣздъ скрылся по другую сто-

рону на землѣ. Собралась уже цѣлая толпа, и Лео завидовалъ имъ. Они съ сестренкой давно присматривались, безъ надежды найти мѣстечко, между тѣмъ какъ поѣздъ за поѣздомъ все проходилъ и вновь уходилъ. Они не рѣшались вмѣшаться въ давку у вагоновъ, и, кромѣ того, вѣдь нужно имѣть билеты, Лео зналъ это, а у него ихъ не имѣлось.

Но Лео не хотѣлъ оставаться тамъ, гдѣ ждутъ, онъ хотѣлъ впередь, и здѣсь безъ сомнѣнія это была прямая дорога. Поэтому, когда ихъ уже совсѣмъ отѣснили къ мѣсту, гдѣ находилась черная дыра и гдѣ исчезалъ поѣздъ, онъ рѣшилъ обезпечить себя и сестренкѣ доступъ туда, будь это даже пѣшкомъ; онъ безъ долгихъ разговоровъ соскользнулъ съ нижней платформы на рельсы. Сестренка повернулась, легла на животъ и послѣдовала за нимъ. Ни одинъ человѣкъ не видѣлъ этого, никто не смотрѣлъ даже въ другую сторону, кромѣ той, изъ которой долженъ появиться подходящій поѣздъ. Не медля ни минуты, направились они въ глубь земли, Лео впередь, сестренка за нимъ.

Между рельсами и стѣной было самое большое полъ-метра гдѣ можно было итти по жирному колчедану. Дорога шла прямо, было не совсѣмъ темно, въ нѣкоторыхъ разстоянїи на стѣнѣ висѣли двѣ свѣтящіяся груши. Вдругъ въ воздухъ засвистѣло тихое шипѣнїе, доносившееся до нихъ по землѣ, превратилось въ сильное гудѣнїе, все приближающееся, и они увидѣли выползшїй изъ глубины зеленый глазъ... Лео съ сестренкой прижались къ стѣнѣ и ничего не предпринимали, пока онъ не пронесся. Поѣздъ промчался мимо только въ нѣсколькихъ вершкахъ отъ нихъ, поднятый имъ воздухъ рвалъ ихъ платье, и они погрузились въ рѣжущїй уши шумъ, скрипъ желѣза по желѣзу. Но теперь это прошло уже, только на губахъ у нихъ остался скверный привкусъ пыли и чувствовали они себя такъ, словно ихъ расплющило, въ остальномъ все было хорошо. Ободрившись, они направились дальше, и когда снова увидѣли зеленый глазъ, то, наученные прошлымъ опытомъ, стали спиной къ стѣнѣ, пока все не прошло. Они шли и шли, пока наконецъ не добрались до слѣдующей станціи. Но такъ какъ она, не будучи конечной цѣлью путешествїя, не удовлетворила ихъ, то они, никѣмъ отправившись дальше. Не дальше одного метра отъ нихъ находилось «the third rail», кабель, по которому шелъ такой сильный токъ, что если бы они хоть пальцемъ притронулись къ нему, ихъ превратило бы въ пыль. Но судьба, словно занятая только тѣмъ, чтобы оберегать дѣтей гдѣ-нибудь въ окнѣ на четвертомъ этажѣ, направляла ихъ только туда, гдѣ ихъ ножки ступали твердо. Они подвергались еще большей опасности; они прошли невредимо черезъ подземный желѣзнодорожный лабиринтъ большой центральной стан-

ци, черезъ которую проходить New-York Subway, затѣмъ большой кусокъ дальше черезъ желѣзнодорожный тунель на другую сторону—тутъ ихъ поймали.

Если можно отнестись съ довѣріемъ къ газетамъ, то, по ихъ сообщенію, весь путь съ 33 до 47 улицы дѣти совершили подъ землей. Какимъ образомъ они невредимо миновали центральную станцію, этого никто изъ взрослыхъ объяснить не брался. Одинъ желѣзнодорожный рабочій увидѣлъ ихъ въ туннелѣ возлѣ 47-й улицы и въ отчаяньи принялся кричать. Можно было сказать, что это была почти вѣрная смерть для дѣтей. Приближались поѣзда со всѣхъ сторонъ, и когда Лео услышалъ, что онъ открытъ и что это должно быть очень страшно, онъ потерялъ голову и принялся плакать. Опасность должна была быть близко, разъ взрослый человѣкъ такъ страшно кричалъ. Обѣ крошки стояли, обхвативъ другъ друга за шею, когда рабочій въ нѣсколько отчаянныхъ прыжковъ подскочилъ къ нимъ и вырвалъ ихъ почти изъ подъ фонаря локомотива. Онъ спасся на фонарной платформѣ, маленькомъ островкѣ среди моря рельсъ, и здѣсь, давъ каждому по пощечинѣ, отъ пережитаго напряженія упалъ въ обморокъ. Огромная драма: растерявшійся взрослый человѣкъ и два плачущихъ, отчасти отъ страха, отчасти отъ полученныхъ пощечинъ—ребенка! Но объ этомъ многимъ поѣздамъ въ туннелѣ не было сказано ни слова, и для машинистовъ, замѣтившихъ подъ фонаремъ группу, она представлялась какой-то таинственной пантомимой.

Но катастрофа положила тамъ конецъ странствованію двухъ безпріютныхъ крошекъ. Чудовище, которое ихъ поймало, и въ то же время смѣялось и плакало, когда вернулось къ сознанію, которое толкало маленькихъ грѣшниковъ и давало имъ шиллинги, человѣкъ съ грубыми противорѣчіями въ своемъ существѣ, вручилъ ихъ на улицѣ огромному полицейскому, который поднялъ сестренку высоко, надъ толпой и уличнымъ движеніемъ, а Лео далъ конецъ своей дубинки, держась за которую тотъ могъ за нимъ слѣдовать.

Начинало смеркаться, и зажженные фонари смѣшивали свой блѣдный свѣтъ съ блескомъ вечерняго неба. Городъ былъ весь въ фантастическомъ освѣщеніи, дѣйствительно походилъ на сонъ, прекрасное видѣніе, и въ то же время былъ реальнѣе всякаго другого города на свѣтѣ. Въ одномъ мѣстѣ Лео увидѣлъ высокій, узкій дворецъ, торчащій надъ другими домами, съ тысячами освѣщенныхъ оконъ, теряющихся въ прозрачномъ, зеленоватомъ небѣ. Онъ выходилъ на улицу, какъ носъ корабля, и много выше, гдѣ онъ образовалъ какъ бы уступъ, онъ имѣлъ видъ настоящей башни. Это чудо, онъ никогда не забылъ, было—New-York Times Building. И Лео смотрѣлъ въ этотъ вечеръ на Нью-Йоркъ съ возросшимъ до-

вѣріемъ въ сердцѣ; было положено основаніе тому чувству, которое уже не было чѣмъ-то расплывчатымъ: маленькій Агасферъ обрѣталъ свою родину.

Съ триумфомъ направились они въ дѣтскій пріютъ, гдѣ обоихъ «*baby traps*» встрѣтили торжественно, какъ давно ожидаемыхъ знакомыхъ, и присоединили къ другимъ дѣтямъ, всѣхъ національностей—тоже заблудившимся. Лео уединился съ сестренкой въ какой-то уголокъ и тамъ подѣлился съ нею своимъ лукомъ, къ которому онъ еще не притрагивался. Онъ чувствовалъ, что запасы для будущаго теперь не нужны больше.

Ахъ, нѣтъ же, о нихъ прекрасно заботятся, подаютъ кушанья и разныя разности. Нельзя умолчать о томъ, что люди, къ которымъ они попали, оказались, къ сожалѣнію, ужъ очень чистоплотными и потрудились провести ихъ черезъ цѣлый рядъ лоханокъ съ водой. Но доброе и злое на свѣтѣ нерѣдко тѣсно соприкасается.

Когда до девяти часовъ вечера за ними никто не пришелъ, ихъ поомѣстили въ экипажъ и отправили на главную станцію для безпріютныхъ дѣтей и тамъ каждому помѣстили въ бѣлую кроватку съ перекладинками. Теперь, когда они должны были спать, природа предъявила свои права; но они не были исключеніемъ, такъ какъ кругомъ всѣми тоненькими голосками и нарѣчіями раздались просьбы и плачь вернуть ихъ къ матери, пока наконецъ жалобы затихли и воцарился сонъ.

Лео и сестренка сдѣлались теперь дѣтьми Нью-Йорка. Тутъ они должны пустить корни и расцвѣсти. Въ этомъ первобытномъ лѣсу, гдѣ законы созданы лишь для плодородія и тепла, они должны свободно вытянуться вверхъ, какъ прекрасныя пальмы. Изъ Лео, который сдѣлалъ въ новомъ свѣтѣ первые удачные шаги на поприщѣ газетчика, со временемъ выйдетъ навѣрное великій издатель и возведетъ газетный дворецъ, который тысячеглазой башней будетъ упираться въ прозрачную атмосферу Нью-Йорка.

Изъ Маріи же, съ глазами Медузы и маленькимъ гибкимъ тѣломъ, выйдетъ—время идетъ, и это уже не далеко—всемирная трагическая звѣзда, которая своимъ, переполненнымъ безграничнымъ страданіемъ, существомъ будетъ сверкать на сценѣ, въ сіяніи своихъ кровавыхъ локоновъ,—стремительная изобразительница всего, что перетерпѣла земля.

Если же ей будетъ угодно предоставить свой гений въ распоряженіе радужной комедіи, то можно будетъ увидѣть на сценѣ ея пышное тѣло Саломей, съ улыбкой приносящей на блюдо отрубленную голову театральнаго критика.

СО ДЕРЖА НІЕ.

А. Купринъ. Капризъ.	5
Ө. Сологубъ. Красногубая гостя.	17
К. Бальмонтъ. Навожденіе.	31
А. Вербицкая. Въ конторѣ.	37
А. Амфитеатровъ. Дружокъ примадонны.	53
В. Немировичъ-Данченко. Собака — не человѣкъ.	65
Вас. Трахтенбергъ. Горшковъ и Фрумкина.	71
Дж. Лондонъ. Кровавая месть.	87
» Человѣкъ съ шрамомъ.	99
К. Фибихъ. Послѣдній номеръ.	111
К. Реймонтъ. Я убилъ.	127
Б. Ибаньесъ. Кошачья серенада.	161
А. Гарборгъ. Расплата.	183
» Горный воздухъ.	191
І. Іенсенъ. Нью-Йоркскіе мазурики.	201
» Маленькій Агасферъ.	213

PKW
1915





2007339496